

Тамара Карсавина

## ТЕАТРАЛЬНАЯ УЛИЦА

*Воспоминания*

Мемуары Тамары Платоновны Карсавиной, вице-президента Королевской академии танца в Лондоне и автора ряда книг по хореографии, стали признанной классикой литературы о балете.

Знаменитая балерина с трогательной теплотой и строгим изяществом рассказывает о детстве, первых уроках танцев, годах обучения в Императорском балетном училище и триумфальных выступлениях вместе с Нижинским и Гердтом в великолепных постановках на лучших сценах европейских столиц.

Партнерша Фокина и главная

исполнительница в его постановках "Жар-птица", "Шехеразада", "Павильон Армиды", "Египетские ночи", одна из звезд легендарной труппы Сергея Дягилева, изысканным артистизмом отразила воздействие импрессионизма на русскую школу танца.

Повествование создает образ яркой, артистичной, бесконечно совершенствующейся танцовщицы. Искренняя преданность призванию, желание учиться всему новому и высокая интеллигентность были отличительными чертами ее личности. Превращение маленькой девочки в балерину мировой величины оживает на этих страницах в словах, исполненных нежной признательности коллегам и благодарности учителям. Чарующий язык повествования переносит нас в хрупкий и волшебный мир создателей эфемерного искусства танца.



### ПРЕДИСЛОВИЕ

Я закончила писать эту книгу 20 августа 1929 года, в тот самый день, когда услышала о смерти Дягилева. Но я не стала менять ничего из написанного о нем: он остался на моих страницах живым, таким, каким я его знала. В этом исправленном издании я сделала то же самое, но добавила главу, где предприняла попытку внести некое единство в характеристику его личности, хотя описание отдельных его черт разбросано по всей книге, о некоторых же из них рассказывается впервые.

Эта глава не ставит целью стать краткой биографией или произвести психоанализ личности, это просто портрет в зеркале моей любви.

Т.К. 20 октября 1947

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Часть первая. Воспитанница

Часть вторая. Мариинский театр

Часть третья. Европа

Часть четвертая. Война и революция

Часть пятая. Дягилев

Часть первая

ВОСПИТАННИЦА

Глава 1

Мои первые воспоминания. — «Голстая няня». — Моя мать. — Санкт-Петербург. — «Дуняша»

Отчасти из рассказов отца, отчасти из собственных воспоминаний я могу представить довольно последовательно историю своего детства, которая кажется мне теперь похожей на ряд картинок из азбуки. Отец любил рассказывать мне о тех временах, когда я была совсем маленькой. В свободное время он садился у окна с альбомом и акварельными красками, я обычно пристраивалась рядом и смотрела, как он работает. И сейчас я вижу перед собой эти миниатюрные картинки с изображением различных национальных костюмов — испанских, венгерских, украинских, польских; на одной странице мужчина, на противоположной — женщина. Их одежды были выписаны чрезвычайно тщательно, но все лица, по моему мнению, отличались чересчур большими носами, а цвет лица дам казался слишком смуглым. Отец никогда не отрывал глаз от своей работы, разыгрывая передо мной эпизоды моего раннего детства. Он прекращал рисовать только для того, чтобы промыть и обтереть кисточку. Эти картинки предназначались в помощь его ученикам, изучающим национальные танцы. Мое первое воспоминание связано с тем, как няня поставила меня на ножки на тропинку у какого-то дома.

Сначала она направляла меня, поддерживая под мышки, потом отпустила. Я заковыляла довольно уверенно, но затем меня понесло вперед все быстрее и быстрее, так что я не успевала переступить ногами. Отец поймал меня вовремя.

Следующее воспоминание связано с Лиговом неподалеку от Петербурга. Дом, в котором мы жили, находился в парке поместья графа Позена. Мы приехали туда ранней весной. Я поправлялась после воспаления легких, и врач порекомендовал мне пить березовый сок. Сразу за домом простиралась лужайка, окруженная молодыми березками, еще не покрывшимися листвой. Мне нравилось наблюдать за тем, как добывали сок, обильно струившийся из надреза, сделанного в стволе. Обычно его собирали по утрам в глиняный кувшин. Сок имел сладкий терпковатый вкус.

О предшествовавшей этому болезни воспоминаний почти не сохранилось — помню только, как лежала на большом диване, превращенном в постель, с зеркальцем в руках и пускала им солнечных зайчиков по потолку и обоям. Меня пугало появление матери с холодным компрессом — она меняла их по нескольку раз в день. Позже она призналась мне, что и сама боялась подходить ко мне — так слабо и жалобно я плакала. Мои воспоминания об этом времени немного поблекли. Однако отдельные детали произвели на меня такое сильное впечатление и столь глубоко врезались в память, что даже сейчас не утратили очарования и остались по-прежнему яркими. Дом, в котором мы жили в Лигове, казался мне огромным и очень красивым, и вполне вероятно, мои детские

воспоминания не обманывают меня — та большая комната со сводчатым потолком и нишами могла находиться только в большом загородном доме конца XVIII века. Хотя дом очень отличался от нашей маленькой городской квартиры, это место казалось мне до странности знакомым. По какой-то необъяснимой причине мной овладели смутные разрозненные образы иной жизни, которой я никогда не видела и о которой ничего не слышала. Они не имели ни начала, ни конца — это были просто яркие, словно внезапные вспышки, картины, которые я не могла ни с чем связать. Одно особенно часто посещавшее меня видение казалось настолько живым, что походило на воспоминание, и я часто ломала себе голову над тем, что бы оно могло означать. Представьте себе тихий пруд правильной формы. Я, совсем маленькая девочка, и какая-то женщина, по-видимому моя мать, выходим из экипажа. Она держит меня за руку, мы огибаем пруд и направляемся к большому дому с гладким фасадом и множеством окон. Я передвигаюсь с трудом — тропинка посыпана гравием, и мне тяжело идти по ней на высоких каблуках. На мне не мое повседневное платье, а пышное, тяжелое и жесткое. Я ощущаю робость, как всегда, когда меня везут куда-то с визитом. На этом видение обрывается, а меня так мучает невозможность узнать, кого же мы собирались посетить, что я задаю матери бесчисленное множество вопросов по этому поводу. Моя история, похоже, позабавила ее, но ни тогда, ни после она не попыталась найти правдоподобного объяснения этому видению.

Не знаю, велик ли был участок земли вокруг дома. Похоже, поместье приходило в упадок. Не помню, были ли там клумбы. Парк был тенистый, с неподстриженными деревьями. Неподалеку от дома стоял павильон с минаретами, который называли турецкой баней, одна из затей русского *maison de plaisance* (загородный дом) своего времени. Отец говорил мне, что мы провели там только одно лето и больше не возвращались, так как там было слишком сыро. Искусственный пруд перед домом порос зеленой звездообразной травой. Павильон стоял пустой, и нам с братом позволяли там играть. Нам доставляло огромное удовольствие смотреть через разноцветные стеклышки высоких мавританских окон — при солнечном свете внешний мир казался ярким и светящимся — красным, зеленым, желтым, нереальным и чрезвычайно привлекательным.

В жаркие дни няня часто водила моего брата купаться. Он был на два года старше меня. Мы шли по берегу мелкой быстрой речушки до того места, где она образовывала маленький пруд с чистой водой. Мне купаться не разрешали, и няня переносила меня на плечах на большой камень, поднимавшийся из воды. Там я и сидела, пока они купались. Держась за руки, они прыгали, погружаясь в воду и выскакивая, как лягушки. Няня напевала: «Ладушки, ладушки, где были?» — «У бабушки» — одну из детских песенок, которых знала множество.

Няне, «толстой няне», как мы называли ее, было запрещено пугать нас. Но для простой крестьянской девушки, исполненной предрассудков, подобное требование оказалось невыполнимым. Из множества причудливых существ, созданных воображением русского народа, обладающих рогами, копытами и хвостами, она выбрала некоего «буку», к помощи которого прибегала в тех случаях, когда ее собственного авторитета оказывалось недостаточно. Бука уносил непослушных детей. Он прятался где-то поблизости и дожидался того момента, когда ребенок откажется идти спать. Непонятно, что это за существо, возможно, своего рода черт, который мог послужить целям воспитания детей. Я попыталась расспрашивать о нем отца, и он не стал отрицать существования буки. Но в его описаниях бука выглядел совершенно не страшным, пожалуй, просто озорным, но довольно дружелюбным существом, которое легко можно было умиротворить. По-видимому, он был покрыт шерстью и имел хвост, в общем, напоминал собаку.

В то время я побаивалась матери. Когда я была совсем маленькой, со мной случались столь сильные припадки плача, что я задышалась и лицо у меня синело. Это обычно происходило по утрам во время одевания. Услышав мои крики, мама приказывала принести меня к себе, и няня неохотно подчинялась. Обмакнув губку в холодную воду,

мама выжимала ее на мое голое тельце. Впоследствии она рассказывала, что я немедленно замолкала, не успев даже закрыть рта.

Мама часто говорила, что испытывает к детям «разумную» любовь. Я помню ее порой суровой, но шутовой или нежной — никогда, она умела подавлять мои порывы, и это делало меня вдвойне застенчивой, а порой толкало на детский бунт против нее. Однако со временем я поняла, что ради нас она готова пойти на любую жертву, и в глубине души восхищалась и гордилась ею. Мне очень нравилось смотреть, как она одевается, готовясь куда-нибудь пойти. У нее была чрезвычайно тонкая талия и очень маленькие ножки, которыми она гордилась. Я строила честолюбивые планы относительно нее и часто повторяла: «Когда вырасту, построю для мамы огромный дом», а обидевшись, пряталась под кровать или под стол и угрожала оттуда: «Не построю тебе дома». Но спокойный ответ матери: «А кому нужен твой дом?» — тотчас же приводил меня в чувство, словно еще один холодный душ.

Наказывали нас достаточно мягко. «Носом в угол» — считалось более унижительным, чем просто «в угол, лицом к комнате». Брат Лева обычно смягчал наказание чистосердечным раскаянием, но меня ничто не могло подвигнуть на подобное. Только ласковые слова отца могли заставить меня раскаяться. Он часто брал меня за руку и приводил к матери просить прощения. Выговоры, даже заслуженные, глубоко ранили меня. В отличие от большинства детей я никогда не давала волю слезам в присутствии других людей. Если же у меня возникала надежда склонить чашу весов правосудия в свою сторону, я предупреждала тихим дрожащим голосом: «Я заплачу». Когда мать отвечала: «Ну и плачь, если хочешь», я бежала в дальнюю комнату и рыдала там под кроватью или за мамиными юбками в шкафу. Впоследствии я смеялась, когда отец разыгрывал передо мной подобные сцены, но тогда воспринимала их как настоящую трагедию.

В Санкт-Петербурге мы жили на верхнем этаже пятиэтажного дома, принадлежавшего вдове богатого купца. Все деловые отношения с домовладелицей носили патриархальный характер. Жилищных агентов тогда не существовало. Раз в год мать ходила к хозяйке и возвращалась с радостной новостью, что срок аренды продляется еще на год и квартирная плата остается прежней. Плата четыре фунта в месяц кажется сейчас невероятно низкой, но в те времена такова была обычная цена довольно большой пяти-шести-комнатной квартиры. Позже, когда наше материальное положение ухудшилось, домовладелица переселила нас в более дешевую квартиру в другом крыле здания, почти не отличавшемся от нашего — только у парадного входа не было швейцара в ливрее.

Дом стоял на берегу канала, там, где тот делает изгиб и впадает в Фонтанку. (По сведениям петербургских краеведов, Карсавины жили на набережной Екатерининского канала, д. 170) На этом тихом участке нашей улицы почти не было движения. Окна парадных комнат выходили на канал, летом заполненный баржами, перевозившими лес; зимой он замерзал и мы переходили его по льду, сокращая дорогу на другую сторону. Для нас, детей, главным достоинством этой квартиры была возможность наблюдать за стоявшей напротив каланчой пожарной станции, где постоянно дежурил часовой. А какое прекрасное зрелище представляли собой пожарные в форме, в медных касках, когда по сигналу тревоги пронеслись по улице под звуки рожка на четверке лошадей, мчащейся галопом. У нас просто дух захватывало при виде этой безумной скачки.

Для русского человека огонь имеет какую-то непреодолимую притягательную силу. Стремление бежать смотреть на пожар — характерная черта российской жизни. Не только простой народ, но даже чиновники, назлектризованные словом «пожар», спешно покидали рабочие места и мчались к месту происшествия.

Пожарные были героями детворы и самыми лучшими кавалерами для кухарок. Обычное условие, которое ставила повариха, нанимаясь на работу, чтобы «куму пожарному» дозволялось ее навещать. Часто работодатель первым поднимал этот вопрос и спрашивал, часто ли на кухне будет присутствовать пожарный.

Когда мне было лет пять, «толстую няню» рассчитали и снова взяли Дуняшу, мою бывшую кормилицу. Не знаю, по какой причине ее уволили прежде, но с тех пор, как Дуняша вернулась, она нас уже больше не покидала. Со временем она стала горничной, а затем единственной прислугой, делившей с нашей семьей все радости и беды.

В период выпавшей на ее долю немилости она часто приходила навестить меня, иногда домой, но чаще встречалась со мной во время прогулки, всегда приносила мне сладости или маленькие игрушечки, а прощаясь со мной, рыдала. Она вообще легко плакала, и мама порой называла ее притворщицей, но я не согласна с ней. Дуняша испытывала неудержимую жалость ко всем живым созданиям, попавшим в беду, и меня научила этому.

Она была высокой и худой; и в те времена, когда в доме держали двух нянь — ее и няню моего брата, Дуняшу стали называть «длинной няней». И это имя осталось за ней навсегда. Несомненным украшением Дуняши были ее волосы, необычайно длинные и густые. Она щедро поливала голову керосином, смешанным с лампадным маслом, и утверждала, будто именно благодаря этому волосы у нее такие густые. Дуняшу беспокоило, что мои волосы плохо растут, и она стала втирать керосин и мне в голову. Он издавал отвратительный запах, и мама положила конец подобной практике.

— Глупости, — отрезала она в ответ на мою просьбу продолжить втирать керосин, который, как я надеялась, поможет мне отрастить такие же волосы, как у Дуняши. — Имей хорошую голову на плечах, а волосы вырастут сами собой.

Все свое имущество Дуняша аккуратно складывала в большой деревянный сундук. Снаружи он был украшен узорами из узких белых полосок кованого железа, напоминающими муаровый шелк. Я всегда пользовалась возможностью заглянуть к ней в сундук, когда она его открывала. Изнутри крышка была заклеена картинками, вырезанными из иллюстрированных юмористических журналов. Дуняша позволяла мне их рассматривать, но не любила, когда я рылась в ее вещах.

## Глава 2

Отец. — Мариус Петипа. — Наша жизнь. — Безобидный сумасшедший. — «Амелия». — Ужасный сон

В то время мой отец занимал положение первого танцовщика и исполнителя мимических ролей в балете. Согласно правилам, после двадцати лет службы он должен был выйти на пенсию. Срок службы исчислялся начиная с шестнадцати лет, хотя в этом возрасте танцовщик еще обучался в школе. Двадцатилетний срок службы отца приближался к концу, и они с матерью постоянно предавались размышлениям и беседам о том, не продлят ли отцу срок службы. Насколько я поняла из этих разговоров, отец находился в полном расцвете сил и оставался прекрасным танцовщиком, но против него плелись какие-то интриги. Часто упоминалось имя всевильного Мариуса Петипа.

Петипа был великим балетмейстером, французом по происхождению. Он так и не выучил русского языка, хотя приехал в Санкт-Петербург совсем молодым и оставался на службе в театре до самой смерти. Возможно, отец не всегда сохранял беспристрастие, но из его слов у меня создалось впечатление, что актеры скорее боялись Петипа, нежели любили. Он обладал почти безграничным влиянием на директора Всеволожского и делал *la pluie et le beau temps* (погоду) в театре. В мое время каждый имел доступ к директору, обычно принимавшему посетителей два раза в неделю. Любой актер мог прийти к нему и излить свои горести. Но Всеволожский никогда или, по крайней мере, очень редко принимал актеров. Только Петипа пользовался его благосклонным вниманием.

Мой отец был учеником Петипа, а какое-то время даже его любимцем. Что испортило их отношения, я не знаю. Отец обладал большим талантом к имитации. Он всегда отмечал, что Петипа талантливый хореограф, одаренный богатым воображением, и замечательный

педагог, но далеко не блестящий танцор. И отец часто высмеивал его танец и исполнительскую манеру, используя весь арсенал ложного пафоса: дрожащие колени, блуждающий взгляд, зубов-ный скрежет и топот ног. Мы, дети, постоянно просили отца исполнить сцену из «Фауста», как ее играл Петипа. Но мама обычно говорила: — Лучше бы ты, Платон, держал язык за зубами; твои хорошие друзья и веселые собутыльники с радостью донесут о твоих насмешках.

Отец обычно уходил из дому рано утром. Мы все пили на завтрак чай со сдобными булочками или сухариками, но он никогда ничего не ел, только выпивал три или четыре стакана чаю. Второй завтрак — вещь невозможная в балетном мире: вслед за уроками обычно идут репетиции, так что отец возвращался после репетиций голодный как волк. Иногда он приходил в три, а иногда и в четыре часа дня и требовал, чтобы к его приходу супница уже стояла на столе. Было очень трудно приготовить обед точно к его возвращению, поскольку приходил он в разное время, но малейшая задержка ужасно раздражала его, хотя по природе был довольно спокойным и невозмутимым. Но в этом случае он не желал слушать никаких объяснений и нетерпеливо ворчал: «Полная кухня женщин, а голодный мужчина не может пообедать».

Подлинной страстью отца был чай. У него под рукой постоянно стоял стакан чаю, и он пил его целый день. Закончив один стакан, тут же кричал: — Женщины, чаю!

Иногда мать пользовалась маленьким колокольчиком, но обычно, когда что-то было нужно, мы или окликали служанку, или шли на кухню, чтобы ее позвать. Впоследствии отец модернизировал свое хозяйство и купил спиртовку. Он переносил ее за собой из одной комнаты в другую, и это давало ему возможность постоянно иметь горячий чай, даже когда самовар не был растоплен.

После завтрака нас отправляли на прогулку. На одевание уходило много времени, и я часто теряла терпение, если была готова первой и приходилось ждать, пока оденут Леву. Зимой перед выходом на улицу мне надевали под платье красную фланелевую нижнюю юбку и панталоны, а на ноги валенки. Поверх ватного капора повязывали шаль, концы которой заправляли под пальто; в особенно холодные дни шалью прикрывали рот. Шаль так туго затягивали, что я не могла повернуть голову и часто жаловалась:

— Няня, ты меня задушишь. Если я протестовала слишком громко, из соседней комнаты слышался голос матери:

— Тата, прекрати капризничать.

Чтобы я не потеряла муфту, к ней пришивали ленту и вешали мне на шею, так же как и шерстяные рукавицы, привязанные на шелковом шнуре. В сильные морозы мне смазывали жиром лицо, так как однажды я его обморозила. Полузадушенная и надрывающаяся под тяжестью одежд, я, наконец, оказывалась на улице, где уже не страдала от жары. Пока мы спускались, мама, стоя на лестничной площадке, давала последние напутствия: не спускаться на лед, не играть с бездомными собаками, не разговаривать на морозе и дышать носом. У нее хватало времени на все это, пока мы преодолевали пять маршей. Лев любил скатываться по перилам, я же в своих многочисленных одеяниях могла только медленно спускаться бочком, одной ногой вперед — валенки не давали согнуть ноги в коленях.

Пока канал не замерзал, его набережная была наиболее привлекательным местом для прогулок. По каналу плыло множество дров, упавших с барж, и уличные мальчишки изобрели чрезвычайно ловкий способ их вылавливать. К концу длинной веревки они привязывали тяжелую деревянную колоду с торчащим из нее длинным гвоздем, бросали колоду в бревно и почти никогда не промахивались. Гвоздь впивался в плывущее бревно, и его с легкостью подтаскивали к берегу. У некоторых мальчишек были санки, на которых они увозили домой свою добычу. Это был обычный для бедняков способ добывать дрова, и полиция никогда не вмешивалась. Цены на дрова, как, впрочем, и на многие другие товары, часто обсуждались у нас дома. Мама утверждала, что они становятся слишком

дорогими. Цена на одну квадратную сажень превосходных березовых дров поднималась зимой до 4 или 5 рублей. Сосновые дрова стоили дешевле, но не давали столько тепла. На нашей стороне канала было мало прохожих, и каждая необычная фигура привлекала наше внимание. Однажды мимо нас прошел мужчина, очень опрятно одетый, но в какой-то странной шляпе. Поравнявшись с нами, он снял шляпу и с серьезным видом поклонился. Он отошел, и мы увидели, как он точно так же приветствует небольшую стайку уличных мальчишек. Дальше по каналу к воде вели ступени, там находилась пристань для барж. Несколько рабочих разгружали баржу. Человек остановился и, сняв шляпу, принялся кланяться во все стороны. Рабочие стояли, повернувшись к нему спиной, и вся эта сцена выглядела настолько нелепо, что мы не могли удержаться от смеха. Потом мы увидели, как он перешел улицу и возвращается по другой стороне. Мы тоже перебежали, чтобы встретиться с ним и в насмешку раскланяться. В тот день мы вернулись домой, полные впечатлений о смешном человеке, без конца передразнивая его. Отец знал его. Это был сумасшедший, очень тихий и безобидный, вообразивший себя выдающейся личностью. Узнав об этом, я испытала глубокий стыд оттого, что дразнила беднягу. Отец никогда не морализировал; он обычно говорил людям по-доброму и с юмором; и не называя дословно всего того, что достойно сострадания, он тем не менее делал это вполне очевидным и ясным для нас.

За нашим безобидным сумасшедшим присматривали две его сестры, старые девы, жившие через дом от нас. Это был одноэтажный деревянный домик, покрашенный в розовый цвет. В маленьких окнах, находившихся низко от земли, стояло множество горшочков с геранью и бальзаминами. Впоследствии наша няня познакомилась с сестрами и несколько раз брала меня к ним. Обе женщины были одеты в черное, а на голове носили платки, похожие на монашеские. Их комната произвела на меня большое впечатление. Множество икон стояло в углу на буфете, перед ними горели лампы. Стены украшали дешевые цветные гравюры с изображением горы Афон и Соловецкого монастыря. Невзирая на скромность убранства, комната совершенно не выглядела аскетичной, а, напротив, казалась полной жизни, веселой, удобной, дышащей мирным чувством удовлетворения. На полу лежали дорожки, вытканные вручную из ярких лоскутков. Большой шкаф в углу был покрыт такой же дорожкой. Сестры отличались веселым нравом, общительностью и гостеприимством. Они никогда не отпускали нас без угощения. Для нас ставился на стол самовар, несколько видов варенья и тарелочка с сухим печеньем. Во время своих визитов мы никогда не видели их брата, но часто встречали его во время прогулок. Несколько лет спустя, приехав из школы на каникулы, я узнала, что он умер.

Так протекало мое детство, и я люблю мысленно обращаться к тем дням, лишенным ярких внешних впечатлений. Мы подолгу предвкушали редкие развлечения, наслаждались ими и потом долго вспоминали. Из-за отсутствия внешних впечатлений обыденные события повседневной жизни становились интересными и полными значения.

У нас не было какого-то особого распорядка дня, кроме неперемennого условия — рано ложиться спать, не было и продуманного плана наших занятий и развлечений. Мы всегда сидели за столом вместе с родителями, слушали их разговоры и разделяли их интересы. Отец обычно терпеливо отвечал на наши многочисленные вопросы, но, когда мы становились слишком назойливыми, он мягко останавливал поток вопросов фразой: — Много будете знать, скоро состаритесь.

Даже в те времена, когда наша жизнь была сравнительно обеспеченной, мама часто жаловалась на то, как ей трудно сводить концы с концами. Она пользовалась абсолютным авторитетом во всех домашних делах и единовластно распоряжалась деньгами. Отец отдавал ей все жалованье, оставляя себе лишь какую-то мелочь на ежедневные расходы. Но зато мать приняла на себя всю ответственность за семью и всегда находила способ выпутаться из трудных обстоятельств. Она часто закладывала вещи, иногда занимала деньги, а порой ей приходилось заходить к домовладелице, чтобы объясниться по поводу задержки квартирной платы. Нам покупали только самые необходимые вещи, и то после

длительного обсуждения. Почти всю одежду нам шила сама мама. Когда мама принималась за какую-то сложную работу, например собиралась кроить из своей зеленой плюшевой ротонды зимнее пальто для меня, она посылала за папиной сестрой, тетей Катей, жившей далеко от нас, за Нарвской заставой.

Мама часто звала меня на примерку и заставляла подолгу стоять, пока закладывала складки или срезала лишнюю материю. Меня очень утомляли эти примерки, маму, по-видимому, тоже, так как она говорила, что «с ног валится от усталости», и моя неспособность стоять неподвижно раздражала ее. Однажды во время особенно долгой примерки — складки никак не хотели ложиться ровно — я стала подтягивать их, чтобы помочь. «Не лапай материал грязными руками, стой спокойно!» — сердито отчитала меня мать. Но, увидев, как у меня задрожали губы, она смягчилась и принялась объяснять, что старается принарядить меня. Однажды она придумала для меня очень хорошенькое платьице, оно было сшито из двух набивных плиткой и не требовало много примерок. При подобных обстоятельствах в нашей жизни не было места роскоши. Но рождественская елка у нас была всегда, и мы получали в подарок какие-нибудь игрушки. Игрушек у нас было мало, но я обладала множеством сокровищ, в том числе древесным грибом с березы. Он высох и затвердел, а поскольку имел плоскую полукруглую шляпку, я подумала, что будет красиво прикрепить его к стене как консоль и поставить что-нибудь на него. К числу моих сокровищ относились и большие листья платана, высушенные в книге и побитые щеткой для волос так, что стали прозрачными, словно кружево. У меня был красивый мебельный гарнитур для кукольной гостиной: круглый стол, диван и кресла, обитые красным плюшем. Кукла, которой он принадлежал, никогда не была в числе моих любимиц, из нее почти полностью высыпались опилки, и она выглядела больной и безжизненной. Я предпочитала ей крошечных созданий, которых сама вырезала из бумаги и выстраивала ряд на широком подоконнике нашей детской. Амелию, свою любимицу, я считала просто шедевром. У нее была высокая стройная талия, а лицо я нарисовала ей карандашами. Из-за своей красоты она вела весьма бурную жизнь. По какой-то не вполне ясной мне причине ей пришлось бежать из дома. Часто преследователям удавалось догнать ее из-за того, что у ее экипажа ломалось колесо. Раз или два ее возвращали домой, откуда она бежала снова. Иногда ее похищали цыгане. Порой ей удавалось укрыться в монастыре. Она вечно попадала в беду, но в конце концов вышла замуж и обосновалась вместе с сестрами в гостиной с красной мебелью. Однако мне вскоре пришлось прекратить вырезать кукол, так как мама сказала, что от этого тупятся ее ножницы.

Имя Амелия принадлежало подруге моей матери. Она была наполовину немкой, вышедшей замуж за русского. Они с мамой учились вместе. Мама отзывалась о ней немного пренебрежительно, утверждая, будто у нее «воробьиные мозги». Иногда мы навещали Амелию и играли с ее детьми. Я с нетерпением ждала подобных визитов. Маленькая квартирка, чрезвычайно опрятная, со множеством безделушек на бесчисленных маленьких полочках заметно отличалась от нашей квартиры, совершенно лишенной каких бы то ни было украшений. Мне казалось, что выдержать сравнение в какой-то мере сможет только наша гостиная с мебелью, обтянутой голубой камчатной тканью, и стоявшими на консоли бронзовыми часами. Что касается детской, то в нашей комнате вместо дивана стоял деревянный сундук, покрытый ковром, здесь же — окрашенные в белый цвет низенькие стульчики и покрытые белой эмалью кровати с муслиновыми занавесками. У маленькой Зины над кроватью был прикреплен розовый бант.

Амелия Антоновна обычно оставляла нас на ужин, и это доставляло нам огромное удовольствие из-за десерта. Она обычно принимала участие в наших играх и, казалось, получала не меньшее удовольствие, чем мы. Их дом идеально подходил для игры в прятки — в комнатах стояло много мебели: диваны, ширмы и круглый стол, покрытый скатертью с аппликациями. В передней — большой буфет, а на несколько ступенек выше детской



находилась темная комната. Но чаще мы играли в спокойные игры. У одного из мальчиков была повреждена спина, и ему приходилось лежать в постели в жестком корсете, а мы сидели вокруг него и играли в лото. Чтобы считать очки, нам давали лимонные леденцы, которые мы складывали рядом с собой. Коварный мальчик-инвалид обычно лизал свои в надежде, что мы не примем их в уплату.

Я обожала Амелию Антоновну и считала ее чрезвычайно привлекательной. Как-то я спросила маму, действительно ли она была очень хорошенькой в юности, и мама ответила:

— Да, она была прелестной, но походила на немецкую куклу со светло-желтыми волосами; что же касается ее умственных способностей, она едва смогла закончить приготовительную школу, а теперь даже не в состоянии научить своих детей правильно говорить.

И действительно, ее дети часто смешивали немецкие слова с русскими: «Бобби хочет essen (есть)» или «Я не хочу идти schlafen (Спать)».

Странно и совершенно необъяснимо, но в ровное и счастливое течение моей жизни постоянно закрадывалось чувство тревоги, я жила с ощущением дремлющей, но нависшей надо мной угрозы. В то время меня часто преследовал повторяющийся сон. Декорации менялись, но постоянно некто с мертвенно бледным лицом и рыжими кудрями пытался куда-то меня увести. Этот призрак нельзя было назвать ни ужасным, ни отвратительным, в нем было нечто от красоты павшего ангела. Его очарование и таинственная немота наполняли меня каким-то утонченным страданием. Иногда в этом сне мне приходилось проходить через длинную анфиладу комнат. Я устало продвигалась вперед, пряталась, ждала. Но какая-то сила неумолимо влекла меня продолжать путь до тех пор, пока я не достигала последней комнаты, где находила бледного немого незнакомца — и начиналась мрачная бесшумная игра в прятки. Я пряталась, выбиралась из укрытия и на цыпочках передвигалась по комнате, снова пыталась скрыться в хаотическом беспорядке комнаты. Меня охватывал ужас от воцарившейся тишины, казалось, будто весь мир внезапно прекратил существование. Порой я оказывалась в комнате, полной людей. Вдруг наступала тишина, я задавала тревожные вопросы, но все только молча смотрели на меня, не произнося ни слова. Я знала — бледный незнакомец пришел за мной.

### Глава 3

Уроки. — Ранняя любовь к театру. — Смертельная опасность, которой удалось избежать. — Прощание отца со сценой. — Размышления о моем будущем

Брату исполнилось семь лет, и мама понемногу начала учить его читать и писать. Он быстро все схватывал. Определенного времени для уроков не было. Когда у мамы выдавалась свободная минута, она приходила в детскую, принося с собой какую-то работу. Мне позволяли тихо играть рядом или рассматривать книгу с картинками. Но мне тоже хотелось учиться, и, слушая их уроки, а порой спрашивая, что означает та или иная буква, я многое усвоила. Сначала ни я сама, ни кто-либо из окружающих не поняли, что я научилась читать. Это открылось неожиданно. Я рассматривала картинки в газете, расположившись самым удобным для меня образом: сидя на полу по-турецки и положив газету на край стола так, чтобы она свешивалась до уровня глаз. Вся семья как раз собралась за столом. Я прочла заголовок — мама очень удивилась, но подумала, что я просто запомнила его. Она велела мне прочитать несколько предложений, что я и сделала, слегка запинаясь. Тогда она обратилась к отцу:

— Послушай, Платон, Тата сама научилась читать. Мне же она сказала:

— Но газеты не вполне подходящее чтение для детей. Я взмолилась, чтобы она позволила мне прочесть роман с продолжением.

— Что за роман? — спросила мать. Мой ответ прозвучал, по-видимому, чрезвычайно забавно, поскольку я все еще немного картавила:

— «Жертва страсти». Криминальный роман. Мама онемела от изумления, а отец хохотал до слез, потом сказал:

— Пусть читает «Жертву страсти», это не причинит ей никакого вреда.

Вскоре чтение стало для меня всепоглощающей страстью. Лев тоже страстно полюбил книги. Среди немногочисленных томов, стоявших в шкафу в комнате отца, были иллюстрированные собрания сочинений Пушкина и Лермонтова. Нашим чтением никто не руководил, и в то время, когда другим в качестве интеллектуальной пищи вручали нравоучительные истории о «добром Пете» и «непослушном Мише», мы пили вволю из Кастальского ключа. Настолько божественно проста поэзия Пушкина и так кристально прозрачна его проза, что даже мне, шестилетнему ребенку, она была понятна. И хотя я еще не была способна в полной мере оценить красоту его произведений, но ощущала ее инстинктивно, и с тех самых пор их магическая власть надо мной никогда не ослабевала. Когда мы проводили лето в деревне, я иногда играла с Надеждой, девочкой лет двенадцати, дочерью крестьянина, сдававшего нам квартиру, и мне пришлось в голову читать ей Пушкина. Теперь я сомневаюсь, испытывала ли она от этого хоть малейшее удовольствие, но она покорно и терпеливо слушала меня. Однажды отец пришел как раз в тот момент, когда я сидела на ступеньках крыльца и читала вслух, а Надежда, присев на корточки, обмахивала меня зеленой веткой, отгоняя комаров. Вокруг играли остальные дети.

— Царица Савская и ее двор, — рассмеялся отец.

Теперь я понимаю, что мое желание читать вслух, декламировать проистекало из инстинктивного влечения к театру. Шутка отца пробудила во мне чувство неловкости, и я больше никогда не читала Пушкина перед моей деревенской публикой, но мои сценические наклонности проявились в другой форме. Здесь, в деревне, все фантастические и героические образы из книг вдруг ожили, приняли определенную форму и вписались в новое окружение. Я стала разыгрывать спектакли в саду. Сарай превратился в шатер Черномора. У меня была шапка, которая делала меня невидимой, спасая от его преследований. Икона Михаила Архангела, облаченного в сверкающие доспехи, которую я видела в церкви, помогала мне создавать героические эпизоды в моих пьесах. Я вела жестокую битву с высокой крапивой, растущей вдоль берега ручья.

Я знала поэмы Пушкина наизусть и любила их декламировать. Это очень забавляло отца, тем более что я все еще картавила. Он часто ставил меня перед собой и просил прочитать пролог из «Руслана». В своем альбоме он нарисовал мне Черномора, похищающего Людмилу, и ученого кота, бродящего по золотой цепи вокруг дуба. «Идет направо — песнь заводит, налево — сказку говорит».

Все поддразнивали меня из-за дефекта речи, я сердилась и изо всех сил старалась выговорить «р», но когда мне это удавалось, то оно звучало ужасно раскатисто, и это еще больше веселило слушателей.

Отец иногда давал нам мелочь, обычно одну или две копейки. Мы их копили, пока не набиралась сумма в 10 копеек, на которую можно было купить небольшую книжечку. Теперь наши прогулки обрели смысл — мы или покупали книгу, или рассматривали витрину, решая, что приобрести в следующий раз, когда скопим достаточную сумму. Нам по карману были только дешевые издания, выпускаемые Министерством просвещения для народа. Они были настолько маленькими и тоненькими, что мы пренебрежительно называли их «книжонками». Печать была плохая, шрифт мелкий, но по содержанию они в основном были хороши. С помощью этих «книжонок» мы прочли все былины о киевских богатырях, много народных сказок, рассказы классиков и кое-что из переводной литературы. «Парашу Сибирячку» Ксавье де Местра приобрели после долгих споров. Мы всегда заранее обсуждали будущую покупку, чтобы не растратить впустую свои сбережения. Лев хотел купить эту книгу, но мне не нравилось имя Параша, оно меня

абсолютно не привлекало, однако мы купили книгу, и мне она пришлась по душе. Это была трогательная история о сибирской девочке, которая пешком отправилась в Петербург просить за своего несправедливо осужденного отца. То, как она пробралась в дворцовый парк и смогла припасть к стопам императрицы, вызвало у нас слевой живой интерес.

В это время произошло событие, которое чуть не привело к изгнанию Дуняши. Однажды вечером мама вернулась домой из гостей, и, не успев еще снять верхнюю одежду в прихожей, почувствовала тяжелый, спертый воздух, пропитанный угарным газом, — вечная опасность русских печей. Она побежала в детскую и открыла заслонку печи — ее закрыли до того, как догорели дрова в печи. Угарный газ несет с собой смерть. Мама нашла Дуняшу на кухне, где слуги устроили вечеринку, но отложила все объяснения на потом. В первую очередь было необходимо вытащить нас из постелей, несмотря на сопротивление и слезы, одеть потеплее, закутать в шали и вывести на улицу, где Дуняша гуляла с нами до глубокой ночи. А мама тем временем распахнула все окна, чтобы полностью проветрить комнату, и приказала снова затопить печь. На следующий день Дуняша, рыдая, стояла перед разгневанной матерью.

— Вот как ты заботаешься о детях... У тебя на уме только Василий... Уходи от нас. Дуняша плакала, уткнувшись лицом в фартук, призывала на свою голову ужасные проклятия, упоминая всех святых:

— Пусть Илья Пророк сразит меня молнией. Лопни мои глаза, если я не люблю барышню. Мама оставалась неумолимой. Дуняша перебрала всех святых и мучеников. Мы слевой тоже плакали и просили не прогонять Дуняшу. Наконец мама сдалась, и Дуняша осталась. Василий, которого упомянула мать в своей гневной речи, играл большую роль в жизни Дуняши. Он постоянно сидел на кухне, часто помогал по дому, порой его посылали с поручениями. Он был аккуратно и довольно красиво одет в косоворотку и высокие сапоги. Дуняша проводила много времени за шитьем этих косовороток, вышивая на обшлагах узор крестиком. Василий работал на фабрике. Он часто приходил по вечерам и всегда по воскресеньям. В присутствии моей мамы он говорил хриплым почтительным голосом. Его всегда принимали в доме, и у нас, детей, даже не возникало вопроса, кем он приходится Дуняше, хотя мы каким-то образом чувствовали, что он ей не муж.

Дуняшины уверения в ее любви ко мне не были пустыми словами. Для того чтобы понять ее чувства, необходимо знать, что она потеряла собственных детей и вся ее нежность обратилась на меня. Когда меня ругали, она пробиралась в комнату и беззвучно плакала, бросая неодобрительные взгляды на маму, а если меня ставили в угол, тихо ворчала:

— Мамаша слишком высокого мнения о своем Левушке, а для моего ребенка никогда слова доброго не найдут.

Я ощущала ее преданность, и мой разум отказывался принять мамину критику в ее адрес. Однажды я услышала рассказ мамы о том, как она наняла Дуняшу. Она должна была выбрать из нескольких женщин ту, которая станет моей кормилицей. Худая, изможденная внешность говорила не в пользу Дуняши, другая претендентка казалась более подходящей на эту должность. «Но, когда я сообщила ей, что она не подойдет, — вспоминает мать, — она как-то странно посмотрела на меня, и я почувствовала к ней сострадание. Она словно околдовала меня, и я не могу отвечать за то, что выбрала ее по своей воле. Наверное, она научилась кое-каким трюкам у своих финнов. Все они немного колдуны». Дуняша была найденышем. Из приюта ее отдали на попечение крестьянина из финского поселения неподалеку от Петербурга и его жены. Она часто говорила, что они стали для нее настоящими родителями и порой заботились о ней больше, чем о своих детях, объясняя это тем, что она сирота. Старые крестьяне иногда приходили навестить ее и всегда приносили нам в подарок масло и яйца. Считалось, будто финны занимаются колдовством, но эти двое совсем не походили на колдуна и ведьму. Это были милые пожилые люди. Особенно симпатичным и любящим пошутить казался ее отец; под его грубоватой внешностью скрывалась истинная деликатность. Когда он приходил к нам, то

обычно сидел на кухне, склонившись над печкой, и курил свою короткую трубку, стараясь пускать дым в трубу, чтобы никого не побеспокоить. Дуняша действительно иногда выглядела как-то странно — глаза ее закатывались, губы что-то бормотали. Но все же меня теперь удивляет, как мама с ее умом и образованностью могла верить в колдовство. В этом году Масленица принесла чрезвычайно важное для нас событие — отец покидал сцену, и ему предстояло устроить свой прощальный бенефис. Он выбрал последнее воскресенье перед Великим постом. Театры обычно были переполнены во время Масленицы — в те годы пост соблюдался очень строго, все увеселения прекращались до Пасхи, так что каждый стремился напоследок повеселиться вволю. Отец рассказал нам прелестную историю, произошедшую на Пасху несколько лет назад: императорская семья посетила дневное представление, и император Александр III выразил желание поесть блинов с артистами. Поднялась страшная суматоха, и словно «по щучьему велению» на подмостках установили столы и приготовили все необходимое. По окончании представления их величества вошли на сцену, Мария Федоровна села во главе стола, все подходило к ней со своими тарелками, и она накладывала им блины из большого блюда, стоявшего перед ней. По такому случаю она даже надела маленький фартучек. Император то сидел, то прохаживался среди гостей и находил для каждого доброе слово.

Наступил прощальный вечер отца, нас слевой, как никогда старательно, нарядили и повезли в театр, я попала туда в первый раз. Мы сидели в ложе. Теплый и яркий свет навевал мысли о рае, и я долго не могла отвести взгляд от огромной хрустальной люстры, висевшей под потолком. Возбуждение было настолько велико, что сердце, казалось, подступало к горлу. Я испытывала благоговение перед величием этого места и только боялась, как бы меня не спросили, нравится ли мне здесь. А я не могла найти адекватных слов, чтобы выразить свои чувства. Но мама и сама была слишком взволнована, чтобы задавать какие-либо вопросы. Она несколько раз повторила: «Так рано обрывается его карьера. Вся эта пышность напоминает мне торжества по случаю похорон».

Давали балет «Дочь фараона». Как только подняли занавес, мы слевой при появлении каждого нового танцовщика спрашивали:

— А где папа?

Но он вышел на сцену только во втором акте. Он выступал в па-д'аксьон с еще двумя танцовщиками, балериной и четырьмя солистками. Отец показался мне совершенно непохожим на себя, я не узнала его и постоянно теряла из виду, тем более что они танцевали то все вместе, то по двое, то по трое, а затем каждый соло. После вариации отцу устроили овацию, мы тоже хлопали. Позже отец объяснил мне, что это соло считается очень трудным и служит своего рода пробным камнем для всех танцовщиков. Он исполнил диагональ двойных пируэтов, приземляясь на одну ногу, а закончил тройным пируэтом. Нечто подобное сделал впоследствии Нижинский в «Павильоне Армиды».

Отцу пришлось повторить танец на бис. Мама сказала, что ему не следовало этого делать, она всегда отворачивалась, когда он бисировал, так как очень нервничала.

В перерыве поднялся занавес, и вся труппа вышла на сцену. Привели отца и поставили посередине. Ему вручали подарки и венки, произносили речи. Когда все закончилось, отец вышел на авансцену, и публика принялась аплодировать. Он поклонился сначала в сторону царской ложи, затем — директорской, а потом публике, прижав по традиции руку к сердцу.

После спектакля у нас дома был устроен ужин, на который пришли многочисленные коллеги отца. Нам слевой разрешили ненадолго остаться на ужин, но вскоре мама отослала нас спать:

— Бегите в постель. У вас глаза слипаются.

Вечер закончился поздно. Раздеваясь, мы слышали веселые голоса и речи, но знали, что в глубине души наши родители опечалены.

В течение многих дней мы говорили только об этом прощальном вечере. Доход от бенефиса был значительным — кроме серебряных подношений от публики, отец получил

изумрудное кольцо-печатку и украшенные бронзовым орнаментом часы от царя, а также тысячу рублей из «собственной шкатулки его императорского величества». Кольцо вскоре исчезло, оставив после себя на память о своем кратком пребывании квитанцию из ломбарда вдобавок к большой кипе подобных напоминаний. Но часы оставались с нами много лет и стали радостью моего детства. Мы редко пользовались гостиней, и я любила там побездельничать, предаваясь в одиночестве созерцанию небесной сферы и задумчивой Урании. Позолоченная бронза цвета светлого лютика чуть поблескивала, высеченные вокруг основания символы музыки: звезды и круги — как я узнала позже, ассоциировались с искусством стиля ампир. Я уже упоминала прежде, родители свободно обсуждали свои проблемы при нас, и их заботы не были тайной для детей. Я поняла, что отставка отца означала для семьи значительное сокращение средств как раз в тот момент, когда пришло время нам обоим получать образование. У отца оставалась лишь пенсия и жалованье преподавателя театрального училища. К тому же он преподавал любителям и давал уроки балетных танцев.

Мама всегда обладала большим мужеством. Ничто не могло ее утратить, и теперь она надеялась, что отец, располагая свободным временем, сможет иметь больше уроков, и таким образом все уладится. Все же мне кажется, что родители больше страдали от удара, нанесенного по самолюбию, нежели из-за материальных затруднений. В конце концов, мы всегда с трудом перебивались, не задумываясь о будущем, тратя больше, когда появлялась такая возможность, и сокращая свои расходы до минимума, как только таковая возможность исчезала. У отца были все основания надеяться, что его оставят в театре на второстепенные роли, как и других артистов его уровня. Расставание со сценой принесло ему мучительную боль. И в последующие годы он нередко возвращался к этой теме.

В разговорах часто поднимался вопрос о нашем будущем. Мама всегда утверждала, что балет неподходящая карьера для мужчины, даже лучшие танцовщики играют в балете второстепенную роль. Родители сошлись на том, что брат должен получить высшее образование. Что же касается меня, мама мечтала сделать из меня балерину.

— Прекрасная карьера для женщины, — говорила она. — И мне кажется, у девочки есть склонность к сцене. Она обожает передеваться и всегда вертится перед зеркалом. Даже если она и не станет великой танцовщицей, все же жалованье, которое получают артистки кордебалета, намного больше, чем любая образованная девушка может заработать где-либо в другом месте. Это поможет ей обрести независимость.

Однако отец придерживался иного мнения. Он никогда не одобрял подобной точки зрения, а теперь, когда его терзала горечь преждевременной отставки, был настроен против нее особенно решительно.

— Ты сама не знаешь, о чем толкуешь, матушка, — неизменно говорил он. — Я не хочу, чтобы мой ребенок жил среди закулисных интриг. Тем более что она, как и я, будет слишком мягкой и не сумеет постоять за себя.

Не могу с уверенностью сказать, оказала ли на меня влияние мать, заронившая в мою голову мысль о сцене, но каким-то образом эта идея жила во мне уже задолго до того, как меня впервые привели в театр. Я обожала отца, всегда с нетерпением ожидала его возвращения и осаждала вопросами о театре. Его рассказы всегда были чрезвычайно живыми: повествуя о различных событиях, он обычно изображал их, открывая передо мной другой мир, такой же сверкающий, как тот, что я видела через разноцветные стеклышки турецкого павильона. Даже интриги и тревоги казались мне всего лишь оборотной стороной его очарования и не внушали мне отвращения.

## Глава 4

Первые уроки танца. — Рождество. — Рассказы бабушки. — Гадание

Зимой 1893 года мама предприняла первые шаги к осуществлению своего плана — сделать из меня танцовщицу. Она договорилась с бывшей танцовщицей госпожой Жуковой, что та будет давать мне уроки. Тетя Вера, как мы ее называли, считалась другом семьи и о плате за уроки не было и речи. В благодарность мама делала ей подарки к Рождеству и именинам. Вручению подарка предшествовала небольшая церемония. Задолго до события я заучивала выбранные мамой стихи, более или менее подходящие к случаю. Мама обычно вставляла в стихи имя тети Веры, даже если от этого страдала рифма, и ежедневно заставляла меня декламировать их, исправляя мою дикцию. В день представления наряженная в свое лучшее платье и немного смущенная, я представляла перед тетей Верой, робко дожидаясь удобного момента, чтобы прочесть свое посвящение, а закончив, испытывала огромное облегчение.

Я ходила на уроки в сопровождении Дуняши. Часть столовой освободили от мебели, а на дверях на петлях временно установили перекладину. Тетя Вера в теплых домашних туфлях отбивала такт небольшой палочкой. Первые два месяца она заставляла меня заниматься у станка и, только когда мои ноги приобрели достаточную выворотность, стала давать мне упражнения в центре комнаты. Это и есть традиционное обучение в России. Последовательные систематические занятия длятся семь или восемь лет, и до окончания этого срока считается, что танцовщик еще не готов к выступлению на сцене. Однообразие этих занятий сначала утомляло меня. Я-то мечтала, что сразу же начну танцевать и делать высокие прыжки и пируэты, такие же, какие видела в балете. На первый урок я явилась в огромном волнении, надеясь свершить чудеса. Когда тетя Вера сказала «А теперь повернись», я поспешно оставила станок и попыталась закружиться на месте, но тотчас же потеряла равновесие и упала, почувствовав себя ужасно глупой. Учительница же рассмеялась и объяснила, что она только хотела, чтобы я повернулась и сделала те же упражнения, но с другой ноги.

Дуняша неодобрительно относилась к занятиям, ей не нравилась сама идея учить меня танцевать. Часто, возвращаясь домой, она вздыхала и ворчала себе под нос:

— Взбрело же мамаше в голову мучить ребенка. Я возражала ей, утверждая, что занятия не причиняют мне никаких мучений, но она упорно твердила:

— Я знаю, что говорю, милочка. Знала я одного акробата, так ему переломали все кости, чтобы он стал гибким.

И не было абсолютно никакой возможности убедить ее, что акробат и танцовщица — не одно и то же. Этот разговор и подобные ему вспомнились мне, когда много лет спустя я застала ее горько рыдающей над моей фотографией, где я была снята стоящей на пуантах. Когда состоялся мой дебют, мама взяла ее в театр, но, как только Дуняша увидела меня на сцене, ее охватило столь глубокое горе, и она принялась так громко рыдать, что рассерженная публика зашикала на нее, и маме пришлось отослать ее домой. Вернувшись, мы нашли ее по-прежнему в слезах, горько причитающей по поводу моих «переломанных костей».

Постепенной все больше и больше увлекалась уроками. Физические усилия, которые требовались для выполнения даже самых простых упражнений, стали вызывать у меня интерес. Когда я выучила несколько простейших па, моя учительница составила из них для меня небольшой танец.

Испытывая гордость успехами, я не смогла удержаться, чтобы не продемонстрировать свои достижения в детской перед Левой, но он заявил, что может исполнить намного лучше, и принялся меня передразнивать. Я не могла удержаться от смеха, настолько нелепо он подчеркнуто жеманно подпрыгивал и подскакивал. Но все же я рассердилась на него, да и на себя за то, что смеялась. Его поддразнивания обычно заканчивались громкой ссорой. Тогда появлялась мама и разводила нас по разным комнатам. Мама, обожавшая придумывать маленькие стишки, так охарактеризовала наши отношения:

Лев любит спорить, ты не можешь простить;

Вместе вы ссоритесь, но друг без друга не можете жить.

Мои уроки держались в тайне от отца. Прежде чем пытаться переубедить его, мама весьма благоразумно решила сначала сама убедиться в моих способностях. В то же время, стремясь сохранить мой энтузиазм, она несколько раз водила меня на утренние балетные спектакли. С восторгом следила я за представлением, и мама видела в этом еще одно подтверждение моего предназначения к сцене. Однажды мы пошли посмотреть «Сильфиду» с Никитиной в главной роли. Бесплотная и хрупкая, она казалась мне созданной из той же субстанции, что и лунный свет, заливавший сцену. В этом балете Тальони использовалось множество эффектов, присущих романтическим балетам, в том числе полеты через сцену на проволоке. Я ничего не знала о механизмах, используемых в театре, и для меня ничто не нарушало полноты иллюзии. Наверное, если бы мне удалось сейчас снова увидеть этот балет, несмотря на знакомство со всей закулисной техникой, ничто не смогло бы нарушить то очарование, которое я тогда испытала. Даже теперь, стоит только закрыть глаза, в памяти возникают мгновения высшей красоты. Объятия возлюбленного смыкались, но не могли удержать бледную, бесплотную Сильфиду. Последний печальный взгляд, где отразился проблеск земного чувства, — и изящная фигура взмыла в воздух, проплыла по небу и исчезла. Мы сидели в партере, и мне приходилось вертеть головой, чтобы видеть всю сцену. Вдруг, к ужасу мамы, я вскочила на сиденье и уселась на спинку кресла. Она стащила меня за ноги вниз, это вернуло меня к действительности и заставило осознать свой проступок. Позже она использовала этот случай в споре с отцом как доказательство моего артистического темперамента. К этому времени число книг, которыми мы обладали, увеличилось. Папа стал собирать для Льва «библиотеку», как он громко выражался. Иногда он покупал дешевые издания классиков и сам переплетал их; приложения к какому-то еженедельнику еще больше увеличили наши книжные запасы. Кто-то подарил нам подборку журналов «Вокруг света» за несколько лет. Там печатались приключенческие рассказы, переводы произведений Жюль Верна, Фенимора Купера и других авторов подобного жанра. Я также прочитала целиком «Серрапионовых братьев» Гофмана. Смысл его произведений был мне не вполне ясен, но меня чрезвычайно привлекало соединение фантастики с повседневной реальностью. Это придало моей жизни совсем иную окраску. Все перестало быть будничным, только казалось таковым; отныне я жила в мире, полном тайн, и постоянно ожидала чуда. Будучи довольно скрытной и сдержанной по природе, я никогда не выставляла напоказ своих эмоций и тайных желаний. Мама порой находила меня странной и не могла понять, почему я полностью утратила интерес к игрушкам. Если к нам кто-то приходил в гости, что случалось нечасто, я любила оставаться в гостиной, меня интересовали разговоры взрослых, но мама считала, что я бездельничаю, и обычно отсылала меня из гостиной играть или заниматься своими делами. Я слышала, как она говорила гостям: «Странные нынче дети пошли. Ей скучно играть в куклы. Когда мы были детьми, вообще не знали, что такое скука». Но мне не было скучно: просто мои интересы переместились с кукол на людей.

Хотя мы и не верили в существование Деда Мороза, приближение рождественских праздников приносило ощущение чуда, которое вот-вот должно случиться. Особенно радовала всеобщая благожелательность, охватывающая окружающих. Вокруг церквей, на бульварах и просто посередине улиц появлялись многочисленные рождественские базары, вырастал целый лес елок. Наше любопытство было возбуждено до предела. Мама приходила с какими-то пакетами и сразу же уносила их в свою комнату. Мы знали, что там подарки. Однажды вечером пробрались в ее комнату, но были пойманы с поличным, и мама с тех пор держала дверь запертой до самого Рождества.

На Рождество к нам приезжала бабушка, Мария Семеновна, жившая тогда у маминой сестры. Я всегда с нетерпением ожидала ее приезда. В высшей степени остроумная, она в то же время обладала удивительно невозмутимым характером и способностью

наслаждаться жизнью, даже стесненные материальные обстоятельства не смогли заглушить в ней это свойство. Когда-то она была красавицей, и до сих пор у нее сохранились необычайно большие темные глаза и гладкая кожа, почти как у молодой женщины, только слегка воскового оттенка. Свой орлиный нос бабушка называла «римским». На ее необычную внешность повлияла греческая кровь, протекавшая в ее жилах, — она была урожденная Палеолог. Бабушка часто рассказывала нам о своем детстве и обо всей жизни. Если только у нее находились слушатели, она готова была говорить бесконечно, и для нее не имело значения, кто перед ней: дети, слуги, родственники, посторонние, — она была в равной мере общительна со всеми. Часто в середине ее оживленного повествования о днях молодости мать пыталась прервать ее: «Мама, ты забыла, что говоришь с детьми». Мы же умоляли бабушку продолжать. Если бы записать эти истории, они, наверное, напомнили бы сказки «Тысячи и одной ночи» — такие же бесконечные, со множеством отступлений. Я всегда пыталась вернуть ее к рассказу, если она слишком далеко отклонялась.

С каким жаром она повествовала нам, детям, не достигшим и десяти лет, о балах-маскарадах в Благородном собрании в Петербурге, где за ней ухаживал сам император Николай Павлович, об изменах мужа и о том, как он приходил к ней исповедоваться в своих грехах со словами:

— Мари, ангел мой, ты все поймешь и простишь. Дедушка умер рано, промотав состояние и оставив без гроша молодую вдову с троими детьми. Первое время она жила в крайней бедности, но говорила об этом без горечи, с юмором. Единственным источником существования была скудная пенсия, и часто ее обед состоял из селедки и ломтика хлеба, а печь она топила дровами, добытыми с барж. К счастью, ее освободили от забот о детях: сына поместили в морской корпус, а дочерей — в сиротский институт. Бабушкиным девизом стали слова: «Одинокая душа никогда не бывает бедна». Их домом стал дом их опекуна князя Мичецкого. Теперь она жила главным образом у тети и время от времени — с нами. На этот раз бабушка привезла с собой кузину Нину.

Наступил сочельник, и вечером по традиции мы собирались заняться гаданием. Елку купили еще накануне, мы слевой ходили с отцом выбирать ее. Отец очень любил эту традицию и всегда старался выбрать самую красивую елку. Мы привезли ее на санках и на следующий день стали украшать. Отец принес кухонный стол, поставил на него стул и, забравшись наверх, укрепил на макушке большую красную звезду. Мы подавали ему украшения и свечи, которые нужно было поместить наверху, а сами украшали нижние ветки. Наряжать елку было такое удовольствие! Не меньшее, чем видеть ее зажженной. Как зачарованная, перебирала я украшения из фольги, имбирные пряники в форме барашков или солдатиков; маленькие восковые ангелочки с золотыми крылышками, подвешенные на резинке, закрепленной в середине спины, тихо покачивались в неподвижном полете, а я следила за тем, чтобы они разместились подальше от свечей. Мы повесили множество золоченых грецких орехов и красных величиной с абрикос крымских яблочек, они назывались райскими. Прикрепив свечи, мы разбросали по елке хлопья ваты, чтобы она выглядела как снег, повесили вокруг серебряный дождь, и елка засверкала, словно обтянутая золотой и серебряной паутиной.

Мама была занята на кухне — руководила приготовлением окорока — и только иногда заходила в комнату, бабушка же сидела с нами. Она читала газету и время от времени обращалась к отцу, которого очень любила, с комментариями:

«Послушай, Платоша...» Политические новости ее не интересовали, зато она просматривала все сводки происшествий. Те или иные сообщения наводили на мысль о Нине и ее пристрастии к катанию на коньках. Бабушка ждала только несчастий от подобных развлечений.

— Она же настоящий сорванец, — говорила бабушка, — и абсолютно не боится падать, а что, если она неудачно упадет? И, боже упаси, ей придется накладывать швы на лицо, или свернет набок «фамильную гордость»?



Так бабушка называла Нинин нос, слегка напоминающий ее собственный. Над моим же носом она подсмеивалась и называла его «кнопкой». Нос Левы она считала красивым и часто говорила: «Я очень люблю мальчиков, а девчонки все плаксы», но подобные суждения не мешали ей любить меня. Бабушке нравилось, когда я ей читала, и она одобряла мои манеры. Она держалась с нами на равных, и мы обе, особенно Нина, поддразнивали ее, задавая нескромные вопросы. Особенно любили спрашивать: — Бабушка, почему у тебя волосы белые, а шиньон черный, и зачем ты покрываешь его сеткой, так что он похож на рыбу в неводе?

И бабушка наконец объяснила, что это шиньон на каждый день, но у нее есть другой, больше гармонирующий с волосами, но его она бережет для торжественных случаев.

Бабушка в свою очередь убедила нас попробовать нюхать ее табак, уверяя, что это прекрасное средство для того, чтобы глаза были ясными. Наши сильнейшие приступы кашля сначала настоящего, а затем притворного невероятно ее забавляли.

Нина была старше меня на два года. Она обожала Льва и, будучи настоящим сорванцом, всем прочим развлечениям предпочитала кулачный бой. Никогда в жизни не встречала я столь изобретательной и бескорыстной лгуни. Со временем она превратилась в откровенную и открытую девушку, на редкость искреннюю, но, даже будучи ребенком, она никогда не лгала с целью извлечь какую-то выгоду. Она просто любила рассказывать удивительные истории, в которых всегда играла главную роль — то она скакала по степи на необъезженном жеребце, то неслась вдоль железной дороги рядом с поездом, не отставая от него.

Вечером стали гадать, растопили воск и вылили в холодную воду. Когда он застыл, подносили его к лампе и рассматривали тень, отбрасываемую им на стену. Один и тот же кусок, повернутый разными сторонами, выглядел по-разному. Чаще всего тени вообще ни на что не были похожи; но воображение помогало нам найти в них какое-то пророчество. Мой кусочек с одной стороны походил на кролика с длинными ушами, с другой — на отшельника в капюшоне.

После ужина нас, детей, отправили в постель, но мы договорились не засыпать до полуночи. Мы знали, что мама собирается гадать на зеркале, видели подготовку к этому. Как только потушили лампу и Дуняша вышла из комнаты, мы выскользнули из постелей и под предводительством Нины на цыпочках побежали по коридору к маминой комнате. Там мы по очереди пытались заглянуть в замочную скважину. Мы затаили дыхание, но, отталкивая друг друга, не могли сохранить полную тишину, мама обнаружила нас и велела немедленно идти спать.

Мое воображение в тот вечер так разыгралось, что я поверила, будто за закрытой дверью происходит ритуал какого-то колдовства. Подошла моя очередь заглянуть в замочную скважину, и я увидела сперва слабое мерцание свечей, затем по комнате метнулась огромная тень, когда мать встала, чтобы подойти к двери. Ее голос, как мне показалось, звучал совсем по-другому, и ужасная идея, будто маму подменили, наполнила меня неизъяснимым ужасом. Долго потом я лежала без сна, терзаемая страшными видениями. Мне и теперь кажется, что в гадании по зеркалу есть нечто жуткое. Одно зеркало ставится на стол перед гадающим, другое сзади. Зажигаются две свечи, превращающиеся в отражении в анфиладу огней. Нужно начинать гадать до полуночи, а в полночь, как принято считать, видение появится в зеркале. Мама рассказывала, как ее подруга однажды гадала так на зеркале в канун Рождества. Вдруг раздался крик, и ее нашли лежащей на полу в глубоком обмороке. Когда ее привели в чувство, она рассказала, что видела погребальную процессию, гроб, а в нем — самое себя. Маме в это Рождество привиделось что-то веселое, судя по ее описанию, нечто напоминающее карнавальное шествие.

Мама заставила нас читать рождественские молитвы, которые мы должны были выучить. Я с нетерпением ждала вечера, когда к нам в гости придут дети, зажгут свечи на елке и положат под нее подарки. Я даже немного нервничала — вечера не часто устраивались в нашем доме, и в то же время была польщена, так как мама сказала, что мы севой хозяйки

и должны будем позаботиться, чтобы гостям было весело, ни в коем случае нам не следовало ссориться и пререкаться из-за игрушек, которые позволят снять с елки. К нам пришли двое шумных мальчишек, школьные товарищи Левы. Сначала я немного оробела в их присутствии, но вскоре они приняли меня в свою игру — заряжать маленькую пушку горошинами и стрелять в картонный замок.

## Глава 5

Занятия с отцом. — Религиозные страхи. — Экзамены. — Императорское училище

После Нового года мама всерьез приступила к устройству моего будущего. Ее аргументы вкупе с заверениями тети Веры, что у меня действительно есть способности к танцу, сломили противодействие отца (если, конечно, можно так назвать его робкие возражения). — Что ж, пусть будет по-вашему, — сказал он. — Тогда она станет третьим поколением в нашей семье, которое взойдет на подмостки.

Его отец был провинциальным актером и драматургом.

С тех пор отец стал учить меня сам. Обычно мы занимались по вечерам, так как большую часть дня он проводил вне дома, давая уроки. Отец оказался очень требовательным учителем. И когда он сидел, наблюдая за мной и поставив, как всегда, рядом стакан чаю, в его манерах появлялась даже какая-то суровость. Под музыку его скрипки я старалась изо всех сил, но он никогда не был доволен мною, если лицо мое не покрывалось потом. Отец говорил, что, когда готовился к своему дебюту, буквально истекал кровавым потом. Аккомпанируя моим экзерсисам, он наигрывал множество мелодий — фрагменты из разных балетов и из опер «Фауст» и «Лючия ди Ламмермур», порой напевая слова. Особенно он любил «Еврейскую польку», я же чаще всего просила его сыграть «Марсельезу». Grand battement (Большой батман от battement --- биение, группа движений работающей ноги) казался мне наполовину легче, если я исполняла его под эту браваурную мелодию. Меня подстегивали резкие отцовские замечания:

«Руки держишь словно канделябры; у тебя колени согнуты, как у старой клячи». Я негодовала, когда он изредка прерывал меня ударом смычка. Отец принадлежал к старой педагогической школе, основанной на жесткой дисциплине. Он научил меня вкладывать максимум усилий в выполнение поставленных задач. Время от времени он вставал, чтобы показать мне какое-то па. Однажды, когда мне стало очень жарко и сильно захотелось пить, я у него за спиной сделала глоток чая из его стакана. Он это заметил и сурово меня отчитал:

— Ты собьешь себе этим дыхание.

Не разрешал он мне и садиться сразу после урока, объясняя это тем, что внезапное расслабление мускулов после сильного напряжения может привести к ослаблению колен. Поэтому, переодевшись, я должна была какое-то время ходить взад и вперед, словно скаковая лошадь, прежде чем мне позволят сесть или выпить. Я часто заводила с отцом разговоры о его работе в театре и о знаменитых танцовщицах, которых он знал. Он танцевал с Дель Эра и Аделью Гранцевой во время их гастролей в Санкт-Петербурге. С восторгом он отзывался о первой жене Петипа, Марии Сергеевне, так рано умершей в расцвете славы и красоты. Толпы поклонников всегда ждали ее у выхода, чтобы увидеть, как она садится в экипаж. Ее всегда сопровождал муж, по слухам, чрезвычайно ревнивый. Однажды в дождливый вечер студенты стали бросать ей под ноги свои шинели. «Ramassez done vos pelisses, Messieurs», (Поднимите же свои шубы, господа) — сказала она, проходя, хотя слово «шубы» применительно к поношенным шинелям русских студентов прозвучало слишком громко.

Лев разделял мой интерес ко всему, что касалось театра, и однажды у него возникла идея попросить отца сделать нам кукольный театр. И отец очень умело сделал нам театр из картонной коробки. На фронте он нарисовал витые колонны и малиновые драпировки.

В нашем театре не было занавеса, и действующие лица попадали на сцену через прорези в потолке. Это были маленькие раскрашенные фигурки, приклеенные к картону и подвешенные на проволоке. Первой пьесой, которую мы поставили, стала «Руслан и Людмила». Отец написал миниатюрный задник и кулисы. Мы по очереди читали поэму, опуская на сцену актеров. Колдун Черномор летал на проволоке и был бы очень страшным, если бы отец не проявил остроумие и не сделал его настолько комичным, что публика, то есть мы севой, каждый раз при его появлении заливались хохотом, разрушая весь драматизм момента.

Для поступления в театральное училище не требовалось много знаний, тем не менее мать сделала наши случайные занятия более регулярными, чтобы лучше меня подготовить. Она хвалила меня за грамотность — хотя я и недостаточно хорошо знала правила грамматики, но много читала и поэтому отчетливо представляла, как писать слова. К основам арифметики и Старого и Нового Завета теперь добавился французский. Благодаря необычайно хорошей памяти занятия давались мне легко, но эта легкость порождала лень, и впоследствии я часто уклонялась от задач, представляющих серьезные трудности. Мне было трудно сосредоточиться, и часто, отвлекаясь от урока, я наблюдала за тем, как работает мама, которая, диктуя мне, или вязала, или завивала ножницами старые страусовые перья. Вопрос о том, чтобы связать мою жизнь со сценой, был решен положительно, но радость от предвкушения столь счастливого события нарушалась тревожным состоянием моей души, замутненной религиозными страхами.

«...Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду... а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной». Детская логика, чуждая компромиссам, привела меня к выводу, что резкие слова, брошенные родителями в пылу раздражения во время редких ссор, так же как и мои собственные злобные выпады против Льва, наложили клеймо непоправимого греха на меня и всех тех, кого я любила. После я прочла Апокалипсис. Его символический смысл я, конечно, не поняла, но яркое видение Страшного суда наполнило меня благоговейным страхом. Я и раньше видела под аркадами торговых рядов старого Никольского рынка фрески, изображающие Страшный суд, и уже тогда была зачарована их жутким величием, но только теперь их смысл открылся мне в полной мере. Последний глас трубы архангела, море и земля, являющие своих мертвых, в ярких образах неизвестного автора входили в мое сознание, вырастали там до невероятных размеров и мучили все возрастающим ужасом. Я не могла признаться Дуняше, что боюсь идти через рынок. Когда бы мы там ни проходили, я тщетно пыталась отвести взгляд. Из каждого угла аркад на меня устремляли суровый взор старые темные иконы византийской школы. И не было никакой возможности укрыться от их взглядов. Я стала ужасно истеричной и часто не могла сдерживать слез. Однажды во время занятий с отцом мне в голову пришла мысль о том, насколько бесполезно все то, что мы пытаемся предпринять в жизни в преддверии вечных мук, и я разразилась рыданиями. Отец прервал урок, он подумал, что я заболела, и пошел посоветоваться с матерью. Она нашла меня в детской, все еще рыдающей.

— Неблагодарный ребенок, — обратилась она ко мне. — Ты не ценишь заботы своих родителей. Неужели ты думаешь, что отцу так хочется с тобой заниматься, когда он усталый приходит домой? Он предпочел бы почитать газеты. А ты расстраиваешь его своими капризами.

Она неверно истолковала причину моих слез. Острое пронзительное чувство жалости к ним обоим стояло за моими слезами. Мама была настолько озадачена моим необъяснимым поведением, что даже пригрозила выпороть меня. Хуже всего были те страдания, которые я испытывала по ночам. Я дождалась, пока уснет Дуняша, и, когда слышала тихое похрапывание, выбиралась из постели и вставала на колени перед образом. Только крайняя усталость заставляла меня отправиться спать. Наконец, я приняла решение бежать из дома в монастырь, где постоянными молитвами стала бы замаливать все наши грехи. Я постаралась окольным путем выведать у Дуняши, считает ли и она

тоже, что все мы живем во грехе. Она, как могла, постаралась меня утешить, но со вздохом призналась, что все мы грешники, но Господь терпелив и милостив к людям. Ее слова не принесли мне успокоения, и однажды я поделилась с ней своим планом, умоляя ничего не говорить матери, но пойти со мной. Я стала потихоньку готовить узелок с вещами, которые хотела взять с собой; пожалуй, проявив непоследовательность, я сложила туда и свои сокровища. Мне ни разу не пришло в голову, как и где я буду искать монастырь. Дуняша, естественно, рассказала обо всем матери, и однажды та пришла ко мне, села рядом и заставила обо всем рассказать. Никогда еще я не видела ее столь нежной. Она посадила меня на колени и позволила выплакаться вволю, прижимая меня к груди и глядя по волосам. И все это время она убеждала меня, что не стоило читать того, чего я пока не в состоянии понять. Она объяснила мне, что все грехи прощаются тому, кто верит и раскаивается, и привела в качестве примера Варавву на кресте. Я уже достаточно большая, мне следует ходить на исповедь, и, какими бы ни были мои грехи, они могут быть прощены. Ее слова исцелили меня.

Как только у Левы начались каникулы, мы поехали в Лог, деревню неподалеку от Пскова. Брат настолько блестяще учился, что его перевели в следующий класс без экзаменов. Отец связывал с летом большие надежды, надеясь многого от меня добиться. По его мнению, тело становится более гибким в жаркие дни, и наши занятия стали еще более сложными. К моему огромному огорчению, отец запретил мое любимое развлечение — бегать на гигантских шагах, считая это, наряду с фигурным катанием, вредным занятием для танцовщицы, поскольку оно могло привести к потере мышцами эластичности. С этого начался длинный ряд ограничений, которым подвергается жизнь танцовщиков. Я с завистью смотрела на Льва, как он бегал и прыгал на гигантских шагах. Но все же я могла участвовать в некоторых его развлечениях. Мы часто играли в лапту и чехарду с крестьянскими мальчишками. Я лазила на деревья так же хорошо и смело, как Лева, но мама не одобряла подобных занятий, так как я рвала сшитые ею легкие платья. Однажды она особенно рассердилась и заявила, что я слишком беспечно отношусь к вещам, разоряю ее и что теперь она едва ли сможет позволить себе расходы на новые платья.

— Я буду одевать тебя в чертову кожу; ты хуже любого сорванца!

Услышав подобное обвинение, я разрыдалась. Мысль о том, что я разоряю родителей, огорчила меня, а чертова кожа, грубая, похожая на кожу материя, казалась мне отвратительной, я любила наряжаться в свои хорошенькие нарядные платья. Отец, по видимому, считал, что мама со мной слишком строга, к тому же мои слезы всегда вызывали у него жалость. Он направился в сарай, взял лопату и сказал:

— Пойдем в лес. Добудем для тебя что-нибудь хорошенькое.

Он выкопал очень красивый пышный папоротник и посадил его в тенистом уголке сада, у ручья. Закончив, он сказал:

— А теперь беги к маме и поцелуй ее.

В знак примирения мама сварила мне кофе, и мы выпили его с булочками, только что вынутыми из печи.

В начале августа мы вернулись в город. В первую очередь необходимо было выполнить формальность — подать прошение в училище. Все претенденты должны были пройти тщательный отбор, и лишь незначительное количество принималось в училище. Первый год обучения был посвящен тому, чтобы выявить способности учеников, в конце года слабых отчисляли, лучших переводили на положение пансионеров, тем же, кто добился не слишком значительных успехов, давали шанс и оставляли еще на год на положении приходящих. В то утро, когда состоялся экзамен, 26 августа 1894 года, я была вне себя от страха при мысли, что меня могут не принять. Я не могла ни пить, ни есть. Даже новое белое платье и туфельки бронзового цвета, надетые по такому случаю, не могли отвлечь меня от предстоящего испытания. На ночь мне закрутили волосы на бумажки, а по дороге в училище мама отвела меня к парикмахеру. Пока он приводил в порядок мои волосы,

распустив их локонами сзади и сделав челку, меня охватывало все большее и большее нетерпение, я поминутно спрашивала, не пора ли идти. Когда мы приехали в училище и я увидела швейцара в ливрее с императорскими орлами, почувствовала себя совсем маленькой и незначительной. Мы оставили пальто в просторном вестибюле и стали подниматься по лестнице. Мама в последний раз поправила мне платье и волосы и заметила, что белый цвет очень красиво оттеняет мой загар. В большом зале второго этажа уже томилось в ожидании много маленьких девочек. Нам тоже пришлось подождать, и я воспользовалась представившейся возможностью, чтобы обойти зал и рассмотреть портреты членов императорской семьи, развешанные на стенах, прежде чем в зал прошествовала сурового вида дама в черном в сопровождении шести других дам в голубых кашемировых платьях. Это была инспектриса Варвара Ивановна и воспитательницы. Дама в черном обошла зал, обращаясь к некоторым из родителей с вежливыми словами. Мама прежде говорила мне, что она наша дальняя родственница, и я ожидала услышать от нее ласковое слово, но Варвара Ивановна только взглянула на меня серыми холодными глазами и обменялась приветствиями с мамой. Воспитательницы построили нас парами и отвели в соседний зал, где с двух сторон стояли скамейки, а вдоль стены с большим зеркалом стоял ряд столов и стулья для экзаменаторов. Перед ожидающими родителями закрылись двери. Я увидела отца, сидящего среди преподавателей, но он и виду не подал, что заметил меня. Вызывали сразу по несколько девочек, названные выходили на середину комнаты и вставали там, а преподаватели расхаживали вокруг и осматривали их. Сначала мы стояли неподвижно, затем нам велели ходить, потом бежать. Это делалось для того, чтобы оценить наш внешний вид и решить, достаточно ли мы грациозны или же, наоборот, неуклюжи. Затем мы стояли сомкнув пятки, предоставив преподавателям возможность рассматривать наши колени. Эти предварительные испытания заняли довольно много времени, так как нас было больше тридцати. После первого же испытания многих кандидаток сочли неподходящими. Нас снова построили в пары и на этот раз повели через длинную анфиладу классов в лазарет, чтобы подвергнуть медицинскому осмотру. Нам велели полностью раздеться и выдали полотняные халаты, облачившись в которые мы стали ждать своей очереди. Осмотр был очень тщательным. Некоторых девочек отклонили из-за слабого сердца, других — из-за легкого искривления позвоночника. Слух и зрение тоже проверили. После медицинского осмотра нас отвели в так называемый круглый зал и дали чай с бутербродами. Во время этого перерыва на завтрак в зал заглянул отец, я бросилась к нему с вопросом, приняли ли меня. Он отделался от меня своим обычным: «Много будешь знать...»

После завтрака преподавательница музыки велела нам пропеть гамму, чтобы проверить слух. Затем последовали экзамены по чтению, письму и арифметике. Отбирали долго, так как число вакансий было ограничено. Наконец, нас снова привели в большой зал, где сидели преподаватели танца. Приняли только десять человек, в их числе и меня. Домой мы вернулись только к шести вечера. Мы с радостью заново пережили в разговорах все события прошедшего дня. Мама допытывалась у отца, какое впечатление произвела на экзаменаторов моя внешность. А мне пришлось во всех подробностях рассказать Леве и Дуняше, как все происходило, что мне говорили и как выглядели другие дети.

Занятия начинались 1 сентября, и за оставшиеся несколько дней следовало подготовить всю мою «экипировку» — коричневое кашемировое платье для занятий в классе и серое полотняное для танцев. Отец взял меня с собой покупать школьные принадлежности. Огромную радость доставило мне приобретение ранца под «тигровую кожу», который я выбрала сама, и всех необходимых мелочей, таких, как ручка, пенал и прочее. Заполучив все это, я испытала приятное чувство собственности, ведь прежде у меня не было даже своего карандаша. Мы жили довольно далеко от училища, и для того, чтобы успеть вовремя, мне приходилось выходить из дому вместе с отцом до восьми. Трамваев тогда еще не было, по улицам ходили конки, которые тянула по рельсам пара лошадей.

В училище приходящие ученицы переодевались в платья для урока танцев на антресоли между первым и вторым этажом под присмотром маленькой добродушной седой старушки, похожей на мышку, и поднимались вверх, чтобы поприветствовать реверансом воспитательницу, затем направлялись в небольшой репетиционный зал. Уроки танцев проходили по утрам. Затем мы переодевались и завтракали в круглом зале. Чай давали бесплатно, а бутерброды мы должны были приносить с собой. Иногда отец, желая побаловать меня, покупал горячие пирожки с вареньем, которые продавались под аркадами Гостиного двора, неподалеку от училища. Швейцар Гурьян вручал мне пакетик «от папаши». Пирожки были очень вкусными, но трудно перевариваемыми.

## Глава 6

«Тюремные кареты». — Мой первый учебный год. — Смерть в театре. — Кякшт. — Традиции училища. — Андрей. — Преждевременные похороны. — Смерть императора

Мой первый учебный год не был отмечен заметными успехами в танце. Мне пришлось заниматься в классе для начинающих, хотя моей подготовки было бы достаточно для более серьезной работы. Личность нашего педагога была не слишком вдохновляющей, он был ровесником моего отца и теперь мог позволить себе роскошь носить тщательно ухоженные и напояженные усы с закрученными концами. Эти усы и черные волосы, уложенные а-ля Капуль (Капуль Жозеф (1839—1929) — известный французский тенор, который пел в Петербургской опере, пользовался большим успехом как певец и законодатель мод.) делали его похожим на престарелого херувима, говорил он томным голосом, растягивая слова. Если бы тогда я уже знала мистера Манталлини (Мистер Манталлини — комический персонаж романа Ч. Диккенса «Жизнь и приключения Николаев Никльби», воплощение вульгарности и апломба.), то назвала бы своего учителя в его честь. Балетные спектакли давались по средам и воскресеньям. По традиции последний акт каждого балета строился как дивертисмент, куда часто вставляли танец для детей, что давало ученикам возможность наряду с разучиванием определенных па приобретать сценический опыт. Начинающие, вроде меня, появлялись только среди толпы. Я умираю от желания подняться на сцену, которая была для меня словно Мекка для верного мусульманина. Однако выбор никогда не падал на меня, но от одноклассниц, которых часто посылали в театр, я слышала изумительные рассказы. А когда они имитировали солистку, я едва могла сдержать горькое чувство обиды и не плакать. Я поделилась своим горем с отцом, и выяснилось, что это он попросил не занимать меня в спектаклях, чтобы избежать от поздних возвращений домой. Видя мое огорчение, он пообещал замолвить «словечко». В результате его вмешательства меня выбрали для участия в толпе в балете «Коппелия». Я ничуть не преувеличу, сказав, что испытала такое же волнение перед выходом на сцену, какое испытывают артисты. Мама привезла меня в театр за несколько часов до начала последнего акта, во время которого мы должны были расхаживать взад-вперед по сцене, и передала на попечение воспитательницы, суровой француженки, мадемуазель Виршо. Когда костюмерша принесла нам костюмы, я бросилась к тому, который показался мне самым красивым, но мадемуазель Виршо заявила, что я не имею права выбирать, а должна довольствоваться тем костюмом, который мне дадут. Ее выговор причинил мне жгучую боль, но я тотчас же утешилась, получив платье с ярким бархатным корсажем и маленький муслиновый передничек. Я долго смотрела в зеркало, вглядываясь в свой новый облик, пока нас не позвали гримироваться. Мы по очереди подходили к воспитательнице, и она заячьей лапкой накладывала нам на щеки немножко румян. Затем нас построили парами, и мы стали спускаться по лестнице. Мне казалось, будто все смотрят на меня и любят мой костюм. Я шла легким пружинистым шагом — даже не представляла, что могу так идти. На сцене сначала все ошеломило меня, зал казался черной ямой, простирающейся за

сиянием огней рампы. Яркие огни и огромное пространство вызвали у меня головокружение. Я не заметила ничего ужасного вокруг, но, когда мама привела меня домой, узнала о том, что произошло этим вечером в театре. Она разговаривала с отцом за ужином приглушенным голосом:

— Да, прямо в костюме и гротескном гриме. Разрыв сердца.

Из обрывков фраз, не предназначенных для моих ушей, я поняла, что старый актер Стуколкин, исполнявший роль доктора Коппелиуса, умер внезапно в своей гримерной. Это произошло перед самым началом последнего акта, поэтому пришлось затянуть антракт, чтобы дать время одеться дублеру.

Меня ничуть не волновало, что мне давали столь незначительные роли, главное — я вошла в пленительный мир сцены. Находиться там даже в толпе статистов — уже одно это вызывало во мне глубокий трепет волнения. Вскоре, однако, сфера моей деятельности расширилась. Я исполнила роль одного из пажей феи Сирени в «Спящей красавице», а в «Корсаре» я даже одна выходила на сцену, опускалась на колено перед Медорой, преподнося ей розу на алой подушке. Даже такие маленькие роли невозможно исполнить без репетиций. Ради того, чтобы не сокращать уроков танца, репетиции устраивали днем. Воспитательница, появлявшаяся во время уроков, чтобы отвести нас на репетицию, всегда была желанной гостьей, особенно если это был урок арифметики. Обычно мы репетировали в училище, но в случае необходимости отправлялись в театр.

Вместительные кареты, рассчитанные на шесть человек, мы называли «допотопными ископаемыми», они подвозили нас к боковому входу, откуда мы входили в театр. Если требовалось больше одной кареты, с нами отправляли двух воспитательниц, горничную и швейцара, сидевшего на козлах. В торжественных случаях нам подавали старинные экипажи на пятнадцать мест, очень длинные, с одним окошком в задней стенке. Эти экипажи сильно напоминали тюремные кареты, «черные вороны». У театра были свои конюшни, и кареты привозили артистов в театр и развозили по домам после спектаклей. Одна карета принадлежала исключительно балеринам.

Мы почти никогда не видели мальчиков, наших соучеников. Они жили этажом выше, и мы встречали их только на уроках бальных танцев и во время репетиций. Разговаривать с мальчиками строжайше запрещалось. Мы степенно исполняли все фигуры кадрили, лансье и менуэта, не поднимая глаз на своих партнеров. Если воспитательница замечала отступление от этого правила, нарушители получали выговор или даже подвергались наказанию. Несмотря на все эти предосторожности, легкий флирт пустил в училище глубокие корни. Однажды перед уроком бальных танцев ко мне подбежала взволнованная Лидия Кякшт. «Я велела своему брату стать твоим поклонником, — сообщила она. — Сегодня он будет твоим партнером». К тому времени я уже понимала, что иметь поклонника очень важно для репутации, и, хотя знала от отца, в классе которого он занимался, что этот мальчишка настоящий маленький негодник, покорно приняла предложение подруги.

В училище было полно таких показных романов, и вскоре я усвоила установленный традицией хороший тон. Мои вновь приобретенные манеры совершенно не нравились матери. Она терпеть не могла жеманности, что же касается брата, он высмеивал меня остроумно и безжалостно.

«Кого вы обожаете?» — часто спрашивали меня старшие воспитанницы. Все мы должны были кого-то обожать. Две примы-балерины, Матильда Кшесинская и Ольга Преображенская, были кумирами нашего училища и разделили его на два лагеря. Преподаватели тоже иногда попадали в число достойных обожания. К сожалению, только двое из них были молоды и красивы, один из них — учитель фехтования. Остальных же, казалось, нашли в паноптикуме. Мой выбор пал на Павла Гердта. Ему было уже за сорок, но он по-прежнему оставался на ролях «первых любовников», его внешность не выдавала возраста. Я могла вполне искренне говорить о своем обожании его, так как всегда искренне восхищалась его внешностью и манерами, правда, прежде мне не приходило в

голову, что я его обожаю. Он был моим крестным отцом и иногда приходил к нам в гости, всегда принося мне большую коробку шоколадных конфет. В тот период он танцевал мало из-за постоянной боли в колене, но все же играл главные роли и поддерживал балерину. Красивый и статный, он выглядел очень молодо на сцене и был первоклассным актером. В училище он преподавал пантомиму, но его уроки посещали только ученики старших классов.

Опускаясь на колени в «Корсаре», я представить себе не могла, что несколько лет спустя стану Медорой, а он моим Конрадом. Я с нетерпением ждала его посещений, а он всегда находил для меня несколько ободряющих слов. Я особенно ценила его за то, что он никогда не трепал меня по волосам и вообще не обращался со мной как с ребенком, а приветствовал меня таким же галантным поклоном, как и мою мать. Однажды, когда он пришел к нам, я бросилась ему навстречу, и он сказал: «Хорошо, крестница. Чрезвычайно выразительно. Превосходная осанка, и походка на сцене весьма артистичная». Велико ли достоинство в том, чтобы артистично передвигаться по сцене? Сейчас я сомневаюсь в этом, но тогда была польщена.

Во время этого посещения меня, к моему огромному разочарованию, попросили выйти из комнаты — крестный хотел обсудить какое-то конфиденциальное дело. Уходя, он несколько раз повторял слова благодарности, обращенные к маме. Вскоре мне стала ясна таинственная цель его визита: его брата Андрея должны были выпустить из психиатрической лечебницы; Бедного Андрея периодически охватывали припадки безумия, и его уже несколько раз заключали в психиатрическую лечебницу. Теперь доктора объявили, что он здоров, но за ним нужен присмотр. Он писал жалобные письма брату, умоляя забрать его и обещая полное послушание. Павел оказался в затруднительном положении, так как его жена решительно отказывалась принять на себя ответственность, и он пришел к отцу, умоляя его во имя старинной дружбы взять на себя заботу об Андрее. Мой отец не такой человек, чтобы отказать в подобной просьбе, да и мама всегда была великодушна. Было решено, что Андрей станет жить с нами.

Появление нового человека в нашей маленькой квартирке означало некоторые изменения в нашем размещении. Папа уступил свою комнату новому жильцу и спал теперь в кабинете на большой тахте. Мои родители очень заботились об Андрее и искренне привязались к нему. Одевался он очень опрятно и даже изысканно, был послушным и зависел от окружающих, как ребенок. К маме он относился как к своей опекунше, обычно отдавал ей свою пенсию на сохранение и советовался с ней, когда хотел что-нибудь купить. По субботам он радостно спешил вслед за папой и Левой в баню. Весь день он проводил, занимаясь вместе с нами нашими делами, но время от времени удалялся в свою комнату писать мемуары. Фрагменты из них он читал маме. Его постоянно преследовали ужасные воспоминания о пребывании в психиатрической лечебнице. Во время одного из приступов его сочли умершим. Придя в себя после комы, длившейся три дня, он обнаружил, что лежит в гробу и у него в изголовье и в ногах стоят канделябры с зажженными свечами. Какое-то время он вслушивался в монотонный голос, читающий псалтырь, затем сознание полностью вернулось к нему, он закричал и бросился прочь. По закону православной церкви тело умершего три дня и три ночи должно было находиться в часовне, а священнослужители, сменяя друг друга, непрерывно читали над ним псалтырь, затем следовала заупокойная служба и закрытие гроба. Он действительно был на волосок от гибели.

Затем наступил период просветления, и его забрали из больницы. Когда же Андрей снова стал причинять беспокойство, брат, имея в виду этот случай, не собираясь, конечно, делать ничего подобного, однажды бросил жестокую фразу: «В следующий раз я позабочусь о том, чтобы гроб забили, прежде чем ты успеешь выйти из него». Его постоянно терзал ужас быть похороненным заживо; он сильно нервничал, даже когда просто говорил об этом.



— Все в порядке, Андреич, — успокаивала его мама. — Это никогда не повторится вновь. Ты больше никогда не попадешь в больницу, если в моих силах будет предотвратить это. Он заставил мать дать обещание, что она ни за что не позволит снова заключить его в лечебницу. Бог свидетель, как упорно она боролась, чтобы спасти его. Мама всегда испытывала сострадание к душевнобольным. Ее собственный отец был подвержен припадкам безумия, и это произвело на нее неизгладимое впечатление.

Некоторое время все шло хорошо. Мирная домашняя жизнь казалась Андрею вновь обретенным раем. Внешне он выглядел вполне нормальным, разве что внезапно бросал порой какие-то бессмысленные реплики. По вечерам мы подолгу сидели за чаем и вели беседы. Самовар, раздуваемый Дуняшей, то вносили, то уносили. Она часто задерживалась в комнате и стояла в дверях в своей любимой позе, опустив щеку на ладонь, поддерживая локоть другой рукой, при этом она блаженно улыбалась и время от времени подавала какую-нибудь реплику.

К весне Андрей впал в беспокойство, у него стали случаться приступы меланхолии, за которыми следовала бессонница. Он часто вставал по ночам и бродил по дому. Однажды он забрел в детскую. Я проснулась и, слегка напуганная, окликнула его. Он, не сказав ни единого слова, повернулся и вышел. На следующую ночь он пришел к отцу и, по-видимому, долго стоял там и что-то говорил, пока отец, обычно крепко спавший, не проснулся.

— Послушай, Платон, — говорил Андрей. — Ты должен что-нибудь сделать, чтобы дети не услышали взрыва.

— О чем ты говоришь? — спросил папа.

— А разве ты не знаешь? Я вот-вот взорвусь, и взрыв будет оглушительным.

Папе удалось успокоить его и вывести из комнаты, пришла мама и дала Андрею валерьяновых капель. С мамой он был покорным, как ягненок. На следующий день она вызвала врача, который сказал, что беднягу небезопасно держать дома. Мама не беспокоилась за себя, но тревожилась за нас. Несмотря на это, она отказалась отослать Андрея в лечебницу. С тех пор ему становилось все хуже и хуже. Мрачный и молчаливый, он бродил по квартире и явно страдал от галлюцинаций. Вдруг взгляд его становился сосредоточенным, и он внезапно бросался вперед, хлопая ладонями, словно убивал мух.

— Одним меньше, — говорил он с мрачным удовлетворением.

Нам Андрей объяснил, что охотится на маленьких чертенят. Однажды ночью в доме поднялся невообразимый переполох — в припадке безумия Андрей попытался вырвать себе язык. Отец едва удержал его. Выбора не осталось. Мама среди ночи побежала за помощью в психиатрическую больницу Святого Николая. Пришел врач с двумя санитарями, поставил диагноз «белая горячка» и сказал, что пациента необходимо поместить в больницу. Бедняга отчаянно защищался, и санитары не могли справиться с ним. Маме пришлось взять на себя печальную обязанность убедить его последовать за врачом. По ее просьбе Андрей покорно оделся, но настаивал, чтобы мама пошла с ним. Она, убитая горем, согласилась. Потом мама рассказывала, что по дороге он притих; казалось, наступило просветление, по щекам его покатались крупные слезы. Его сопротивление было сломлено. Больше он уже не покидал больницы и в скором времени умер. Мама не могла ни думать, ни говорить об этом без слез.

Однажды утром Дуняша пришла будить меня, как обычно, в семь часов. Она осторожно потрясла меня за плечо, наклонилась и сказала:

— Ночью скончался государь. Да пребудет его душа в мире.

На меня произвели огромное впечатление черные драпировки, украсившие дома, и траурные арки, возведенные на пути похоронной процессии; под влиянием этого я попыталась сочинить погребальную оду из семи строф, но дальше двух не продвинулась. Некоторое время я писала стихи. Все свои сочинения, написанные на разрозненных листах бумаги, я подписывала полным именем, свертывала трубочкой и прятала за печь в нашей комнате,

После весенних экзаменов по танцу я была принята пансионеркой в училище. Пока еще я не думала о предстоящей разлуке с семьей. Ведь она произойдет только осенью, а впереди предстояло целое лето в Логе, которое я с нетерпением ожидала. К тому же меня чрезвычайно привлекала мысль о красивом голубом платье, которое я скоро надену.

## Глава 7

Я становлюсь пансионеркой. — Этикет. — «Безумная Анна». — Дисциплина в училище. — Первый контакт с театром. — Забытая речь

Я припрятала свои сокровища и не без грусти принялась просматривать любимые книги, прежде чем покинуть дом и отправиться в училище, где на этот раз мне предстояло остаться. Но все же в моем настроении доминировала радость от предвкушения встречи с новой жизнью. Долгие проводы взволновали меня, и я даже немного всплакнула. Мама утешила меня, пообещав навестить в приемный день. Но больше всех горевала бедная Дуняша, именно она повезла меня в школу вечером в последнее воскресенье августа. В омнибусе она не проронила ни слова, но всю дорогу громко сморкалась и украдкой вытирала слезы. Я испытывала неловкость за нее, хотя никто не обращал на нас внимания. На лестничной площадке она поцеловала меня на прощание, оросив мои щеки слезами, и три раза перекрестила, бормоча обрывки молитв и взывая к Деве Марии и Николаю Чудотворцу. Прежде чем зайти в дверь, ведущую в классы, я обернулась и увидела, что она все еще стоит и крестится под шалью. Одна из прислужниц рассказала мне потом, что после того, как я скрылась из вида, Дуняша окончательно потеряла самообладание и разрыдалась. Служанка дала ей воды и попыталась утешить. Я испытывала острое раскаяние и сожалела, что не попрощалась с ней как следует.

В большом зале уже собралось много девочек, и классная дама отмечала их имена. Рядом с ней стояла Варвара Ивановна, в присутствии которой я всегда робела. Я сделала реверанс.

— Боже, — сказала она. — К чему все эти оборки? Вы же не на званый вечер явились. — И она обратилась к воспитательнице: — Ольга Андреевна, проследите за тем, чтобы Челку зачесали назад. Ваша мать, дорогуша, очевидно, любит вас наряжать, но нам не нужны эти причудливые прически.

Моя голубая шляпа, завязанная под подбородком, походила на хорошенькую кукольную шляпку и была предметом моей особой гордости. Мама заплатила за нее кругленькую сумму — не могла устоять перед соблазном, как сама сказала.

Варвара Ивановна удалилась в свой кабинет, а нас повели переодеваться. За весь год, пока была приходящей ученицей, я ни разу не видела жилых комнат пансионерок — только классы и танцевальные залы. Комната, где одевались младшие ученицы, называлась умывальной из-за огромной медной лохани, стоявшей на возвышении посередине, словно котел на гигантском блюде. Утром и вечером мы собирались вокруг и умывались под краном с холодной водой.

Кастелянша выдала мне платье из голубой саржи старомодного покроя, с облегающим лифом и глубоким вырезом и юбкой в сборку, доходящей до щиколотки. Белая пелеринка из накрахмаленного батиста прикалывалась на спине и завязывалась на груди. Черный передник из шерсти аль-паки, белые чулки и черные легкие туфли дополняли наш костюм. По воскресеньям мы надевали белый передник в складку. Я быстро запомнила вирши, которые все мы твердили, перебирая складки передника, словно четки:

То ли быть мне знатной леди?

То ли с тощим кошельком?

То ли быть за генералом?

То ль за бедным моряком?

Длинное перечисление всех возможных кандидатов в мужья заканчивалось фразой: «Или жить всю жизнь девицей в одиночестве пустом?»

В тот первый вечер я совершила проступок, вызванный незнанием обычаев училища. Переодевшись, я принялась бесцельно бродить из комнаты в комнату. Наш этаж был разделен на две части — классы и жилые помещения, называемые «другая сторона». Танцевальные залы тоже относились к «другой стороне». Это разделение носило чисто условный характер, так как комнаты располагались анфиладой и двери между ними оставались открытыми и закрывались только на время уроков. Нам строго запрещалось переходить с «другой стороны» в классы и обратно, не испросив на это позволения. Параллельно танцевальным залам располагались музыкальный зал и круглая комната, выходившая окнами на центральный двор, служившая библиотекой. Здесь в окнах было вставлено простое прозрачное стекло, и комнаты казались меньше и уютнее. В этот вечер я бродила по танцевальным залам, но эти огромные пустые залы вызвали у меня тоску по дому, и я направилась в круглую комнату, где нашла Ольгу Андреевну, расставлявшую книги по полкам. Я попросила ее дать мне что-нибудь почитать. С первых же дней я почувствовала к ней дружеское расположение — она была самая человечная из всех воспитательниц, и мы никогда не называли ее «жабой», как всех прочих. По ее совету я выбрала книгу мадам де Сегюр «L'Histoire d'un Ape» («Записки осла»). Она погладила меня по волосам и заметила, что я серьезная девочка и люблю читать. Предвкушая наслаждение почитать немного перед ужином, я с книгой отправилась в столовую. Это была длинная и довольно узкая комната. Столы уже были накрыты к ужину. Одна из старших воспитанниц заваривала чай у самовара. В дальнем конце комнаты, между печкой и буфетом с иконами, стоял небольшой стол, покрытый черной клеенкой, на котором не было посуды. Вокруг него сидело несколько девушек, некоторые из них читали, другие шили при ярком свете лампы. Здесь было уютно и тепло, а на скамейке оставалось свободное место — так что я подошла и села. В ответ на мой безобидный поступок последовал взрыв. На меня словно набросились потревоженные осы.

— Что за наглость!.. В своем ли она уме?.. Вы что, слабоумная?.. Позвольте мне потрогать ваш лоб... Она, должно быть, бредит.

— Это вы ко мне обращаетесь? — спросила я, понимая, что больше обращаться было не к кому.

— К вам, несчастная, — сказала девушка по имени Оленька. — Как вы посмели навязывать нам свое общество и садиться за наш стол?

Я удалилась, слабо протестуя, — они не имели права называть меня несчастной. Колокольчик призвал нас на ужин. Проход в столовую напоминал торжественную церемонию. Мы строились в колонну по двое в соседней комнате, и при входе в столовую воспитательница считала нас, словно стадо овец. Подобный подсчет производился перед каждым посещением столовой. Этот обычай сначала казался мне нелепым, только значительно позже узнала я причину его возникновения. История превратилась в легенду, которую взволнованным шепотом передавали друг другу. Я услышала ее, когда стала значительно старше, и правдивость ее подтвердила горничная Ефимия, или Фимушка, как мы ее называли. Переходя из поколения в поколение, эта история, по-видимому, оказалась сильно приукрашенной и обросла множеством деталей, но в главном оставалась правдивой. Много лет назад девушка, которую прозвали «безумной Анной», отличавшаяся необычайной красотой и безрассудным нравом, бежала из училища с офицером-конногвардейцем, с которым познакомилась дома во время каникул. На внутренней стенке своего шкафа Анна записывала день за днем историю своего романа. Она описала, как молодой офицер ездил взад и вперед по Театральной улице на паре гнедых, а она стояла у окна дортуара и подавала ему знаки. Это всегда происходило после полудня, когда остальные ученицы занимались в классах. Анна, будучи пепиньеркой (Пепиньерка — институтка, оставленная по окончании курса при институте для педагогической практики.), не посещала занятий и имела разрешение ходить на «другую

сторону» для занятий музыкой. Те, кто читал ее историю, утверждали, будто она была захватывающей, и более того — то тут, то там встречались пропуски, дававшие волю воображению читательниц. Летопись романа обнаружили много времени спустя после ее бегства, когда ремонтировали шкафы. С помощью одной из прислужниц, после этого уволенной, Анна, переодевшись горничной и накинув на голову шаль, выскользнула через кладовую на черную лестницу, а оттуда на пустынную улицу. После этого события воспитанниц старше пятнадцати лет не отпускали домой на каникулы, разве что на три дня на Рождество и на Пасху. Когда я училась, во все окна, выходявшие на улицы, были вставлены матовые стекла.

С первого вечера я всегда ходила в паре с Лидией Кякшт, мы сразу же подружились. По неписаному закону училища дружить можно было только с общепризнанной подругой. Заключению дружбы предшествовала небольшая формальность.

— Хочешь быть моей подругой и поверять мне все свои секреты? — спрашивала одна, и другая давала обещание.

Пропев после ужина молитвы, все мы теперь уже беспорядочной толпой отправлялись по коридору в дортуар. Иногда Седова просила меня лечь в постель поскорее, обещая прийти посидеть на моей кровати. У каждой старшей воспитанницы была своя избранница из младших. В знак расположения она приходила по вечерам посидеть несколько минут на постели своей протеже; в ответ покровительница становилась «обожаемой». Каждая старшая воспитанница должна была по вечерам заниматься с группой младших, среди которых и выбиралась фаворитка. Мы все спали в одном дортуаре, напоминавшем огромную больничную палату, где стояло пятьдесят кроватей, хотя поместиться могло и больше. В одном конце спали пятнадцать старших воспитанниц, в противоположном — воспитательница, ее кровать отделялась ширмой. Над каждой кроватью висел номер занимавшей ее воспитанницы. В мою первую ночь пребывания в училище Варвара Ивановна посетила дортуар. В тусклом голубоватом свете ночника ее высокая фигура передвигалась взад и вперед по проходу между кроватей. Я еще не заснула и наблюдала за ней из-под полузакрытых век. Ее ритмически покачивающаяся походка, на удивление легкая для ее фигуры, казалась особенно величественной по контрасту с идущей рядом вперевалку по-матерински хлопотливой Ольгой Андреевной. Она остановилась рядом с моей кроватью, и я услышала ее потрясенный шепот: «Какая странная поза! Как будто ее в гроб положили». Я спала на спине со скрещенными на груди руками в надежде, что такая святая поза уберезет от дурных снов. Но, несмотря на это, мне все же приснился ужасный сон. Мне приснилось, будто наступила ночь и я стою одна в нашей туалетной комнате. Гулкий звук шагов по каменному полу у меня за спиной заставил меня повернуться и выйти в коридор. Кто-то только что скрылся за углом — я мельком увидела развевающийся край черного плаща. Я последовала за звуком шагов, и он повел меня через огромные незнакомые комнаты. Порой я видела спину мужчины, быстро идущего впереди, его высокие сапоги и треуголку. Внезапно фигура пропала, а я оказалась перед дверью, ведущей через крытый переход в задний флигель, где располагается большой репетиционный зал. Ведущая туда дверь всегда была закрыта. Я попыталась открыть ее — она подалась, и я снова оказалась в туалетной, удивляясь, как такое могло произойти. У двери, повернувшись ко мне спиной, стоял человек в черном. Я увидела, что его волосы завязаны бантом. Я подумала, что мне, возможно, удастся прокрасться незамеченной в дортуар, но человек обернулся, и я увидела оскал скелета. Я знала, что должна первой заговорить с призраком, это дает человеку власть над ним, но была словно парализована — ни слова не слетало с губ, несмотря на отчаянные усилия. Призрак заговорил первым: — Я один из похороненных здесь.

— Чего ты хочешь от меня? — удалось выдать мне, и тут я проснулась — Лидия трясла меня и говорила:

— Не кричи, ты напугала меня.

На следующее утро, когда Фимушка причесывала меня гребнем, я чуть дыша пересказала ей свой страшный сон: стремительный бег по коридорам, соболя мантия, скелет и все прочее. Фимушка объяснила, что мой сон — к перемене погоды.

Всех воспитанниц моложе пятнадцати лет причесывали горничные, только старшим доверяли делать это самостоятельно. Каждое утро, умывшись холодной водой, мы выстраивались в очередь у окна дортуара, где эту работу выполняли четыре горничные, каждая из них причесывала своих «клиенток». Здесь мы вели дружеские беседы и с удовольствием задерживались бы подольше, если бы не множество дел, которые нам предстояло сделать до завтрака. Мы должны были убрать постель и одеться за десять минут до колокольчика, чтобы успеть пройти осмотр. Воспитательница сидела перед дверью в столовую, а мы подходили одна за другой, делали реверанс и медленно поворачивались кругом. Младшие сразу надевали костюмы для танцев и закутывались в толстые голубые платки с длинной бахромой. У меня вошло в привычку заплетать ее в бесчисленные косички, заканчивающиеся узлом. Через несколько дней вся бахрома оказалась заплетенной. Окончание моей работы совпало с дежурством Елены Андреевны. Она была очень доброй и не так строго соблюдала условности, как другие воспитательницы. Она обратила внимание на необычный вид моего платка, когда я подошла к ней на утренний осмотр, и спросила:

— Что за странные украшения? Я объяснила, что люблю перебирать что-нибудь пальцами.

— Заплетай тогда свои большие пальцы вместо того, чтобы портить платок.

Утро посвящалось урокам танца и музыки. После обеда нас выводили на прогулку, продолжительность которой зависела от того, сколько времени мы одевались. В целом на прогулку уходило пятнадцать—двадцать минут — мы ходили вокруг маленького садика во дворе. Наши зимние одеяния были чрезвычайно массивными: черные салопы, подбитые рыжей лисой, мы называли «пингвинами» из-за коротких рукавов, вшитых в районе талии, они собирались фалдами под круглым меховым воротником. Вместе с черными шелковыми капорами а-ля Пердита Робинсон, они делали нас похожими на сахарные головы. Ноги согревали высокие ботинки с верхом из полубархата. Фасон наших одежд принадлежал прошлому веку, но вполне соответствовал Духу нашего учебного заведения, изолированного от жизни, протекающей вне его стен. Нас, намеревавшихся посвятить себя театру, берегли от контактов с окружающей действительностью, словно от заразы. Невзирая на то что нам в скором времени предстояло вступить в жизнь, полную соблазнов, воспитывали нас словно монастырских послушниц. Теперь, оглядываясь назад на годы ученичества, я прихожу к заключению, что наше воспитание, несмотря на всю свою кажущуюся абсурдность, имело под собой здравый смысл — мы были оторваны от реального мира, но в то же время нас избавили от низменных сторон повседневной жизни, а тягостная атмосфера дисциплины стала хорошей школой, так как помогала сконцентрироваться на одной цели.

Дважды в неделю родителям позволяли навещать нас, родные братья тоже допускались, но ни один кузен не переступил порога приемной. Двери были открыты, и девочки, родители которых не смогли прийти, бродили по соседней комнате, бросая на счастливиц тоскливые взгляды. Принесенные нам сладости воспитательница тотчас же прятала под замок и выдавала нам каждый день понемногу после еды. Пирожные, имбирные пряники и все, что считалось слишком питательным, было строжайше запрещено под предлогом того, что учащихся и без того хорошо кормят в школе. Тем не менее некоторые родители приносили тайком домашние пирожки, которые поедались украдкой прямо во время свидания. Воспитанница, дежурившая у двери и вызывавшая девочек к посетителям, выполняла роль часового и знаками предупреждала правонарушительниц о приближении воспитательницы.

В первые минуты встречи с мамой илевой меня охватывала невыразимая радость, но расспросив о доме, о Дуняше, о белой кошке Мурке и рассказав свои новости, я начинала

тяготиться тем, что приходилось неподвижно сидеть в ряд с другими у стены, и, когда они вставали, чтобы уйти, я ощущала какое-то смешанное чувство печали и облегчения. После свиданий я обычно усаживалась с книгой в музыкальном салоне, который почти всегда стоял пустым, поскольку считалось, что его посещают привидения, но читать не могла. В мыслях своих я была тогда значительно ближе к дому, чем в часы встреч с родными. Я перебирала в памяти все мелочи, которые мне рассказали, и выстраивала картину привычного для меня мира.

Если не считать острой тоски по дому, временами охватывавшей меня, я не считала режим училища слишком тягостным. Ворчать по поводу монастырских порядков считалось среди учениц хорошим тоном. Воспитанницы выпускного класса составляли календарь, заканчивавшийся 25 мая, днем окончания училища. Они ежедневно сверялись с ним и по мере того, как он уменьшался, с удовлетворением сообщали, сколько еще дней им осталось провести в училище. Количество восклицательных знаков по мере приближения к знаменательной дате возрастало до невероятного числа. Некоторые воспитанницы делали свой календарь в виде крошечного свитка, пропускали через него ленту и прикалывали к пелерине, но показывали его только в отсутствие воспитательниц, так как ведение таких календарей рассматривалось как тяжкое оскорбление и даже вызов училищу. Наше обучение было бесплатным, и желание поскорее покинуть стены училища считалось начальством черной неблагодарностью. Годы спустя я тоже испытала это лихорадочное стремление к свободе. А пока повседневная жизнь училища имела для меня свою ценность. И без того лишённая монотонности, она приобретала особый романтический оттенок, когда в наше затворничество проникал какой-то проблеск, звук или примета внешнего мира. Таким образом, любое событие, даже самое прозаическое, как, например, посещение бани по пятницам, служило достаточным поводом для радости. Мы конечно же не покидали территории училища, но нам приходилось пройти через несколько дворов, не похожих на наш, со скучным маленьким садиком, так что поход в баню превращался в настоящее приключение. Из второго двора можно было рассмотреть силуэты в окнах большого репетиционного зала. Пройдя под арку, мы оказывались в третьем дворе и поворачивали в небольшой внутренний дворик, где были сложены груды дров. Баня с ее крошечными окошечками выглядела совсем по-деревенски и совершенно не гармонировала с великолепием основных зданий. Темными зимними вечерами слабый свет, падавший из этих окошек, навевал на меня мысли о сказочной лесной избушке. Внутри было тепло и уютно. Из раздевалки мы проходили в полную парную, где служанки в длинных полотняных рубашках добросовестно мыли и растирали нас на деревянных скамьях, стоявших вдоль стен. Взобравшись на полку, можно было как следует попариться. На раскаленные докрасна камни, сложенные в большой печи, лили воду, и облака пара поднимались к потолку, повисая в воздухе.

Мы возвращались в училище, и нам позволяли до ужина ходить с распущенными волосами, затем должны были заплести их в косы, независимо от того, высохли они или нет.

Во втором классе у нас был тот же преподаватель танцев. Хотя поначалу уроки танцев казались мне слишком сухими, я была вознаграждена тем, что меня часто выбирали для участия в спектаклях.

Любимым балетом у нас, младшеклассников, была «Пахита», а пределом наших мечтаний — станцевать в мазурке в последнем акте. Белый польский кунтуш, расшитый золотым галуном, юбка из голубой тафты и белые хлопчатобумажные перчатки казались нам верхом элегантности. В действительности наши костюмы представляли собой точную копию костюма Фанни Эльслер в «Катарине». Мазурку исполняли шестнадцать пар детей, она была хорошо отрепетирована и исполнялась торжественно и четко. Танец всегда встречался громкими криками «браво» и бисировался.

Помимо того что нас освобождали от дневных уроков, главное очарование репетиций состояло в том, что нас привозили в театр рано, мы усаживались в ложу и наблюдали за

репетицией до тех пор, пока не наступала наша очередь выходить на сцену. Репетируя в Мариинском, примы-балерины не щадили себя, хотя во время репетиций в училище исполняли свои роли sotto voce (вполголоса), как это довольно странно называлось. Темный, пустой театр, коричневые полотняные чехлы на креслах, белые на люстрах — все это не могло нарушить волнующей атмосферы подлинного представления. Очарование было полным — красота линий танцовщиц воспринималась даже лучше, чем при полном блеске вечернего представления, когда в какой-то мере отвлекают костюмы и декорации.

Это раннее соприкосновение с театром породило во мне склонность к экзальтации, хоть и приглушенной повседневной рутинной, но не подавленной полностью — своего рода подводное течение романтизма и честолюбия. Когда какая-то роль производила на меня особенно сильное впечатление, я тайком отработывала па перед большим зеркалом в туалетной комнате, в результате запомнила многие роли задолго до того, как мне пришлось исполнять их.

Однажды, когда я упражнялась в игре на рояле в музыкальном салоне, за мной пришла высокая горничная и позвала:

— Идем, Тамарушка, — так ласково она меня называла. — Идем скорее, Варвара Ивановна хочет тебя видеть.

Испытывая тревогу, отправилась я к инспектрисе, моей первой мыслью было то, что мецье Тернизьен пожаловался на мою тетрадь переводов с французского, покрытую множеством чернильных пятен. Варвара Ивановна стояла на своем обычном месте, беседуя с каким-то мужчиной, который, как я узнала впоследствии, был помощником режиссера драматического театра. Повернувшись ко мне, она доброжелательно улыбнулась, и я успокоилась.

— Вот маленькая Карсавина, — сказала Варвара Ивановна. — Думаю, она подойдет. Сегодня вечером ты должна будешь преподнести букет госпоже Жулевой. Мария Гавриловна Савина научит, что следует сказать. Помни, людям нужно смотреть прямо в лицо, как ты сейчас смотришь на меня.

Этим вечером я надела белый воскресный передник, вплела в косу новую ленту, и воспитательница отвела меня в Александрийский театр, на другую сторону улицы. Там шел прощальный бенефис Жулевой. Прежде чем посвятить себя драме, она была воспитанницей балетного училища. Красные ковровые дорожки вели в ее артистическую уборную. Мне дали большой букет цветов и велели ждать ее выхода. Великая Савина все еще царил на драматической сцене, хоть зенит ее блестящей карьеры уже миновал. Я видела ее впервые и приблизилась к ней с чувством благоговейного страха. Она приняла меня под опеку; а когда я попросила ее научить меня тому, что должна буду сказать, она, смеясь, ответила: «О, да она ничего не даст вам сказать. Будет слишком взволнована». Я поняла, что она имела в виду, когда началась церемония. Как только представительная фигура пожилой Жулевой появилась в дверях, Савина подтолкнула меня вперед.

— Милостивая государыня, дорогая Александра Семеновна... — начала я, как меня научили, — позвольте мне... — Но она прижала меня к груди, заглушив остаток моей речи своими крепкими объятиями.

— Душенька, моя красавица, — всхлипывала она. — Ты возвращаешь мне молодость. И под пафосом, свойственным старой драматической школе, ясно ощущалась искренность ее чувств. Отпустив (Жулева ошибочно названа Александрой Семеновной; ее звали Екатерина Николаевна) меня, Жулева обняла по очереди всех, стоявших вокруг, и удалилась в уборную.

— Видишь, не к чему было заучивать длинную речь, — сказала мне Савина. — Бог даст, она не заболеет от слез, пролитых при виде всех пришедших делегаций.

С этими словами Савина потрепала меня по волосам и спросила, люблю ли я шоколад. На следующий день я получила от нее шоколадные конфеты в великолепной коробке, обитой голубым шелком с розовыми пастушком и пастушкой, нарисованными на крышке.

А Жулева прислала мне свою фотографию с автографом. Обе эти реликвии мы хранили в нашей семье. Шелковую коробку, завернутую в старую наволочку, положили в мамин комод, чтобы хранить там до тех пор, пока я не закончу училище и буду хранить в ней перчатки. В особых случаях коробку демонстрировали друзьям а по выходным меня отпускали домой, я ощущала особое внимание со стороны близких. У отца я всегда была любимицей, но мать, редко баловавшая меня прежде, стала проявлять ко мне гораздо больше внимания. Она заказывала мои любимые блюда и часто сама отправлялась на кухню, чтобы приготовить к воскресенью сладкое. А оно было не частым гостем в нашем доме.

## Глава 8

Москва. — Денежные затруднения. — Ленъяни. — Уроки. — Павлова. — Увлечения. — Светский священник. — Призраки музыкального зала. — Царь

В мае 1896 года Москва готовилась к коронации нового царя. Несколько лучших танцовщиц из Петербурга должны были принять участие в гала-спектакле, в основу которого легло аллегорическое произведение. Двенадцать маленьких учениц были отобраны на роли купидонов, и я оказалась в числе счастливиц. Родители собирались захватить за мной в Москву по дороге в Нижний Новгород, куда отец был приглашен балетмейстером на один сезон. В Москве нас разместили в театральном училище, где две классные комнаты превратили в дортуары. Порядки в московской школе были более либеральными, чем у нас. Ученики там могли свободно ходить по всему училищу. Этот дух свободы оказался весьма заразительным; новая обстановка вселила в нас жажду приключений, и наша небольшая команда настолько расхрабрилась, что попросила отвести нас в знаменитый цирк, дававший в те дни представления. Эта просьба абсолютно противоречила самой идее нашего «монастырского» воспитания. Приехавшая с нами суровая воспитательница поддерживала строжайшую дисциплину, хотя в душе была женщиной доброй. Она дала нам ответ, достойный дельфийского оракула: «Я могу сказать вам только одно: сегодня вы туда не пойдете». Мы восприняли ее слова как полуобещание, но через несколько дней услышали тот же ответ и поняли, что это «сегодня» будет повторяться каждый день.

Впервые увидев Москву, я не могла поверить, что это и есть древняя столица и сердце России. Привыкшая к строгой и величавой красоте Петербурга, я не могла принять неприятный и даже несколько нелепый облик Москвы с ее безумной беспорядочностью, с извилистыми улицами, неожиданно обрывающимися тупиком. Если же смотреть с Воробьевых гор, то золотые купола бесчисленных церквей, зубчатые стены Кремля и вообще вся раскинувшаяся снизу обширная панорама производят неожиданно величественное впечатление. Но у меня тогда не возникло подобных чувств. Свои впечатления я так подытожила в одном из писем домой: «Все улицы здесь кривые и узкие. Ни одна не может сравниться с Невским. Говорят, здесь есть церковь Николы на Курьих ножках, а маленькая улочка за училищем называется Кривоколенным переулком». На этом мое знакомство с Москвой и закончилось. Две оставшиеся недели я провела в карантине в полном одиночестве — я одна из всех заболела свинкой. Единственным средством связи с внешним миром служили маленькие записочки, которые Лидия время от времени тайком подсовывала мне под дверь. Когда я стала подниматься с постели, могла смотреть во двор. В центре его находился маленький садик, иногда я видела там гуляющих девочек и подавала им знаки. Слабое утешение! В больнице не было книг, и в первые дни я чувствовала себя ужасно несчастной из-за однообразия и монотонности долгих дней. К разочарованию, которое я испытала от того, что не смогла принять участие в коронационном представлении и увидеть празднично иллюминированный город и фейерверк в Кремле, добавилось мрачное удовольствие драматизировать свое положение,



воображая себя в заточении. В конце концов я довела себя до такого отчаяния, что самые простые вещи, как, например, обед, который мне приходилось съесть в одиночестве, вызывал острый приступ горечи, и я проливала горькие слезы, которые ручьями текли в тарелку.

Наконец в Москву приехали родители, и маме позволили навещать меня. Однажды она принесла мне новости об ужасной катастрофе, произошедшей на Ходынском поле на окраине Москвы. Там раздавали подарки — каждый пришедший получал эмалированную кружку с портретом императора, мешочек с конфетами, немного имбирных пряников и колбасы, все это было завязано в платок из набивной ткани. Отец и Лева с горничной Аннушкой, которую мама привезла с собой в Москву, тоже отправились туда, оставив Дуняшу присматривать за квартирой. К счастью, они задержались: улицы были переполнены людьми, стремившимися на Ходынку. В те годы Лева был ужасно озорным. Дойдя до этого момента своего повествования, мама не могла сдержать смеха, несмотря на весь трагизм истории. Они старались идти как можно быстрее, маневрируя среди толпы. Когда Лев видел какую-нибудь парочку, он с вежливым «извините» протискивался между ними, в образовавшуюся брешь проскакивал папа, а за ним Аннушка, получавшая в спину все тычки. Еще не дойдя до места, они встретили несколько носилок и рыдающих людей, идущих со стороны Ходынки. Из уст в уста передавался слух об ужасном несчастье. Глубокие ямы, вырытые по обеим сторонам поля, были покрыты досками, по которым проходили люди, направляясь к месту раздачи подарков. Сначала все шло хорошо, но когда толпа стала гуще, доски в нескольких местах проломались и люди провалились в ямы. Под напором идущих сзади на упавших сверху обрушивались новые тела, погребая их под своей тяжестью. Мама сказала, что по дороге ко мне она встретила несколько телег, нагруженных телами. По слухам, погибли десятки тысяч.

Театр в Нижнем Новгороде, в котором работал отец, примыкал к территории ярмарки. Мама часто ходила туда, иногда брала и нас, особенно если давали какую-нибудь мелодичную старую оперетту. После оперетты показывали короткий балет, поставленный отцом. Несмотря на прекрасный состав исполнителей, дела театра шли плохо, жалованье артистам выплачивали нерегулярно и неполностью. Такая ситуация очень беспокоила моих родителей. Если антрепренер не рассчитается полностью, как мы вернемся в Петербург? Чтобы сократить расходы, мы переехали в маленькую квартирку на задворках того же дома. Лето стояло жаркое, и мы задыхались в трех своих крошечных комнатухах. Чтобы сэкономить место, мне каждый вечер стелили постель на узком диване в столовой. Однажды днем было слишком жарко, чтобы выходить на улицу, и все мы остались дома. Мама, как всегда деятельная, била мух старой домашней туфлей, распевая прекрасным контральто отрывки из цыганских романсов. Отец разбирал почту — перед ним лежало несколько нераспечатанных писем. Обычно он читал их вслух, но на этот раз сидел молча и о чем-то размышлял, это привлекло внимание матери. Увидев его изменившееся лицо, она с присущей ей интуицией тотчас же догадалась: что-то произошло. «Vous avez perdu votre place a L'ecole» (Вы потеряли свое место в училище), — сказала она, и отец протянул ей письмо.

Этим вечером, ложась спать, я слышала их разговор. Мама старалась успокоить отца, и некоторые ее слова явственно доносились до меня через тонкую перегородку.

— Не все еще потеряно, — убеждала она. — Тата очевидно станет очень хорошей танцовщицей, и это вознаградит нас за все причиненные тебе несправедливости.

Через несколько дней мама сказала мне:

— Знаешь, отец потерял место в училище. Теперь нам придется экономить каждую копейку. Боюсь, что больше не смогу приносить сладостей, когда буду навещать тебя. Сезон закончился полным провалом. Не было никакой надежды получить жалованье полностью. Актеры стали шутливо поговаривать на освященном веками жаргоне о том, что придется как-нибудь добрести до дому по шпалам. Я слышала, как мама упомянула какую-то Степановну, которая с необыкновенной легкостью может справиться с любыми

затруднениями. Написав этой таинственной особе, мама умудрилась получить, хотя и за большие проценты, деньги на дорогу в Петербург.

В конце августа я вернулась в училище, чтобы приступить к третьему году обучения. Здесь произошли некоторые изменения. До сих пор танцевальная традиция, унаследованная от французских мастеров, оставалась единственной признанной формой обучения. Теперь на ежегодном общем собрании преподавателей было решено создать параллельный класс для занятий по итальянской системе. Эта идея, по всей вероятности, была внушена изумительной виртуозностью Пьерины Леньяни. В те дни существовал обычай ангажировать на часть сезона какую-нибудь иностранную звезду. Итальянская балерина в первый же свой приезд покорила все сердца и в течение десяти лет занимала положение примы-балерины ассюлюта. Некрасивая, маленького роста, Леньяни, однако, обладала очарованием и грацией. Эти качества наряду с блестящей техникой заставили умолкнуть всех противников итальянской школы. Мне кажется, наши балерины не испытывали к ней чувства зависти. Относились традиционно вежливо, как ко всем иностранным звездам, гастролирующим в России, хотя порой раздавались осторожные замечания, что и наши балерины ничуть не хуже.

Одним из ее *tours de force* (Показ ловкости, силы) были 32 фуэте. Впоследствии этим достижением овладели и другие танцовщицы, но тогда их исполняла одна только Леньяни. 32 фуэте в какой-то мере напоминают акробатический трюк. Их исполнение немного отдавало цирком, им предшествовала нарочитая приостановка действия — Леньяни выходила на середину сцены и демонстративно готовилась. Дирижер ждал, подняв палочку. Следовавший затем каскад головокружительных пируэтов, изумительных по точности и сверкающих, словно грани бриллианта, приводил публику в состояние восторга. С академической точки зрения такая демонстрация явной акробатики противоречила чистоте стиля. Но искусство Леньяни своей безграничной смелостью несло в себе нечто героическое. Это заставило критиков замолчать. Все девочки, большие и маленькие, постоянно пытались проделать 32 фуэте. По вечерам «на другой стороне» повсюду, где только стояли зеркала, можно было натолкнуться на фигуры, напоминающие кружащихся дервишей. Мы вертелись в танцевальных залах, вертелись в гардеробной, вертелись в дортуаре, теряя равновесие после нескольких туров и начиная все сначала.

Маэстро Чекетти в ту пору был уже не слишком молод, но все еще время от времени танцевал. Когда в политике училища стали происходить перемены, ему предложили руководить одним из старших классов. Другой старший класс поручили Гердту, и он, к большой радости отца, избрал меня в свои будущие ученицы. А пока я была слишком маленькая и училась в среднем классе.

Я работала с фанатичным упорством и в классе и по вечерам, так что даже получила от девочек, предпочитающих отдых вечерним занятиям, прозвище «истязаящий себя факир». Но мне хватало времени по вечерам и на напряженную работу, и на развлечения, а склонности у меня были в равной степени и к тому и к другому. После обеда и до ужина мы были предоставлены сами себе, от нас требовалось только не слишком шуметь. Но мы вполне могли позволить себе и неистовые забавы, не опасаясь быть пойманными. Наши жилые помещения были настолько просторными, что в конце длинной анфилады едва виднелся стол воспитательницы. К тому времени, как она дойдет до нас, она найдет скромных молодых девиц, степенно прогуливающих парами или по трое по комнате, волосы их аккуратно приглажены, а лица кроткие и смиренные. В стратегически важном месте ставился часовой, так что, почти не рискуя быть обнаруженным, можно было, если придет такая фантазия, проникнуть в буфетную к прислуге, где тебя угостят жареной картошкой или Фимушка растолкует твои сны. Порой ей было необходимо справиться в соннике, сильно потрепанном, с загнутыми краями страниц томике.

Музыка, чтение, вышивание или чаще всего изготовление роз из гофрированной бумаги для украшения пасхальных куличей. Розы больше, чем настоящие, лучше, чем настоящие.

Могут ли у настоящих роз быть такие вибрирующие золотистые усики или столь великолепные лакированные листья?

Подобные развлечения вносили приятное разнообразие в школьные вечера.

Ограниченные всего лишь двумя часами, наши вечера каким-то таинственным образом (и это секрет, известный только юности), казалось, растягивались, словно само время замирало, давая нам возможность подольше веселиться.

В этом году училище выпускало трех многообещающих учениц, среди них и Анну Павлову. Она была настолько хрупкой, что казалась намного слабее двух других. Не обладая достаточной проницательностью, мы восхищались только виртуозностью танца, нашим идеалом была крепкая коренастая фигура Леньяни. И сама Павлова тогда вряд ли осознавала, что в ее хрупкости и некоторой ограниченности технических возможностей как раз и таилась огромная сила ее неповторимой и чарующей индивидуальности. Романтизм в ту пору вышел из моды. Даже сама фигура танцовщиц по сравнению с силуэтами тех, кто танцевал полвека назад, явно демонстрировала изменение вкусов публики, охладевшей к воздушным видениям и восхищавшейся теперь более земными прелестями.

В погоне за современным сценическим идеалом порой упускают из виду, что целям красоты в хореографии не всегда служит совершенная физическая гармония, это может показаться парадоксом, но тем не менее это так — некоторые наиболее изысканные позы Тальони возникли из-за того, что ее руки были непропорционально длинными.

Худоба считалась врагом красоты, и все сходились на мнении, что Анна Павлова нуждалась в усиленном питании. Она, очевидно, придерживалась такого же мнения, так как добросовестно глотала рыбий жир, который наш врач считал панацеей от всех зол, мы же все его ненавидели. Подобно всем нам, она старалась подражать нашему идеалу виртуозности, Леньяни. К счастью для Павловой, Гердт сумел распознать сущность ее таланта. Ему было больно видеть, как его хрупкая ученица пытается выполнить то, что легко давалось мускулистой итальянской танцовщице. Он посоветовал ей не гнаться за эффектами, подвергающими опасности ее хрупкий организм.

Во время дебюта Павлова очень переживала из-за своих «недостатков». Но ей было суждено вернуть на нашу сцену забытое очарование романтических балетов эпохи Тальони.

Однажды за ужином Анна Людвиговна, одна из воспитательниц, любившая на все напускать таинственность, сообщила, что через неделю нас ждет сюрприз. Мы строили различные догадки на этот счет, и в числе прочего предполагали, что родился наследник престола и нам дадут трехдневные каникулы. Как оказалось, сюрприз не таил в себе ничего удивительного — всего лишь лекция о системе записи танца, которую должен был прочитать нам Горский. Мы сочли ее небольшим развлечением от рутины повседневных занятий, еще не зная о том, что этот предмет включают в программу. Поход в большой репетиционный зал на лекцию дал мне возможность рассмотреть старые гравюры, в огромном количестве висевшие на стенах. Перед портретом Истоминой я застыла в восхищении. Благодаря строкам Пушкина, которые я знала наизусть:

И вдруг прыжок, и вдруг летит,  
Летит, как пух от уст Эола... —

я уже давно лелеяла в сердце своем романтический образ «блистательной, полувоздушной» Истоминой. Гладкая красивая головка в венке из роз и кувшинок, мечтательный взгляд, полуленивая, полупренебрежительная улыбка словно облекли в плоть и кровь доселе неуловимый для меня образ.

Лекция была посвящена историческому обзору ранних попыток создать систему записи движений человеческого тела. Сообщение о том, что знаки для записи танца изобрел французский аббат Табуро, в немалой степени меня озадачило. Согласно нашим

убеждениям, столь светские занятия были несовместимы с церковным саном; и у меня в мыслях невольно всплыл образ нашего батюшки (какое непочтительное сравнение!) в его длинной рясе, пытающегося сочинить трактат о балете.

Современную систему разработал ныне покойный Степанов, Горский продолжил и завершил начатый им труд. Система Степанова была достаточно подробной, но замысловатой и сложной. Чтобы записать какое-то движение, его следовало сначала проанализировать анатомически и передать значками, напоминающими ноты, точное действие всех суставов, участвующих в данном движении. Ученики не любили этих уроков и называли их абракадаброй и кабалистикой. Но это не помешало мне заинтересоваться этим предметом, и я часто тайком готовилась к нему на уроках рисования. У меня не было никаких способностей к рисованию, и преподаватель практически отказался от попыток чему-либо меня научить. В то время как мои соученицы достигли таких высот, что срисовывали гипсовую голову Антиноя, я все еще корпела над листом аканта. Мои художественные устремления нашли выход на уроках географии при раскрашивании схематической карты мира. Я выбрала самые яркие карандаши и раскрашивала карту с неподдельным пылом. Ярко-синие реки (совсем как на цветной открытке с Женевским озером), изумрудно-зеленые долины, красные, как смола драконова дерева, горные цепи, ярко-желтые плоскогорья сильно отличались от общепринятой расцветки. Нельзя сказать, что моя карта имела полный успех, когда я вручила ее нашему симпатичному, любившему пошутить географу, но она явно произвела сенсацию. Оценка была такова: «Яичница с луком. Ультрамодерн, но сколько стараний». Наследие прошлых веков еще не было полностью отвергнуто; в репертуаре сохранялись анакреонтические и мифологические балеты с аллегориями и неизбежным апофеозом богов, возникавших из люков в облаках пара. Младшие ученицы выступали главным образом в этих балетах, изображая свиту какого-то божества: купидонов, «смехов», зефиров. Поэтому считалось необходимым изучать мифологию. Учебников у нас не было, и мы занимались по записям, продиктованным нам учителем. В этих записях тщательно замалчивались грешки олимпийцев, если же упоминаний о них было не избежать, то излагались они в таких выражениях, что невольно вызывали у нас наивные вопросы. Самым важным считалось знать атрибуты всех божеств и героев, и мы заучивали их так, чтобы произносить без запинки.

Огромное любопытство и множество размышлений вызывала у нас личность будущего преподавателя истории. Пессимистки утверждали, будто он наверняка будет старым пугалом, ничуть не лучше прежнего преподавателя, недавно вышедшего в отставку. Эти мрачные предчувствия не подтвердились. С первого взгляда, как только инспектор представил нам нового историка, мы единодушно признали его «душкой». Весь класс воспылал любовью к истории и принялся старательно учить уроки. Мы часто обсуждали, кто же станет его любимицей, вплоть до того самого дня, когда он стал объяснять нам расовые черты различных национальностей. Терракотовые головы эскимосов, африканцев, монголов и европейцев — мужчин и женщин — были сняты с полки, где долго стояли, покрываясь пылью. От этих основных типов учитель перешел к обитателям Балканского полуострова. Рассказывая о сербах, он отметил, что они очень красивы, у них темные волосы и прекрасные глаза, и, окинув взглядом класс в поисках примера, произнес:

— Как у мадемуазель Карсавиной.

Это замечание закрепило за мной звание любимицы. Все споры прекратились, и с общего согласия новый учитель был предназначен мне. Пришлось играть отведенную мне роль, что я и делала с большим энтузиазмом. Никто не пытался со мной соперничать, и соученицы охотно предоставляли мне каждую возможность блеснуть. Они даже придумали остроумный способ улучшить вид моего «крысиного хвостика», который, к моему ужасному огорчению, был самым маленьким и тоненьким в классе. В те дни, когда у нас были уроки истории, черная лента, вдвое длиннее обычной, искусно вплеталась мне

в волосы, увеличивая толщину и длину косы, и кто-нибудь из подруг с особой тщательностью завязывал бант. У меня же часто требовали доказательств любви к новому учителю, одно из этих доказательств превращалось в настоящую пытку. От меня требовали: «Если любишь историка, выпей до дна этот графин воды». Я глотала стакан за стаканом тепловатую воду до тех пор, пока меня не начинало тошнить, но ни мои мольбы, ни уверения, что я заболела водянкой, не останавливали мучительниц, пока я не выпивала последнюю каплю. Другие девочки иногда тоже подвергались испытанию водой, чтобы доказать преданность объектам своего обожания. Но обычно мишенью для насмешек служила я. Ко мне приклеилось прозвище «умная дура», и я нахожу оправдание для подобного прозвища в некоторых странностях своего характера; во мне уживались склонность к абстрактному теоретизированию и отсутствие здравого смысла. Я была первой ученицей в классе и обычно кроме своего сочинения писала еще несколько вариантов для подруг, но в то же время отличалась абсолютной беспомощностью в решении житейских вопросов.

Нашего священника, отца Василия, можно было назвать «светским» священником, так как он любил хорошую компанию и игру в карты. И к своей внешности он относился чрезвычайно требовательно: его волосы и борода всегда тщательно подстрижены, ряса — в образцовом порядке, рука, которую мы целовали в церкви после благословения, была белой и нежной. Ему не были присущи черты фанатика или мученика, но за его «светской» внешностью таился утонченный ум, способный на отвлечённое возвышенное мышление, и благородная человечность. Лучшего религиозного наставника просто невозможно сыскать — он делал религиозные догмы живыми, привлекательными и целесообразными для нас, людей, которым предстояло жить земными интересами. Он иллюстрировал тексты Святого Писания примерами, взятыми из жизни, из нашего непосредственного окружения, примерами часто обыденными и забавными. Его беседа о преодолении искушения — настоящая жемчужина по своему пониманию душевного мира ребенка, и приведенный пример не мог не вызвать угрызения совести.

— Предположим, Аннушка, — он всегда обращался к нам по имени, — наступил канун праздника, и церковные колокола звонят, призывая истинных христиан на молитву; ты встала, надела шляпку и пальто, а мама окликнула тебя:

«Куда ты собралась, моя милая?» — «В церковь, мамочка». — «Почему бы тебе не сходить в церковь завтра утром, Аннушка? Церковь никуда не уйдет, а я только что сварила кофе, вот сливки и булочки». Если ты все же пойдешь в церковь, — заключил он, — значит, ты преодолела искушение.

Той зимой в Александрийском театре готовилась новая постановка «Сна в летнюю ночь», и мне дали роль одной из фей свиты Титании. Наконец моя страсть к игре была вознаграждена сверх всякой меры. Начиная с моих самых ранних попыток разыгрывать всевозможные воображаемые ситуации страсть к лицедейству уже никогда не покидала меня. Иногда по вечерам, когда у нас не было уроков, кое-кто из нас любил посидеть в музыкальном салоне. Эту комнату посещали привидения, и, хотя никому из нас ни разу не довелось увидеть там призрака, тем не менее ходили упорные слухи о таинственных шорохах и о костлявых руках, которые стучали снаружи в окна, сжимая и разжимая пальцы. Утверждали, будто одна воспитанница, несколько лет назад окончившая училище, войдя как-то вечером в эту комнату, увидела толстого бледного человека, сидевшего за роялем. После того как она три раза повторила: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!» — призрак исчез. Мы все взывали к царю Давиду, если нам грозило наказание. Отправляясь к Варваре Ивановне или же отвечая недостаточно хорошо выученный урок, мы мысленно твердили это заклинание. С незапамятных времен эта комната официально называлась «Риччи», по имени учителя пения. Согласно легенде, вышеупомянутый Риччи покончил жизнь самоубийством, и с тех пор его дух посещает этот зал. «Риччи» был идеальным местом для страшных историй, которые мы с упоением рассказывали друг другу. Особенно жуткой была «история пальца», от которой у нас

волосы вставляли дыбом. История носила столь драматический характер, что мы даже разыгрывали ее в лицах — одна из нас выходила и возвращалась в образе призрака невесты. Причем единственное, чем мы могли воспользоваться в качестве костюма, был голубой платок; мы закалывали его под подбородком, и он свисал сзади, напоминая фату. Призрак двигался медленно, словно с трудом передвигая ноги, в полном молчании, вытянув вперед руку, как слепой, ищущий дорогу. И вдруг с криком «Отдайте мой палец!» бросился к одной из притихших зрительниц, и тут все начинали кричать, охваченные неподдельным ужасом. Теперь мне кажется, какая мертвецу разница, сколько у него пальцев — одним больше, одним меньше, но мы никогда не подвергали легенду ни малейшей критике. Мы считали, что призрак имеет полное право требовать вернуть свой палец, отрубленный грабителями-святотатцами, чтобы завладеть драгоценным кольцом, которое они не могли снять. Мы разыгрывали в «Риччи» не только этот жуткий спектакль, в нашем репертуаре был и более легкомысленный сюжет. Мы придумали персонажей, которые всегда оставались неизменными: жена, ее мать и муж. Без заранее продуманного плана эта импровизированная комедия никогда не повторялась; каждый раз, как мы играли ее заново, какие-то новые эпизоды вырастали из этого вечного конфликта. Я играла роль мужа, находившегося под каблуком у жены, с которым всегда происходили какие-то неприятности. Эта унижительная роль заставляла меня по-настоящему испытывать горечь, и в перерывах между нашими представлениями я ломала себе голову над тем, как вознаградить оскорбленного мужа, но сама природа пьесы не позволяла сделать этого.

6 декабря, в день именин государя, все три императорских театра устраивали специальные утренние представления для всех школ. Огромные самовары кипели у входа на сцену. В эти дни театры выглядели необычно: масса детей и молодежи, ложи заполнены девочками в голубых, красных, розовых форменных платьях с белыми пелеринами. Партер предназначался для мальчиков, учащихся гимназий, кадетского и морского корпусов, лицейцев; на галерке — ученики общедоступных школ. Каждый ребенок получал в подарок коробку конфет с портретом царя, царицы или царевича на крышке. В антракте в нескольких фойе подавали чай и прохладительные напитки, причем все служащие были облачены в парадные красные ливреи с императорскими орлами. Особым угощением было прохладное ароматное миндальное молоко.

По возвращении в училище мы обменивались впечатлениями от увиденных спектаклей. Обычно нам предоставляли право самим выбрать, в какой театр пойти, но лишь немногие выражали желание пойти в Михайловский театр, хотя там выступала превосходная французская труппа. Если праздничный день совпадал с днями балетных спектаклей — средой или воскресеньем, — мы часто принимали в них участие. В один из таких дней нас прямо в костюмах пригласили в императорскую ложу, чтобы вручить нам конфеты. Императрица Александра Федоровна и вдовствующая императрица Мария Федоровна стояли в маленькой приемной перед царской ложей и вручали нам коробки конфет. Мы заходили по одной, делали реверанс и целовали руки обеих цариц. Рядом стоял царь. Он спросил:

— Кто из девочек танцевал золотую рыбку? Я вышла вперед и присела в глубоком реверансе.

— Как это было сделано, что кольцо Царь-девицы нашли у вас? — спросил он.

Иванушка, герой русской сказки, сюжет которой был положен в основу балета, ныряет на дно моря, чтобы достать кольцо, проглоченное золотой рыбкой. На мне была надета рыба голова из папье-маше, в ней проделано небольшое отверстие с крышечкой, куда опускали кольцо. Я объяснила царю, как это делается, и наклонила голову, чтобы показать. Он улыбнулся:

— Спасибо за объяснение, я ни за что не догадался бы.

Его улыбка обладала неотразимым обаянием. Я не раз слышала, что все, кому довелось оказаться в его присутствии, также поддавали под обаяние его личности. У меня возникло ощущение, будто я побывала в раю.

## Глава 9

Конфискованное вино. — Грим. — Великий князь Владимир. — Торжественное представление указа в честь кайзера. — Наши с Лидией проделки. — Драма или балет

Первые дни Великого поста, когда уроки танцев отменялись, были посвящены молитвам и причастию. Мы постились эту неделю и по два раза в день ходили в церковь. Всей душой ненавидели мы запах льняного масла, на котором готовилась еда. Старшие девушки обычно вышивали покров или на престольную пелену для нашей церкви, а нас, младших, часто призывали на помощь, нам даже позволяли расположиться вокруг стола для «привилегированных», и одна из нас принималась читать вслух жития святых и мучеников. Нам раздавали двенадцать томов этого издания, все же остальные книги конфисковывались на всю первую неделю поста. Послеобеденные уроки проходили как обычно, а в четверг перед исповедью нас охватывало такое христианское смирение, что мы обращались к каждому преподавателю с просьбой «простить нас, грешниц». В те годы я страдала малокровием и так сильно уставала от репетиций школьных спектаклей, что боялась плохо выступить во время представления. Мама, встревоженная моей худобой, принесла мне укрепляющего вина. Некоторое время мне удавалось прятать его в своем шкафчике, то под платком, то в школьной форме. Я давала его пробовать другим девочкам, и сладкое вино быстро убывало. Однажды мадемуазель Виршо обнаружила бутылку в моем шкафчике. Она была шокирована моим «порочным пристрастием». Во время следующего посещения маму попросили объяснить, в чем дело, в итоге пришли к компромиссу: если врач одобрит, лечебное вино будет храниться в лазарете и понемногу выдаваться мне перед едой; в ближайшее же воскресенье меня лишили посещения дома. На этом инцидент был исчерпан. Тогда я ощущала себя мученицей, но теперь, по совести говоря, должна признать, что основания для наказания были.

Переодеваясь к уроку танца, мы должны были, гладко зачесав волосы, убрать их за уши и заколоть. Все попытки уклониться от этой суровой моды, казавшейся нам столь непривлекательной, у младших строжайше подавлялись. Старшим позволялось немного взбивать волосы на макушке, а по достижении пятнадцати лет мы подрезали их спереди покороче, чтобы они выглядели пышнее. У меня были мягкие, немного волнистые волосы, по-моему, мне шло, когда они были слегка начесаны на уши. Но обычно меня отсылали с приказанием убрать эти начесы и вернуться приглаженной, как мы говорили: «будто корова языком лизала». Поэтому огромной милостью считалось, когда накануне школьных спектаклей нам позволялось намочить волосы и заплести их в множество косичек. На следующее утро все были курчавыми, словно негритянки, но результат нас вполне удовлетворял.

Сам день спектакля, без уроков и репетиций, казалось, тянулся бесконечно долго, и мы испытывали огромное облегчение, когда в шесть часов нас наконец послали одеваться и гримироваться. Наш грим был чрезвычайно примитивным: по мазку румян на каждую щеку; пудрой мы не пользовались, вместо нее нам выдавали куски магнезии, которые мы дробили, пачкая все вокруг себя, и белили ею руки и шею. Несколько недель до спектакля я бережно хранила пару парижских танцевальных туфель, которые купила мне мама, так как обувь, выдаваемая в училище, была довольно грубой. Время от времени я примеряла свое сокровище, но очень осторожно, стараясь не испачкать. Но, когда я надела их перед спектаклем и сделала несколько шагов, сердце мое замерло: при каждом прыжке пятки выскальзывали из туфель. Я не знала, что мне делать, и расплакалась. Однако оказалось,

что существует вполне доступное и весьма эффективное средство, хотя и не слишком элегантное. Его мне посоветовала старшая ученица, повторявшая в тот момент перед зеркалом свою партию:

— Поплюй в туфли и не реви.

К классным комнатам примыкал маленький театр, дверь его всегда была крепко закрыта на засов и висячий замок. Он открывался для нас один раз в год, в день нашего ежегодного представления. За кулисами было слишком мало места, и мы ожидали своего выхода в классах. Но все же это был настоящий театр с рампой и декорациями. Регулярно по субботам им пользовались учащиеся драматических курсов. Их курсы размещались этажом выше. По субботам мы часто просили позволения пройти в класс под предлогом, будто бы нам нужно выполнить какое-то задание, и когда нас сопровождали туда и оставляли одних, то мы прокрадывались по коридору к театру, чтобы подслушивать у замочной скважины. Сквозь толстую обшивку двери не слишком много было слышно — разве что отдельные восклицания в драматических местах, но все равно мы слушали с огромным волнением.

Для нашего представления выбрали сокращенную версию балета «Гщетная предосторожность». Я танцевала в кордебалете вместе с другими младшими воспитанницами. В театральной костюмерной нам выдали только старый реквизит и костюмы, выглядевшие весьма поношенными, но даже самый потрепанный костюм казался мне великолепным одеянием и обладал магическим свойством разгонять, словно по мановению волшебной палочки, всю мою застенчивость. Четверо из нас исполняли небольшой танец и считали это большой для себя честью. Нашу аудиторию составляли родители, учителя, артисты и два балетмейстера, Петипа и Иванов. К нашему большому разочарованию, никто из императорской семьи не смог прийти в этом году. Был только министр двора барон Фредерикс, предоставивший нам трехдневные каникулы.

Привычные строгие правила повеления, казалось, были забыты в тот вечер, и к нам относились снисходительно. По окончании представления, когда мы с топотом понеслись по коридору, никто не попытался остановить нас или сделать выговор за радостные крики по поводу дарованных каникул. Столпившись у дверей танцзала, мы смотрели, как расходились зрители. Некоторые из артистов останавливались, чтобы сказать несколько слов похвалы. Самый большой успех в тот вечер выпал на долю трех старших воспитанниц, заканчивавших училище в этом году: Павловой, Егоровой и Петипа. К нам подошел Гердт, гордый за своих учениц, и сообщил новость, что дебют всех троих состоится после Пасхи.

В следующем году наш спектакль принес мне некоторую известность: Гердт, ученицей которого я стала, дал мне одну из главных ролей. Впервые было решено, что наши репетиции будут проходить на большой сцене Михайловского театра. Многие так называемые балетоманы, абоненты и поклонники балета, получили позволение присутствовать в тот вечер. В зале был и великий князь Владимир с семьей. Мы считали его большим покровителем искусств, а великая княгиня, его супруга, была президентом Академии художеств. Чрезвычайно привлекательный и обладающий внушительной наружностью, он обычно говорил очень громко, очевидно сам того не замечая.

— Кто это? Этот воробышек? — внезапно вырывалась его громкая реплика, когда на сцену выходила какая-нибудь маленькая девочка, чтобы исполнить свой сольный танец. Среди публики раздавался подавленный смешок, ее слышал и «воробышек» и на мгновение терялся, до тех пор пока громкое «Очень хорошо!» не успокаивало ее. После окончания спектакля великий князь пришел в училище и поужинал с нами. Его грубоватое добродушие ободряло девочек, они столпились вокруг него и непринужденно болтали. Только я сохраняла свою застенчивость и еще сильнее смутилась, когда он, указав на меня, сказал: «Она в свое время превзойдет их всех». За ужином он пригласил меня сесть рядом с собой. Была моя очередь читать молитвы перед едой, и теперь он



похвалил мою дикцию и спросил, так же ли хорошо мне даются другие предметы. Я призналась, что у меня плохой почерк.

— Не говорите так, — сказал он и попросил принести лист бумаги, ему подали меню, оно было отпечатано, хотя ужин состоял только из холодного мяса и мороженого, само по себе это было довольно необычным и изысканным блюдом.

Он заставил меня написать на нем мое имя и посмотрел на мои каракули взглядом эксперта.

— Я назвал бы его необычайно хорошим, — сказал он и попросил написать еще и дату. Это был первый случай из многочисленных проявлений доброты по отношению к застенчивому, замкнутому ребенку, каким я тогда была, со стороны человека, способного хранить верность своим симпатиям.

И впоследствии, оказываясь поблизости от нас, великий князь всегда искал меня, чтобы поговорить. Мне стало известно, что в беседе с директором он хвалил меня как будущую надежду и распорядился сфотографировать меня и прислать ему фотографию. Перед Варварой Ивановной, которой передали это распоряжение, встала дилемма, как выполнить его и в то же время сделать так, чтобы у меня голова не пошла кругом от столь неслыханной милости. В итоге сфотографировали нас всех. Подробности этой истории я узнала намного позже.

Поздней весной в Петергофе состоялось торжественное представление по случаю официального визита немецкого императора. Очень тщательно был подготовлен для показа на открытом воздухе балет «Пелей», а на случай дождя — другой спектакль для закрытого театра. В утро спектакля прогнозы погоды обсерватории были благоприятными, и решили дать балет. Местом для представления выбрали маленький остров на петергофском озере. На этом острове еще в предыдущее царствование был построен амфитеатр на фоне руин, напоминающий картины Гюбера Робера. Сцена простиралась до самого озера и благодаря низкому берегу казалась бесконечной. На крошечном островке была воздвигнута высокая скала с пещерой Вулкана в центре. Когда поднимался занавес. Вулкан в своей кузнице ковал доспехи для Пелея. Пещера освещалась каким-то сверхъестественным светом; искры вылетали из-под молота бога. В создании общей атмосферы большую роль играла стихия: время от времени на небесах вспыхивали зарницы, слышались отдаленные раскаты грома. Пролог заканчивался появлением на вершине скалы Марса и Венеры со свитой. Коленопреклоненный Пелей получал из рук бога доспехи и украшенный перьями шлем. Сцену заливал розовый свет, и по водной глади окруженная нимфами скользила Фетида. Эта красивая иллюзия создавалась довольно простым образом — плот с зеркальной поверхностью. Другим эффектным выходом было появление Венеры, сидевшей на высоком троне на позолоченной барке со свитой амуров, «смехов» и нимф. Я была одним из амуров. Мы погрузились на судно на другой стороне острова, за амфитеатром, и какое-то время плыли, оставаясь скрытыми от глаз публики. По сигналу судно, разукрашенное гирляндами цветов, появилось перед зрителями, и из него вышла Венера со свитой. Барка причалила в нужный момент, точно совпадающий с музыкой; представление в целом протекало гладко, без сучка без задоринки. Прозрачная тишина белой ночи разливалась вокруг чары нереальности, создавая странное ощущение отрешенности от времени и пространства. Невозможно представить лучшей декорации для празднества, спектакль вполне пришелся бы ко двору самого «короля-солнца». Однако одно обстоятельство сильно беспокоило исполнительниц спектакля: из-за ночной сырости локоны наших париков распустились, но надеюсь, что этот небольшой недостаток не снизил впечатление от спектакля в целом.

Я прекрасно помню все подробности того незабываемого дня. Его можно назвать красным днем календаря, так как он ознаменовал собой приобретение нового жизненного опыта. Нас привезли в Петергоф рано утром, и мы провели там целый день. Узнав, что нам предстоит обедать в ресторане, мы пришли в восторг, вообразив, будто окажемся в

светском обществе. Но нам накрыли столы в отдельном зале, там было не слишком весело. После обеда мы отправились на прогулку по парку, туда, где били фонтаны. День был жаркий, и мы взяли с собой свои зонты из небеленого сурового полотна. Как объяснить, почему эта нелепая вещь стала для меня предметом особой заботы и гордости, ума не приложу. Возможно, потому, что у меня никогда прежде не было зонтика — мама считала это лишним, а может, потому, что в прочитанном мною когда-то романе героиня, «склонив голову, чертила на песке причудливые узоры острием своего зонтика» в ответ на слова:

«Вы держите в своих ручках мою жизнь и мое счастье». Во всяком случае, в те дни зонтик стал для меня символом элегантности. Я держала его открытым даже в густой тени вековых дубов, посаженных еще Петром Великим, и, садясь на скамейку, чертила им замысловатые узоры.

У маленького, похожего на игрушечный, дворца Марли доброжелательный сторож показал нам квадратный пруд с золотыми рыбками. Он позвонил в колокольчик, и рыбки собрались в ожидании корма.

Тем временем дома всюю готовились к отъезду на дачу. Голубой мебельный гарнитур, стоявший в гостиной, покрыли чехлами и сдвинули в угол. Обеденный стол со всеми принадлежностями для шитья выдвинули из угла и поставили на видное место. Солнце свободно проникало в комнату сквозь окна со снятыми шторами. Отец часто твердил, что предпочитает голые окна без «всех этих тряпок и занавесок». «Право, Платон, тогда тебе следовало бы жить в бараке?» — с раздражением восклицала мама. Много времени она провела, вышивая на этих занавесках узор «меандр». Каждое лето их снимали, стирали, полоскали в слабом растворе кофе и прятали до следующей зимы. Кроме тети Кати, помогавшей маме шить, еще один папин родственник оказывал иногда маме различные услуги. Появления дяди Володи в моем представлении всегда были связаны с какими-то таинственными действиями. Выслушав мамины инструкции, высказанные вполголоса, дядя Володя удалялся с объемистым свертком под мышкой. Со столь же таинственным видом он возвращался, уже без свертка, но с некоторой суммой денег, которую украдкой передавал маме. Однако вся эта таинственность ни для кого не составляла тайны. Я знала, что дядюшка просто относил зимние вещи в ломбард.

1 мая мы все еще были в городе. Отец избрал этот день, чтобы выпустить на свободу своих птиц. Отец обожал чижей с их веселым щебетанием, был у него и скворец, которого отец научил насвистывать разные мелодии и говорить «Христос воскрес». Весной он всегда выпускал своих птиц.

— «...Свято соблюдая обычай русской старины, на волю птичку выпускаю при светлом празднике весны...» — декламировал отец, заворачивая клетки.

Мы встали рано и отправились в Екатерингоф.

— Охота пуще неволи, — сказала мама. — К чему тащиться в такую даль, получая тычки под ребра от рабочих, когда вы могли бы освободить птиц в Летнем саду? Подумайте об этом.

Мы видели из окна переполненные конки, едущие по противоположному берегу канала. Толпы людей направлялись на народные гулянья с каруселями, устраиваемые в этот день в Екатерингофе. Но это не остановило меня, я всей душой стремилась в это путешествие, и мы с отцом, нагруженные клетками, отправились в путь. Мы подошли к окраине парка, где росло лишь несколько осин и берез. «Вот идеальное место, — сказал отец. — И вода есть поблизости». Он велел мне открыть клетку чижа. Птичка перестала прыгать, робкая и недоверчивая, она на мгновение замерла, словно затаив дыхание, затем с громким щебетом стремительно вылетела из клетки. Скворец казался мудрым и осмотрительным. Он сел на дверцу, неторопливо осмотрелся, свесив голову набок, и не спеша полетел. Моя верная подруга, связанная со мной клятвой о дружбе, Лидия Какшт приехала с нами в Лог. Лидия была сиротой, и мама охотно согласилась принять на себя заботу о ней на время каникул. Лидия была жизнерадостной, словно щенок, и всегда готовой на любую

шалость. На выговоры или наказания она не обижалась, да они на нее и не действовали. Ее добродушие и искренняя привязанность ко всем нам всегда обезоруживали маму, и лишь однажды она вызвала сильный гнев отца, обычно для него не свойственный. После обеда мы наслаждались неограниченной свободой. Никто не следил за тем, где мы и чем занимаемся, лишь бы вовремя вернулись к ужину. Нам запрещалось только одно: кататься на лодке без папы или Левы. Лодка была на тяжелой цепи с висячим замком, но ключ от нее вызывающе висел на гвозде у двери в кухню. Однажды, когда родителей не было дома, Лидия решила воспользоваться случаем: стащив ключ, мы отправились к озеру и переплыли на другую сторону, чтобы навестить друзей, живших в пяти километрах от нас. Инициатива принадлежала Лидии. Я сначала испытывала сомнения, но потом и меня охватила жажда приключений. Мы получили большое наслаждение от нашей затеи, пили чай, играли в чехарду и отправились в обратный путь довольно поздно. Теперь ветер дул нам навстречу, сумерки сгущались, а мы не преодолели еще и половины пути. Лодка протекала, и нам приходилось часто останавливаться, чтобы вычерпать воду. Во время одной из таких остановок уронили в воду весло, и потом долго маневрировали, безуспешно пытаясь оставшимся веслом достать упавшее. Дело принимало угрожающий оборот.

— Становись на колени и молись, — велела мне Лидия.

Она твердо уверовала в мою святость после того, как однажды во время урока я сильно натерла палец на ноге, но не прекратила занятий.

— Она святая, — твердила Лидия, рассказывая об этом случае матери. — И к тому же мученица.

Тем временем дома забеспокоились, когда мы не вернулись к ужину. Стали всех расспрашивать, и, когда кто-то сказал, что видел, как мы отплывали в лодке, поднялась паника. Спасательная партия тотчас же отправилась в путь и нашла нас, все еще пытающихся выловить весло и зывающих о помощи к небесам. Мы получили такой нагоняй, что он должен был навсегда отбить у нас охоту к подобным выходкам, но наш дух оставался неукротимым. Его следующим проявлением стал наш «плантаторский» подвиг — еще одна выдумка неистощимой на идеи Лидии. Однажды жарким днем мы собирали в лесу землянику.

— Давай разденемся, тогда будет не так жарко, — предложила Лидия.

У нас на голове были большие соломенные шляпы, и мы обе сочли, что выглядим как негритянки на плантации. Маленький лесок находился рядом с дорогой, и нас заметила соседка, возвращавшаяся домой со станции. В высшей степени шокированная дама отправилась к маме и пожаловалась на наше неприличное поведение. Настала очередь мамы взять нас в ежовые рукавицы, и она прибегла к весьма действенной мере, запретив нам выходить за пределы сада, что меня чрезвычайно огорчило. К счастью, через несколько дней запрет был снят, мама «под честное слово» разрешила нам выходить, и я снова почувствовала себя наверху блаженства. То были счастливые дни. Во мне с каждым днем все больше разрасталась почти языческая любовь к лесам и полям, я забывала о времени и теряла ощущение своего собственного «я», погружаясь в восхитительную дремоту.

За городом жизнь протекала спокойно — никаких бродяг на дорогах, никаких слухов о грабежах. Правда, в лесу водились медведи, но крестьяне утверждали, будто они кормятся овсом и не представляют собой никакой опасности летом, разве что медведица может напасть, если рядом с ней медвежонок. Однажды мы с Лидией в поисках грибов забрели далеко в лес. Я нашла целую грибную семью и опустилась на колени, чтобы собрать их. Деревья поблизости росли группой, формируя собой подобие беседки. Мой взгляд привлекла находившаяся среди деревьев огромная куча, напоминающая гигантский муравейник. Я позвала Лидию, и она подошла посмотреть. Вдруг «муравейник» зашевелился, и в проеме между деревьями появилась голова с торчавшими вверх ушами. Никогда не забуду нашего стремительного бега. К счастью, Лидия хорошо

ориентировалась, и вскоре мы оказались на дороге. Дома мы, задыхаясь, поведали о своем спасении. Лидия утверждала, будто слышала хруст валежника, когда медведь гнался за нами, я этого не слыхала. Крайне рассерженная скептическим отношением Левы к нашему рассказу, она побожилась, что видела следы медвежьих лап на дороге. Папа предположил, что это, по-видимому, был годовалый медведь, которого обычно оставляют присматривать за малышами, когда взрослые медведи отправляются на поиски пропитания. Крестьяне называют их пестунами.

— Пестуны в действительности не опасны, — объяснял отец, — если только их не трогать.

Нас обеих ужасно возмущало преуменьшение смертельной опасности, которой, как полагали, мы подверглись; особенно негодовала Лидия, которую Лев своими ироническими замечаниями мог довести до белого каления, и тогда ее аргументация теряла всякую последовательность. Они постоянно пикировались. Было очень забавно наблюдать за их ежедневными стычками по поводу столь необходимых ей уроков грамматики. Нелегко было заставить Лидию заниматься, она словно за версту чувствовала приближающуюся опасность и проявляла чрезвычайную изобретательность, чтобы ускользнуть от своего наставника. Однажды Лев запер ее на замок, заставив множество раз писать слово из пяти букв, в котором она сделала три ошибки. Когда Лев с каким-то шутивым замечанием отпер дверь, то обнаружил, что комната пуста. Его мятежная ученица уже давно выпрыгнула в окно, оставив вызывающую записку. «Лев глупый осел, я его презираю», — было нацарапано на клочке бумаги. К несчастью для Лидии, оскорбительность ее выходки оказалась сглажена, так как в слове «презираю» она умудрилась сделать несколько ошибок — в результате последнее слово осталось за Левой. Уже в те годы он обладал живым, гибким умом и умением спонтанно находить остроумные ответы, что в последующие годы сделает его опасным оппонентом для ученых коллег. Хотя он тогда был или, по крайней мере, считал себя свободным мыслителем, в нем не было и следа педантичности. Сам полностью лишенный предрассудков, он мог искренне обсуждать с цыганами их колдовство и черную магию и был больше склонен к юмору, чем к борьбе с ошибками.

Этим летом случившиеся время от времени с мамой сердечные приступы стали внушать особую тревогу. Им обычно предшествовали дни мрачной депрессии. Один наиболее тяжелый приступ, вероятно, стал результатом тяжелой предгрозовой жары. Вдали бушевали сухие грозы. По вечерам небо, казалось, дрожало от зарниц. Пришло время урожая, на дальних полях загорались стога. Густой удушающий запах можжевельника доносился из горевших лесов. Но дождя, который мог бы облегчить напряжение многих дней, все не было. Однажды вечером мы сидели за ужином на балконе, и вдруг мама с пронзительным криком упала со стула. Отец отнес ее на руках в комнату и уложил в постель. Она то билась в истерическом припадке, сбрасывая холодные полотенца, которые мы прикладывали к ее голове, то лежала, изнуренная, и тихо стонала. Приступ продолжался несколько часов. Видеть все это было просто ужасно. В какой-то момент я совершенно потеряла голову. Закрыв глаза, выскочила из дома и бросилась бежать, сама не зная куда. Наши соседи, пожилая пара, направлялись к нам, чтобы немного поболтать вечерком перед сном.

Они остановили меня. Я лепетала что-то бессвязное. Пожилая дама отвела меня к себе и дала валериановых капель, затем пошла к нам, чтобы предложить помощь. Она вернулась за мной, когда мама пришла в себя после припадка.

Наши соседи принадлежали к театральному миру: Юрковский был когда-то режиссером драматического театра, его жена — знаменитой актрисой. Необычная любовь и преданность мужа создавала неугасаемый ореол романтизма вокруг их жизни.

Буколические имена Филемона и Бавкиды, которыми нарекла их мама, на редкость хорошо им подходили. Мне и раньше доводилось встречать красивых стариков, но Мария Павловна являла собой исключительный образец красоты пожилой женщины: лукавые

искорки в глазах, намек на усики над припухлыми губками придавали ей очарование юности, шаловливой и немного застенчивой. Она не предпринимала никаких лихорадочных попыток обмануть время; ее закат был безмятежным и исполненным достоинства. Платья ее напоминали моды начала шестидесятых годов, а седые волосы она заплетала в косы и укладывала короной, как во времена своей юности. Муж приучил их маленького внука называть ее «красавица бабушка».

Юрковский считал, что я выбрала неверный путь, посвети» себя танцу. Он стал проявлять интерес ко мне с тех пор, как увидел меня в спектакле «Сон в летнюю ночь». В Логге я часто приходила к ним в гости. Старик обычно приглашал меня в свой кабинет и просил читать стихи. Я знала их очень много, и он предоставлял мне самой выбирать, что читать. Высокий, немного сутулый, с длинной седой бородой, он сидел в кресле и слушал меня закрыв глаза. После небольшой паузы начинал говорить, давая советы, как лучше модулировать голос.

— Тебе следует выступать на драматической сцене, — часто говорил он мне. — В тебе, несомненно, есть врожденный лиризм. — И добавлял: — Тогда ты будешь служить более интеллектуальному искусству.

Мы часто вступали в продолжительные беседы. Он открыл мне глаза на множество заблуждений; одно из них состояло в моей уверенности, что талант актера непременно должен быть врожденным. Он качал головой.

— Знаю, это мнение широко распространено среди актеров, но оно не верно. Ристори никогда не подготовила самостоятельно ни одной роли. Главное для великого актера — это умение перевоплощаться, и не имеет значения, из какого источника он черпает вдохновение.

Замечание Юрковского по поводу «более интеллектуального искусства», хотя и сделанное в деликатной форме, тем не менее очень меня расстроило. Печально было сознавать, что выбранное мною искусство является чем-то второразрядным. Я тогда еще не понимала в полной мере безграничных возможностей искусства танца. Просто испытывала радость от движения и решимость продолжать заниматься своим делом. Сначала я инстинктивно следовала по избранному мною пути и лишь позднее совершенно сознательно убедилась в правильности принятого решения.

Мама часто говорила, что Лев похож на нее, а я «вылитая дочь своего отца». Заканчивая гимназию, Лев постепенно превращался в настоящего ученого. Мама утверждала, что острый ум и интеллектуальные способности он унаследовал от ее семьи. С гордостью рассказывала она о своём двоюродном дедушке Хомякове, поэте, религиозном философе, одном из вождей движения славянофилов. Она искренне надеялась, что Лев унаследует его славу.

На нижних полках нашего книжного шкафа среди картонных коробок, где хранился всякий хлам, который не выбрасывался, потому что «кто знает, не пригодится ли это когда-нибудь», однажды я обнаружила несколько маминих записных книжек.

Озаглавленные «Pensees et maximes» («Мысли и изречения»), они отражали наблюдения, размышления по поводу тех или иных событий, критику прочитанных книг. Записи в основном велись по-французски. И это ни в коей мере не было позой — ученицы Смольного института, где воспитывалась мама, обращались к тапан, как они называли директрису, только по-французски, так было заведено. И если сейчас мама не могла позволить себе погрузиться в интеллектуальные занятия, у нее была сформирована привычка мыслить. Она необыкновенно быстро вошла в круг интересов Льва и его молодых друзей, которых он теперь часто приводил домой.

## Глава 10

Колеса. — Князь Волконский. — Методы репетиций, Гердт. — Успехи. — «Маленькая Лопухова». — Козлов. — Иогансон. — Мой первый «роман»

Обычно мы возвращались в училище 26 августа, за неделю до начала занятий. Театры открывали сезон 1 сентября. Помимо репетиций и утренних упражнений, у нас было не слишком много дел в эту первую неделю. Однако кое-какую работу распределяли среди нас — мы подрубили носовые платки или распарывали голубые кашемировые платья, которые давно уже пережили свои лучшие времена и которые следовало перелицевать. Каждый год нам выдавали новое платье, но мы могли надевать его только по воскресеньям. На каждый день у нас были старые, аккуратно перешитые, удлиненные, но слегка выцветшие.

Утренние занятия проходили пока без преподавателя и порой превращались в буйные игры, стоило лишь воспитательнице выйти из зала. Одно из остроумных изобретений, служивших подтверждением нашей ловкости, которую мы одна за другой с переменным успехом пытались продемонстрировать, заключалось в следующем: надо было отойти в дальний угол зала, разбежаться и вскочить на рояль в безупречном арабеске, словно балерина, которую на лету подхватывает партнер. Лидии пришла в голову безумная идея сделать со мной поддержку. В результате последовало позорное падение — сначала она уронила меня, затем обрушилась на меня сверху, я разбила себе локти и колени. У меня был и свой собственный номер.

— Туська, покажи свою акробатику, — просили меня подруги, я делала колесо и ходила на руках. Подобное искажение моего имени шокировало Варвару Ивановну. Когда она слышала подобное обращение, то обычно говорила:

— Стыдно, девочки. У нее такое красивое имя. Туська! Словно какая-то дворняжка. Однако это имя пристало ко мне. А ласково меня называли Тусенькой.

В 1898 году директором императорских театров стал князь Сергей Волконский. Он был внуком ссыльного Волконского, уже одно это возвышало его в моих глазах. Нам всем было ужасно любопытно увидеть нового директора, и мы надеялись, что таковая возможность нам представится на какой-нибудь генеральной репетиции оперы или балета, на которые нас обычно водили. Нам не пришлось долго ждать. Как-то утром мы с одной из девочек сидели за роялем в круглой комнате. Перед нами стоял сборник увертюры для игры в четыре руки, и мы разбирали «Matrimonio Segreto» («Тайный брак», опера Д. Чимарозы..), как вдруг звук открываемой двери заставил меня повернуть голову. Вошел Волконский и быстро направился к двери, ведущей в танцевальные залы. Он шел решительным шагом, чуть склонив голову набок, и во всей его высокой стройной фигуре было нечто стремительное. Его элегантный облик, гладкие волосы, разделенные на английский манер пробором, я могла сравнить только с «модной картинкой» — все привело меня в восхищение. Он остановился и ответил поклоном на наш реверанс. Стоявшие на пюпитре ноты привлекли его внимание. Он поправил пенсне.

— А, Чимароза, пожалуйста, продолжайте.

Пока он стоял у рояля, отбивая такт, я рассмотрела его изящную руку, обратила внимание на легкий нервный тик на лице.

— Это следует играть в более быстром темпе, когда разучите, — заметил он, а затем поинтересовался, занимается ли кто-нибудь сейчас в танцевальном зале. Мы ответили утвердительно, и он прошел в зал, где занимались младшие девочки.

Для того чтобы понять, до чего же необычно для нас, девочек, было вот так запросто вступить в прямой контакт с директором театров, я должна объяснить, что Всеволожский, бывший директор, никогда не проявлял интереса к училищу. Нам доводилось видеть его импозантную фигуру только издали на генеральных репетициях, всегда в окружении бесчисленного числа чиновников, прикомандированных к нему, или в директорской ложе во время спектакля. Возможно, я и ошибаюсь, но мне кажется, что он относился к балету как к второстепенному искусству, так что все заботы о нашем художественном образовании были целиком и полностью возложены на преподавателей, считалось, что они знают свое дело. От балета требовалось лишь сохранение традиций и высокий уровень исполнения. С

незапамятных времен балет ставился в роскошных декорациях. Всеволожский, сам большой знаток XVIII века, сделал все эскизы костюмов для «Спящей красавицы». Они были восхитительны и с почти документальной точностью воспроизводили эпоху «короля-солнца». И тем не менее балет в то время воспринимался скорее как приятная игрушка, чем искусство, равное другим.

Дома мы читали одну газетенку-сплетницу только потому, что она предоставляла подробную информацию о балетах. Я почерпнула из нее кое-какие сведения о бюджете, ассигнованном на театр. Газета с возмущением писала об огромной по тем временам сумме в 40 000 рублей, потраченной на постановку нового балета. Ежегодно ставилось по два балета, причем с большой пышностью. Настоящие тяжелые шелка, бархат самого высокого качества, ручная вышивка — все это использовалось при изготовлении костюмов. Тогда и в мыслях не было наносить узор по трафарету. Наш главный костюмер Каффи иногда в целях экономии прибегал к различным остроумным находкам. Так, например, страусовые перья в «Спящей красавице» были сделаны из шерсти и выглядели даже более эффектно, чем настоящие. Хотя-головные уборы и парики, украшенные ими, стали тяжелее, актеры не протестовали. В те времена костюм танцовщицы очень стеснял движения: мы носили тугие корсеты, жесткие корсажи на китовом усе и юбки из тарлатана значительно ниже колена.

Новый директор часто посещал наши занятия. Особое внимание он уделял музыке, декламации и пантомиме. Он и сам был превосходным музыкантом. Два раза в неделю Гердт давал нам уроки пантомимы, причем учил нас на своем примере: сначала разыгрывал сцену сам, затем заставлял нас повторять ее, исправляя ошибки. Мы разыгрывали сцены как из балетов текущего репертуара, так и из старых спектаклей, сохранившихся в памяти учителя благодаря славе их исполнителей или же потому, что они давали возможность разыгрывать наиболее драматические или комические ситуации. Почти никаких вспомогательных аксессуаров не использовалось. Основные элементы декораций с легкостью создавались с помощью скамеек и стульев. Два стула, поставленные на некотором расстоянии друг от друга, обозначали собой дверь, скамья служила ложем, а весь остальной реквизит был воображаемым. Мы наливали вино, собирали цветы, наносили удары кинжалом, пряли, стучали в дверь — и все это без каких-либо предметов. Для меня лично было намного труднее найти жесты, необходимые для подобных простых действий, чем для исполненных драматизма. Учитель постоянно поправлял нас:

— Никто не пишет так письмо, просто помахивая рукой. Нажимайте, выводите буквы. — Или: — Так розу не держат. — И из кармана извлекается носовой платок. Свернув его наподобие цветка, Гердт любовался этим кусочком батиста, с наслаждением вдыхал воображаемый аромат. Но он не давал нам никаких теоретических объяснений и даже не пытался вывести законы, по которым жила и развивалась пантомима. Актер, чье искусство полностью основывалось на интуиции, Гердт едва ли сам осознавал, что в современном балете появились два абсолютно различных элемента. Мимический рассказ прочно утвердился в балете. Сцена, в которой актеру приходилось объяснять, что произошло за сценой, требовала полностью условных, описательных жестов. В таких же балетах, как «Жизель» или «Тщетная предосторожность», действие рождалось спонтанно, исходя из сути сюжета. Оно раскрывалось, исходя из ситуации посредством эмоциональных жестов и действий, ведущих непосредственно к цели.

Уроки пантомимы, которые давал Гердт, представляли собой превосходные примеры мастерства, но их нельзя назвать обучением, опирающимся на ясно обоснованные принципы. Думаю, именно это размышление приходило в голову Волконскому, когда он, присутствуя на наших уроках, ставил перед нами определенные задачи. Небольшие сюжеты, которые он нам предлагал, были простыми и обстоятельными. Исходя из общей линии сюжета, мы воображали ситуацию и придумывали действие. Но, не имея примера перед глазами, мы часто терялись. Тогда Волконский помогал нам, комментируя:

— Вы видите, как негодяй покидает сцену, его зловещая усмешка убеждает вас в том, что он совершил злодеяние. Вы оборачиваетесь к матери и говорите: «Это он похитил мое письмо». Как вы это сделаете? Посмотрите на того, к кому обращаетесь, и укажите на того, о ком говорите. Рука, повернутая ладонью вниз, предполагает жест осуждения, рука же, повернутая ладонью вверх, — приглашение, вопрос, обращение.

Подобными замечаниями он заставлял нас задумываться о принципах игры, а не просто копировать продемонстрированное упражнение.

В феврале мне исполнилось 15 лет, и я уже наслаждалась всеми привилегиями старших, разве что не принадлежала к избранному обществу пансионерской. Так называлась туалетная комната для старших. Ее окна выходили на Театральную улицу. Со стороны улицы наши окна, разделенные двойными колоннами с метопами, венками и гирляндами, пожалуй, принадлежали к самым красивым частям здания. Гармоничная колоннада протянулась почти на всю длину улицы. Но для нас, находившихся внутри здания, были видны только фриз противоположного здания, идентичного нашему, и кусочек неба. Нижняя часть окон была застеклена матовым стеклом. Как только первый стук колес нарушал окутанное снегом молчание зимы, мы не могли устоять от соблазна насладиться первыми признаками весны, будь это всего лишь лотки с геранью, разносимые уличными торговцами. Совершив акробатический номер и встав на плечи кого-то из девочек, можно было увидеть улицу.

Пансионерская представляла собой большую комнату с высоким потолком. Она была почти пустой — стояло только высокое зеркало на ножках красного дерева, и тем не менее зимой там было уютно, так как всегда горел камин. Вдоль стен стояли встроенные шкафы. Обитатели пансионерской обладали привилегией проводить здесь лишние десять минут после вечернего звонка.

Чем ближе становился день моего пятнадцатилетия, когда я должна была окончательно покинуть дом и поселиться в училище, тем больше дорожила я каникулами. Их омрачал только страх предстоящей разлуки. Никто не догадывался о глубине моих чувств. Из-за моей сдержанности мама решила, будто жизнь вдаль от дома сделала меня равнодушной к их интересам и заботам. Она стала считать меня отрезанным ломтем и часто говорила: — Вот Лева понимает, через что мне пришлось пройти.

Мы переживали тяжелые времена. Отец оказался не способен выдерживать конкуренцию, все возраставшую в его профессии. Он питал отвращение к современным танцам. В моду вошли падеспань, венгерка, падекатр, а он продолжал обучать своих учеников лансье, менуэту и польке. Неудивительно, что молодые учителя вытесняли его и у него осталось всего несколько уроков. Теперь он имел только одно постоянное место службы — дважды в неделю давал уроки в благотворительной школе принца Ольденбургского. Жалованье там было скудное, но постоянное. Школа находилась за городом в Лесном, и у отца уходил почти целый день на дорогу туда. Зимой отец страшился этого путешествия. Транспорт передвигался медленно — конка вывозила его за черту города, а там он пересаживался на паровичок. Несмотря на то что под скамейки подкладывали солому, его ноги немели от холода. Особенно его ужасало возвращение домой. В своей промокшей от пота сорочке и во фраке, который был *de rigueur* (Обязательный) для учителя танцев, он сильнее ощущал холод. До дому добирался совершенно замерзшим и голодным. стакан водки согревал его, но тем не менее он приобрел постоянную простуду. Отец мог так часто чихать, что мы просто теряли счет. Он рассказал мне, как однажды на улице вынужден был остановиться во время одного из продолжительных приступов. Какой-то прохожий, привлеченный необычайной мощностью и частотой его чихания, остановился, чтобы посмотреть на него.

— Будьте здоровы, — вежливо сказал прохожий. Чихание продолжалось. — Будьте здоровы, — повторил он. — О, будьте здоровы, будьте здоровы, будьте здоровы. Неужели вы никогда не перестанете чихать?

Вежливый незнакомец не смог дожидаться, когда же, наконец, закончится приступ.



Суббота была одним из тех дней, которые отец проводил в Лесном, а это означало, что я очень мало видела его в свои выходные. Он стал глохнуть, и мама часто раздражалась от того, что ей приходилось многократно повторять одно и то же. Ему же не хотелось признаваться в своей слабости, и он утверждал, будто люди, имеющие музыкальный слух, глухи к повседневным звукам.

Бабушка теперь жила с нами. Ей уже было за семьдесят, и она явно сдавала. Но ее изумительная жизненная сила не уменьшалась с годами. Она вставала первой в доме, и поздно ночью было слышно, как она ходит по своей комнате. Стук выдвигаемых и задвигаемых ящиков безошибочно говорил о том, что бабушка что-то ищет. Большую часть времени она проводила в поисках. Ее вещи постоянно играли с нею в прятки.

Велика была ее досада, когда ей пришлось пропустить торжественную церемонию вручения наград в школе у Льва. Лева был награжден золотой медалью, но бабушка не смогла увидеть, как ее любимец получает медаль, так как безнадежно потеряла свой лучший шиньон, и, будучи чрезвычайно привередливой, когда дело касалось ее внешности, она не захотела показываться на публике без него.

— Я положила его здесь, — повторяла она, возвращаясь снова и снова на одно и то же место, надеясь, что пропажа окажется там. — Чур-чур, дурака не валяй, поиграл и отдай, — взывала она к невидимым темным силам, которые, как она полагала, сыграли с ней злую шутку.

Когда бабушке предложили место в богадельне для вдов при Смольном монастыре, бабушка перебралась туда. Белая с золотом красота Смольного успокаивала и смягчала болезненные раздумья о пережитых лишениях, которые довелось испытать людям преклонных лет, заканчивающим жизнь в богадельне. В большой церкви, изящной, словно праздничный зал, царило почти светское блаженство. Комнаты обитательниц выходили в просторный коридор с изящной галереей наверху. Бабушка жила в одной комнате со своей родственницей, тетушкой Олимпиадой, великаншей с маленькой птичьей головкой и тоненьким голоском.

Громким шепотом бабушка сообщила нам, что Олимпиада только что продала свое воронежское имение и у нее теперь куча денег в чулке. Такова была последняя страница жизни бабушки. Она осталась в моей памяти как необычайно яркая личность. События ее жизни, словно в книге, составляли причудливые, романтические узоры. Бедность не оставила ни малейшего следа на ее детском простодушии.

Я занималась теперь в классе Гердта и с любовью вспоминаю это время — весну среди всех времен года моей профессии. Я бесконечно благодарна моему любимому учителю. Лето коротко и эфемерно, великие танцовщики не оставляют после себя никаких записей, они живут в легенде. Только бережные руки могут передать неосознанное сокровище, только вдохновенный талант лелеет искру волшебного искусства, пока она не разгорится с новой силой. Гердта можно назвать избранным инструментом, передававшим нам все богатство танца, то богатство, которое он тщательно собирал за время своей долгой карьеры. В юности он стал свидетелем рассвета романтизма, никогда уже не повторившегося в своей первоизданной силе. Гердт не искал новых путей, он был ревностным хранителем славных традиций.

Самая интересная часть его урока начиналась после того, как заканчивалась необходимая рутина упражнений. Тогда из отдельных па рождалась цепь коротких танцев. Он часто реконструировал фрагменты старых балетов, давным-давно сошедших со сцены. Великие танцовщики прошлого оживали снова, вызванные им. Я находилась под обаянием чар великого искусства, раскрытого нашим Учителем. Когда урок заканчивался, горничная входила с большим ручным колокольчиком, мы толпой неохотно выходили из зала, с нетерпением ожидая завтрашнего дня, когда, возможно, снова повторим шедевр Черито «Танец с тенью».

Два моих последних года в училище были заполнены счастьем и увлеченным трудом. Передо мною стояла одна цель, и каждый день открывал мне новые высоты, к которым

стоило стремиться. Мне не казалось, будто мою свободу подавляют. В отличие от других девочек я не считала эти годы вычеркнутыми из жизни. Напротив, у меня было ощущение, будто у меня осталось мало времени. Во мне рождалось понимание того, что пройдут годы, прежде чем я смогу достигнуть желаемого результата.

Каждое воскресенье нас, старших, водили в Александрийский театр. Мы любили драмы, где можно было поплакать. В пансионерской, к которой я теперь принадлежала, нам нравилось разыгрывать то, что мы видели, имитируя актеров очень точно. Кто-нибудь из актеров драматического театра давал старшим уроки дикции и игры. Мы главным образом придерживались монологов и поэзии. Иногда он предлагал нам разыграть какую-нибудь сцену. Во времена моего отца не было отдельной драматической школы. Ученики театральной школы обучались в соответствии с проявляемыми ими способностями, но танец был обязательным для всех. Славина, одна из ведущих меццо-сопрано, сначала готовилась стать балериной. Мы посещали и занятия пения, но не было никакой надежды, что среди нас окажется еще одна Славина. Для предстоящего весной экзамена мы готовили ни больше и ни меньше как «Марию Стюарт». Классную комнату, заполненную партами, мы сочли неподходящей; так что со временем для драматических уроков перешли в Маленький театр. В задней части аудитории, за зрительным залом, находилось небольшое фойе, на стенах которого висели фотографии в рамках всех учащихся, закончивших училище. Из этих фотографий становилось ясно, что наши платья всегда оставались неизменными, менялись только прически: волосы собраны короной на макушке и челка лежала красивее, чем в нашей прическе, когда волосы зачесаны за уши. На генеральные репетиции опер обычно приглашалась вся школа и отменялись дневные классы. В том году возобновляли «Вольного стрелка». Сцена в долине волков, куда приходит Каспар, чтобы отлить пули. У нас не было возможностей, чтобы отразить все сценические эффекты: гром, молнию, полет зловещих птиц. Однако пансионерская была большой, а мы обладали достаточной изобретательностью, и ко всеобщему удовольствию представление получилось.

— Первая, — пропел Каспар, присобрав юбку и заткнув ее в бархатные сапожки, имитируя таким образом брюки.

— Первая, первая, первая, — эхом отдавались голоса из различных шкафов. Такой же эффект отраженного эха повторился при отливке второй пули.

— Третья, — прогремело эхо.

Полотенца, сапожки, одежда — все ливнем полетело из шкафов, изображая полет хищных птиц. Загремел гром — это мы заколотили по железной печи щипцами и кочергами. С пронзительными криками появились ведьмы. «Волчья долина» разыгрывалась только в то время, когда воспитательница находилась «с другой стороны». Но иногда шум и рев долетали до нее, и тогда по усмотрению дежурной мы получали мягкое замечание или же нам снижали отметки. Сниженные за поведение отметки означали, что, возможно, придется предстать перед Варварой Ивановной, чтобы получить подходящий нагоняй. За повторно сниженные оценки нас лишали посещения театра. Однажды и меня за небольшую провинность оставили без посещения театра — я окунула голову Лидии в ведро с мыльной водой, оставшейся после мытья полов. Нельзя сказать, чтобы она сильно возражала, она даже попросила у меня прощения за то, что меня из-за нее наказали, но в тот момент она не смогла удержаться от крика, пришла классная дама, и мне пришлось во всем признаться. С грустью я пропустила спектакль. Училище казалось совершенно покинутым в воскресенье. Давали «Коварство и любовь», и я знала, что там будет достаточно оснований для волнений и слез.

Когда учебный год заканчивался, старшие ученицы переезжали в загородный дом на Каменном острове. Летними вечерами острова заполняли нарядные экипажи. Весь светский мир, оставшийся в городе, стекался на Елагин остров, куда вели тенистые аллеи и откуда открывался обширный вид на залив. Люди ходили туда полюбоваться закатом. Прямо у моста, ведущего на Елагин, по которому проезжали все экипажи, стоял наш

деревянный особняк. Двухэтажный барак, он развернулся обратной стороной к модным виллам. Все окна выходили в сад. Высокая ограда окружала дом со всех сторон. Словно маленький и смешной оплот невинности, стоял он, скромный и обшарпанный, у самых врат светской жизни. Переезд туда занимал всего три четверти часа. Там было все просто и удобно. В самой большой комнате, хотя и не слишком просторной, стояли зеркало и станок. Каждое утро мы практиковались за ним, по очереди возглавляя танцующих. Все мы отличались упорством и жаждой преодолеть технические трудности. Остаток утра мы сидели на крытой веранде; пока одна из нас читала вслух, остальные распарывали старые голубые платья. В то лето мы читали историю Средних веков и Ренессанса. Книга давала полную картину того периода, но все, что я помню сейчас, — так это прически с косами флорентийских дам, в которые часто вплетались шелковые нити. Два часа образовательного чтения были конечно же не нашей выдумкой. Воспитательница обычно сидела рядом с нами, занимаясь каким-нибудь рукоделием.

Острова, столь посещаемые прохладными вечерами, были совершенно пустынным днем. Так что нас, конечно, водили на прогулку днем, и мы не встречали ни души, разве что полицейских или несколько детских колясок, время от времени на затененных тропинках попадались робкие влюбленные. Мы неизменно прогуливались парами, почти не останавливаясь. Однажды мы наткнулись на какого-то человека, сидевшего на скамейке. При нашем приближении он поднялся; потерянный пьяный человек, пошатываясь, направился к нам.

— Боже! — воскликнул он. — Я-то думал, что это маршируют голубые кирасиры, а это девочки.

Но более привлекательным, чем ухоженный парк Елагина острова, казался мне Каменный остров. Его аллеи даже днем купались в приглушенном зеленоватом свете. Зелеными были пруды, зелеными были каналы, поросшие водорослями. Грустно выглядели жилища, стоявшие вдаль, большинство из них неопределенного вида; но то тут, то там попадался красивый фасад, веранда с деревянными пилястрами, наполовину скрытая разросшимися кустами сирени, они стояли покинутые и жалкие, ожидая, когда их постигнет полный упадок. Жизнь покинула это когда-то фешенебельное место. Богатые новые виллы выстроились вдоль берега реки.

Осенью 1901 года я получила «белое платье». Младшие воспитанницы носили коричневые платья; розовое платье служило знаком отличия, а белое — высшей наградой и перешла в старший класса Гердта. Наша группа работала в большой репетиционной комнате, связанной мостом с нашим крылом. Переход был холодным зимой, и, чтобы перейти через него, мы натягивали свои полубархатные сапожки поверх танцевальных туфель. Репетиционная была намного больше, чем любой из танцевальных классов, и уклон пола точно соответствовал уклону сцены. Я сочла хорошим знаком, что мое место у станка находилось под портретом Истоминой. Учитель был доволен мной.

— В вашей работе появилось нечто новое, — однажды сказал он. — Она становится все более артистичной.

Он даровал мне беспрецедентное отличие, добавляя плюс к самой высокой оценке, которую ставил в конце каждой недели.

— Твое будущее определено; ты счастливица, — говорили мне девочки.

Последние годы в школе были своего рода пробным камнем будущей карьеры. Хотя ученицы старших классов появлялись в балетных спектаклях намного реже, чем маленькие, нас уже знали из школьных показов, нас обсуждали артисты и заранее предвкушали появление многообещающих учеников. Внутри нашего школьного мирка уже складывались определенные репутации. Я забыла о боли, когда наш дантист сказал мне:

— Имей терпение, у будущей примы-балерины должны быть хорошие зубы.

Между собой мы часто обсуждали будущее с присущим юности оптимизмом. Мы распределили между собой все лучшие партии. Этика запрещала нам выбирать роли, на

которые уже предъявила права другая девушка. Между собой мы решили, что Лидии следует взять «Коппелию». Мне предназначались драматические балеты — бесполезное, но счастливое занятие. Мы стояли в преддверии сцены в ожидании, когда же мы вступим на нее и завоюем ее. Мысли о трудностях, подстерегающих нас на пути к успеху, не приходили нам в голову.

Одной из учениц, переданных мне на попечение, была маленькая Лопухова. В маленьком ребенке с лицом серьезного херувима было забавно наблюдать ту подчеркнутую значительность, которую она вкладывала в свои движения. Танцевала ли она или говорила — все ее существо трепетало от волнения. С первого взгляда становилось очевидно, что она обладает яркой и обаятельной индивидуальностью.

Ученик московской школы Федор Козлов был переведен в наше училище на последний год обучения — время от времени осуществлялся обмен артистами между Москвой и Петербургом. Между двумя школами царил дух соперничества и раскола. В петербургском балете превалировало мнение, будто московские танцовщики во имя достижения дешевых эффектов приносили в жертву традиции — «танцевать на потребу галерки», так это называлось. Нас же считали слишком академичными и устаревшими. Определенная разница в исполнении была очевидной. Менее точные, а порой даже неряшливые в своих позах москвичи демонстрировали больше жизненной силы. В то же самое время, в отличие от нашего принципа выполнять любой сложный элемент так, чтобы он казался легким, они подчеркивали любой *tour de force*. Основной чертой танцовщиков-мужчин нашей сцены были чрезвычайная простота и сдержанность. Они намеренно оставались в тени, предоставляя балерине возможность проявлять свою грацию и расточать улыбки. У их московских соперников начисто отсутствовала подобная сдержанность: подчеркнутая выразительность, выставленная напоказ грация и наигранность характеризуют их танец.

Козлову предоставили право дебюта в нашем маленьком театре. Меня выбрали его партнершей в *pas de deux* (Па-де-де — одна из основных музыкально-танцевальных форм в балете, состоит из выхода двух танцовщиков (антре), адажио, вариаций сольного мужского и женского танцев и совместной коды.) Хотя к моей удачливости относились без зависти, все же это стало своего рода потрясением для девочек, заканчивающих в этом году училище. А мне предстояло учиться еще два года для нас выбрали *pas de deux* из старого балета «Своевольная жена», в нем когда-то танцевала Дзукки, а теперь он полностью сошел из текущего репертуара. Удивительно, но во время этого первого серьезного испытания я совершении не ощущала страха сцены. Меня охватило неизъяснимое волнение. Минуты перед выходом на сцену казались почти невыносимыми от состояния неизвестности. Мне говорили, что я была смертельно бледна, несмотря на румяна на щеках. И в этом не было ничего необычного — после напряженных занятий в классе, когда девочки становились красными как свекла, я только бледнела еще больше. Бледность у меня была и признаком волнения.

Христиан Петрович Йогансон присутствовал на этом представлении. Это был уже очень старый человек, почти девяностолетний, слепой на один глаз. Но он еще преподавал, вел класс усовершенствования и был окружен всеобщим уважением, доходящим до благоговения. По такому случаю его сопровождали, опасаясь, что он сам не найдет дорогу. По окончании спектакля я увидела, как он уходил из партера, поддерживаемый под руки с обеих сторон братьями Легат. Среди зрителей был мой отец, он подошел поздороваться со своим бывшим учителем. Позже отец передал мне слова, сказанные ему стариком:

— Предоставьте эту девочку себе, не учите ее. Ради бога, не пытайтесь отполировать ее природную грацию, даже недостатки — продолжение ее достоинств.

Этими словами славный ветеран словно благословил меня в преддверии моего творческого пути. Два года спустя я стала его ученицей.

Критический отзыв маэстро Чекетти передали мне его ученицы.

— *Una bella fanciulla*, (Красивая девушка) — сказал он, — но все же слабое создание. Приблизительно за месяц до спектакля мой учитель стал усиленно со мной заниматься. Он не жалел ни сил, ни времени. Каждый день он приходил специально ради меня. Он дал мне нечто большее, чем простую техническую подготовку, с любовью и заботой он формировал тонкую ткань еще нераскрывшегося темперамента. Он стал общаться со мной совершенно по-новому: теперь ласково прощался со мной, а не ограничивался бесстрастным кивком, обычным для учителя, отпускающего с урока своего ученика. Такие кажущиеся мелочи, как теплое пожатие руки или похлопывание по плечу при прощании, порождали во мне чувство глубокой благодарности и приязни. Робкий неопит, стоящий в дверях храма, не мог с большим благоговением преклоняться перед первосвященником, чем я преклонялась перед любимым мастером. Никакие слова не могут адекватно описать сладкий «бред» того времени. Дни Великого поста с вибрирующим звуком церковных колоколов; сердце кроткое и исполненное благочестия; Лучи солнца приближающейся весны; приоткрывшиеся лепестки только что рожденного восторга; блекнущее и куда-то отступающее чувство реальности, все усиливающееся очарование. Я стояла в светлом мире, и магический круг сомкнулся вокруг меня. Мой первый «роман» стал результатом этого неофициального дебюта. Вслед за школьным спектаклем последовала Пасха. Мы получили трехдневные каникулы. Нервное и физическое напряжение последнего месяца подрывало мои силы. Легкая простуда, которая в другое время прошла бы незамеченной, заставила меня свалиться. По возвращении в училище меня отправили прямо в лазарет. Заболевание не было инфекционным. Время от времени девочки прибегали навестить меня по дороге в аптеку, Лидия даже умудрялась незаметно проскользнуть во время перемен. Она была чрезвычайно бесстрашной, и ее редко ловили. В одно из своих посещений она торжественно сообщила, что в меня влюблен Козлов. Он танцевал с ней в бальном классе и поручал ей передавать мне записки. Как наслаждалась она ролью наперсницы. Она изобрела целую систему обмена корреспонденцией и с большим увлечением претворяла ее в жизнь — над верхним рядом окон репетиционного зала проходила галерея, через которую можно было пройти на половину мальчиков. На галерее был выход на лестницу, ведущую в прихожую, обычно пустую по утрам. Лидия решила, что письма следует прятать там, под небольшим баком с водой, и умудрялась забегать туда и брать записки. Как ей удавалось это проделать под бдительным оком воспитательницы, я не могу понять и по сей день, но тем не менее удавалось, и она упивалась этой своей деятельностью. Полдюжины писем с той и другой стороны, пасхальное яйцо, букет красных гвоздик, две или три встречи дома в дни летних каникул — такова краткая история нашего романа. Я еще училась, когда Козлова приняли в труппу. Встречаясь с ним впоследствии, мы ни словом не обмолвились о своем детском увлечении.

После болезни у меня развилась острая анемия, и мама добилась для меня позволения провести лето дома. Она хотела отвезти меня к морю, и этот план решительно поддержала Варвара Ивановна. Но маме не удалось привести свой план в исполнение. Отец получил работу в одном из частных летних театров в городе и не мог поехать, а содержать два дома мы были не в состоянии. Мама сняла небольшой дом в Старой деревне. Парадные дома стояли вдоль берега Невы, напротив Елагина острова. Дальше от реки вдоль пыльной дороги тянулись грязные убогие домишки, садики были завешаны бельем, повсюду громоздились груды мусора. Мы жили на краю деревни, неподалеку от капустного поля. Хотя острова находились совсем близко, по другую сторону моста, мама просила меня не ходить туда, опасаясь, как бы я не встретилась с кем-нибудь из училища, ей не хотелось, чтобы кто-то узнал, что я не отдыхала на море.

Лева проводил большую часть времени за книгами на чердаке. Он усиленно «потчевал» меня серьезной литературой, не одобряя получаемое мною в училище образование. Он называл его «грошовым». Я покорно соглашалась читать философские эссе, полюбила «Илиаду» в прекрасном переводе, но восстала против популярных книг по астрономии,

которые пытался навязывать мне Лев. Он купил подержанный заржавевший телескоп и время от времени забирался на крышу, чтобы понаблюдать за звездами. Астрономия со своей вереницей непостижимых чертежей и цифр иллюстраций казалась мне невероятно скучной, и все увещевания Левы оставляли меня равнодушной. Наши вкусы совпадали, когда дело касалось монографий о художниках и рисовальщиках. Особенно мне нравились иллюстрации к сказкам Швиндта. Очарование изящного впервые открылось мне в этой книге. Прежде я восхищалась пышными высокими прическами балерин, с которыми они выступали независимо от роли. Теперь же, рассматривая маленьких принцесс, с гладко причесанными на прямой пробор волосами, с косами, уложенными на ушах кольцами, я почувствовала, что существует иной идеал красоты, отличный от общепринятых канонов.

Я не могла прочитать текст, так как не знала немецкого, да, думаю, он немного бы добавил к первому интуитивному пониманию стиля, пробужденному во мне иллюстрациями. Они вызвали во мне целый хорodus мыслей, оказавших мне неоценимую службу в последующие годы.

## Глава 11

Теляковский. — Дифтерия Лидии. — Школьный спектакль. — Китайский театр в Царском Селе. — Выпускные экзамены. — Мой первый гардероб. — Дебют. — Прощай, училище

Когда осенью я вернулась в училище. Варвара Ивановна встретила меня словами: «Похоже, твое здоровье ничуть не улучшилось. Каникулы дома не пошли тебе на пользу». Выводы школьного врача по поводу моего здоровья после медицинского осмотра тоже были достаточно пессимистичными. Я очень расстроилась, когда он покачал головой и объявил, что, по его мнению, я никогда не наберу достаточно сил, чтобы стать танцовщицей. Однако со временем я стала сильнее. Размеренный образ жизни, простая здоровая пища, просторные, полные воздуха помещения, периодические курсы лечения — режим школы в целом помог мне преодолеть анемию. Теперь я уже училась в последнем классе. Весной я закончу обучение, но мне исполнится только семнадцать лет, а по установленным правилам покинуть училище разрешалось лишь по достижении восемнадцати лет. Варвара Ивановна склонна была оставить меня в училище еще на год в качестве пепиньерки. Это означало, что я стану изучать только искусства: танец, музыку, пение, актерское мастерство и фехтование. Родители, естественно, хотели, чтобы я поскорее вернулась домой. Помимо нежной привязанности ко мне, мама принимала в расчет и вопрос моего жалованья, которое могло стать существенным подспорьем при наших стесненных обстоятельствах. Она посетила директора, но в разговоре с ним привела неудачный аргумент:

— Ваше превосходительство, вы же не захотите вычеркнуть целый год из жизни моей дочери только ради того, чтобы не создавать прецедента. Она получает самые высокие отметки и вполне подготовлена к выступлению на сцене.

— Меня удивляет, мадам, что вы считаете вычеркнутыми из жизни годы, проведенные в училище, — ответил директор. — Еще один год даст ей возможность в большей степени усовершенствовать свое мастерство.

Мама так и не получила определенного ответа, вопрос передавался на рассмотрение конференции училища.

Во главе императорских театров стоял теперь новый директор, Теляковский. Князь Волконский ушел в отставку. Это был человек, обладавший утонченным интеллектом, большими дарованиями и обширными познаниями в области искусства, в общении с людьми он всегда был доброжелательным и любезным. Об уходе Волконского очень сожалели. Вместе с ним исчез и тот престиж, который придавало императорской сцене его

прославленное имя. Его преемнику пришлось преодолеть настороженное и недоброжелательное отношение публики. Поначалу он был весьма непопулярен, но долгие годы разумной и здоровой политики заставили всех признать его достоинства. В своей репертуарной политике он явно придерживался национальной ориентации. Во время его директорства оперы русских композиторов на нашей сцене превзошли численностью иностранные оперы. Мода на итальянскую оперу, которую до недавнего времени субсидировало правительство, почти полностью отбила вкус у театралов к серьезной музыке. Теляковскому пришлось почти силой навязывать оперы Римского-Корсакова публике, не желающей их слушать. Но, несмотря на недоброжелательные отзывы, постановки нового директора всколыхнули театральный мир. Искренний интерес, злорадное любопытство, неистовые протесты — все это сопровождало новаторскую деятельность Теляковского.

В этом году из глубокого забвения извлекли и вернули к жизни «Дон-Кихота». Костюмы и декорации — подлинное буйство красок — были выполнены русскими художниками Головиным и Коровиным. Совершенно ничего не зная о новых тенденциях, наша балетная труппа, консервативная, отгороженная от окружающего мира высокой стеной и соприкасающаяся только с небольшим неменяющимся кругом балетоманов, была совершенно ошеломлена этим разрывом с избитыми традициями псевдореалистических декораций и устоявшимися канонами костюмов. Балерины сожалели о своих пышных тарлатановых юбках, начинающихся от линии талии. Новые костюмы были сшиты совсем ни другому, они обладали более мягкими линиями. Тело, не окруженное толстым слоем ткани вокруг бедер, казалось теперь более гибким и удлиненным. Реформа костюмов совершенно видоизменила силуэт танцовщицы. Отныне считалось обязательным, чтобы танцовщицы, занятые в «Дон-Кихоте», причесывались на испанский манер: гладко уложенные волосы с пробором на боку *иассочесоеurs* (Завитки на висках или на лбу.) Поначалу глаз не мог привыкнуть к этому новшеству, впрочем, значительно более странными кажутся нам теперь фотографии балерин в костюме дочери фараона, завитые и уложенные по последней моде волосы которых украшает цветок лотоса. Для того чтобы поставить «Дон-Кихота», из Москвы приехал Горский. В его режиссуре появился совершенно новый для нас элемент — прежде кордебалет после исполнения своего танца оставался пассивным и почти никак не реагировал на игру главных героев. У Горского же кордебалет не просто исполнял отдельные танцы, а стал органической частью сюжета.

Мне поручили в «Дон-Кихоте» очаровательную маленькую роль — кудрявого, белокурого Амура, появляющегося в саду Дульцинеи в короткой серебристой тунике. Появление озорного маленького бога приводило к ряду забавных сцен. А в конце я возглавляла целый рой купидонов, партии которых исполняли младшие ученики. Девочки раскритиковали мой костюм: «Как пряничный ангел с рождественской елки», — но мне нравились и роль, и костюм, и я с упоением командовала передвижениями своей маленькой армии купидонов. Мы с, Лидией должны были исполнять роль Амура по очереди, но болезнь помешала ей получить свою долю успеха. Приближалось Рождество, и в предвкушении трехдневных каникул она пыталась скрыть свое недомогание, как обычно поступали и все мы. Опасаясь попасть в лазарет и лишиться каникул, мы порой прибегали к собственным методам лечения. Например, для избавления от ячменя существовало такое сильнодействующее средство.

— Плюнь мне неожиданно в глаз! — просила меня одна из девочек.

Элемент неожиданности считался эффективным средством против ячменя. А у Лидии вот уже несколько дней болело горло, и привычные средства не помогали. Она попросила меня осмотреть ей горло, мы забрались в укромный уголок — за высокое зеркало в пансионерской.

— У тебя все горло покрыто белыми пятнами, — сказала я после осмотра. — Наверное, ангина.

— Соскреби их, — попросила она. С помощью кусочка ваты, намотанного на шпильку, мне удалось удалить часть налета. Лидия сказала, что ей стало лучше, она теперь может глотать, и попросила позволения откусить от моего яблока. И мы съели его, откусывая по очереди. Той же ночью она разбудила меня — ей стало хуже. Я дала ей напиток воды из стакана, стоявшего между нашими кроватями. Утром она сдалась. Доктор поставил диагноз: дифтерия, и в карете «Скорой помощи» ее отправили в инфекционную больницу. Из предосторожности сочли целесообразным прервать занятия в школе, и мы провели дома на несколько дней дольше. Больше никто не заболел, хотя Варвара Ивановна предостерегла меня, мрачно заметив:

— Не удивлюсь, если ты тоже заболеешь дифтерией, вы были так близки.

Мои родители переехали из старого дома на канале, они нашли квартиру поменьше и подешевле в доме напротив церкви Заступничества Святой Девы. (По сведениям петербургских краеведов, родители Т.П. Карсавиной переехали на Торговую улицу (ныне улица Союза Печатников); на этой улице находились церковь Воскресения Христова и католическая церковь Св. Станислава.) Планировка квартиры была довольно нелепой — в большой комнате не было окон, слабый свет проникал туда, если дверь оставалась открытой. Я почему-то не чувствовала себя дома в этом жилище, и мама, по-моему, тоже тосковала по нашему старому дому. Мы по-прежнему не знали, выпустят ли меня из училища в этом году, и такая неопределенность чрезвычайно раздражала маму. Пришло время позаботиться о моем туалете. У меня еще не было своего гардероба, и во время каникул я носила мамины платья. Исходя из услышанных намеков, а также своей интуиции, мима заключила, что меня все же не оставят в училище еще на год, и решила меня «экипировать». Нас время от времени посещала ярославская коробейница. Мама заказала ей принести отрез хорошего домотканого полотна и кружево, а из глубин своего комода извлекла филигранный порт-букэ, который был на ней в день окончания Смольного института. Это было единственное украшение, которое она имела.

О закулисной жизни училища мама время от времени получала сведения от Облакова, помощника инспектора. Казалось, новости так и носились над чайным столом Облаковых, живших в большой комнате с низким потолком, в антресолях на Театральной улице. Их квартира находилась как раз над половиной мальчиков. Жена Облакова, бывшая танцовщица, сохраняла связи со своими бывшими коллегами. Доброжелательный конклав пророчил мне блистательную карьеру, и Анна Ильинична, женщина энергичная и острая на язык, неоднократно твердила маме, что стоит мне оказаться на сцене, я непременно произведу сенсацию.

Во время Великого поста маме сообщили, что в порядке исключения мне позволено покинуть училище в мае. И хотя я ожидала подобного решения, но все же такая перспектива немного напугала меня. Годами я жила, интенсивно готовясь к будущей карьере, и сама не заметила, как время подготовки перестало казаться мне преходящим; оно само по себе стало моей жизнью. К тому же я поняла, что моего мастерства еще недостаточно, чтобы достичь того высокого идеала, к которому стремилась; я-то думала, что, закончив училище, выйду на сцену, владея всеми секретами мастерства; лишь значительно позже я узнала, что сцена сама по себе школа, возможно, жестокая, порой беспощадная, но единственная, которая способна выковать мастерство актера.

Теперь время полетело стремительно. Одно важное событие с невероятной скоростью сменяло другое. Весь пост прошел в репетициях школьного спектакля. Он должен был состояться в Михайловском театре. Оба основных педагога — Гердт и маэстро Чекетти — подготовили по балету. Гердт поставил балет «В царстве льдов». И мы с Лидией исполняли там главные роли. Моя роль имела отчасти драматический характер, хотя в целом произведение было довольно слабым.

По традиции наш выпускной спектакль устраивался в Вербное воскресенье. Вербная неделя в целом вносила разнообразие в длительную монотонность поста; все живут в предвкушении Пасхи — самого почитаемого из всех религиозных праздников,



отмечаемых на Руси. На улицах раскинулись базары, где продавались забавные игрушки, свистульки, золотые рыбки, большие яркие розы из папиросной бумаги, восточные сладости и восковые ангелочки — только головки и крылышки. И верующие, и неверующие объединялись в общем веселье и предвкушении праздника, который несла с собой Вербная неделя.

Во время торжественной службы, проходившей в субботу вечером, одна пламенная мольба постоянно всплывала в мозгу: «Боже, помоги мне хорошо станцевать завтра». Если я почувствую себя достаточно сильной завтра, то все пройдет хорошо, повторяла я себе. В те годы недостаток сил очень препятствовал мне в работе. Тогда я еще не знала, что нас будут судить не по мастерству, еще далекому от совершенства, а по нашим потенциальным возможностям. Доброжелательное отношение публики, перетекая через рампу, выплескивалось на сцену. Самые строгие критики отмечали недостаток опыта, но робкое обаяние юности не могло оставить зрителей равнодушными. На наш спектакль могло попасть лишь небольшое количество абонентов. В первую очередь приглашали родителей, учеников и артистов. Те балетоманы, которым посчастливилось попасть на спектакль, рассматривали это как особую привилегию; каждому хотелось первым провозгласить рождение нового таланта, стать свидетелем первых шагов будущих танцовщиц. Я исполнила свою партию хорошо и после спектакля была бы на седьмом небе от счастья, если бы не один небольшой ляпсус: закончив трудное соло и вернувшись за кулисы, я почувствовала такое огромное облегчение, что совсем забыла о том, что должна еще раз выйти на сцену, чтобы исполнить небольшую коду. Пребывая в полном блаженстве, я стояла за кулисами, в то время как оркестр играл мою мелодию, а сцена на какое-то время оставалась пустой. Когда же я поняла, что натворила, меня настолько сокрушило сознание собственной вины, что радость победы мгновенно испарилась. Разумеется, никто, кроме учителя и соучениц, не заметил ничего неладного. Учитель только добродушно посмеялся, когда я подошла к нему, заикаясь, бормоча извинения; он остался весьма доволен своими двумя любимыми ученицами — Лидией и мной.

Вскоре будущее снова улыбнулось мне, и на мою долю выпала огромная удача — готовился гала-спектакль в честь предполагаемого визита президента Французской Республики Лубе. Для участия в представлении пригласили лучших артистов. Из Москвы должна была приехать Гельцер, предполагалось, что она разделит успех с Матильдой Кшесинской. Но то ли Гельцер действительно заболела, то ли решила уклониться от участия в спектакле, в котором главную роль отдали другой танцовщице, — я точно не знаю, но в театр она не явилась. Теляковский, не придававший никакого значения закулисной иерархии, отдал распоряжение, чтобы ее роль исполнила я; такого еще не бывало, чтобы ученица выступала с выдающимися танцовщицами.

Давали «Лебединое озеро», и я выступила в *pas de trois* (Па-де-труза — музыкально-танцевальная форма в балете, повторяет построение па-де-де с вариацией третьего танцовщика.) с Фокиным и Седовой, моей покровительницей и наставницей в первые годы обучения. Она благосклонно отнеслась ко мне и добрым советом помогала преодолеть технические трудности. Обладавшая непревзойденной виртуозностью, Седова была тогда уже неофициально признана примой-балериной.

Во время репетиций на меня обратила внимание Преображенская, по грациозности и изяществу не было ей равных. Безграничное обаяние сочеталось в ней с умением трезво оценивать. Она всегда видела основу совершенства. Чрезвычайно остроумная, она умела великолепно имитировать.

— Ну, юная красавица, — говорила она мне. — Начинай! Покажи, на что ты способна! Следи за своими руками, если не хочешь, чтобы партнер недосчитался нескольких зубов. Гала-спектакль состоялся в Царском Селе, в Китайском театре, находившемся на территории Китайской деревни — изысканный каприз Екатерины Великой. Построенный в 1778 году театр сохранялся в хорошем состоянии, он стоял среди старинных, похожих на пагоды сосен. Внутри был необыкновенно очарователен: украшенные лаковыми

панелями ложи, красные с золотом кресла в стиле рококо, бронзовые люстры с фарфоровыми цветами — все эти драгоценные chinoiseries (Китайские безделушки) XVIII века.

За весь вечер ни разу не раздались аплодисменты. Сверкающая драгоценностями публика оставалась немой и пассивной, словно *tableau vivant*, (Живая картина) застывшая в свете многочисленных свечей. На представлении присутствовали императорская семья и весь двор. По окончании каждый артист получил подарок от императора, так полагалось по традиции после спектаклей, которые посетила императорская семья.

Не успели улечься волнения после выступления в Китайском театре, как учитель сообщил, что мне предоставили право дебютировать в последнем спектакле сезона.

Дебюты предоставляли неохотно — вот уже несколько лет их вообще не было. Выбор Гердта пал на *pas de deux*, созданное Вирджинией Цукки, «Рыбак и жемчужина». Моим партнером был назначен Фокин, в то время первый танцовщик театра.

Все мои помыслы разделились теперь между предстоящим дебютом и подготовкой к экзаменам. До сих пор меня переводили из класса в класс просто на основании оценок, без экзаменов. Учиться мне было легко, единственным камнем преткновения являлась математика. Мой мозг словно усыхал от цифр, и, когда дело доходило до счета в уме, приходилось прибегать к помощи дарованной природой «счетной машины», и я чрезвычайно ловко считала под своим фартуком из альпаки. Для подготовки к экзаменам мы разделились на группы, я занималась в паре с Еленой, умненькой девочкой, героиней многих притч батюшки. Она была очень добросовестной и каждое утро приходила, чтобы разбудить меня задолго до звонка. Мы шли в пансионерскую и читали заданный на этот день материал, а на ночь клали книгу под подушку — все мы верили в этот старый добрый обычай.

Я успешно сдала все экзамены, даже математику, и получила первую награду — книгу, которую сама выбрала. Я попросила «Фауста», что привело в смущение правление училища. Варвара Ивановна выразила мнение, будто «Фауст» не совсем подходящее чтение для молодой девушки. Мама рассказала мне о подробностях этого обсуждения, о чем в свою очередь узнала от Облаковой. В конце концов я все же получила «Фауста», роскошное подарочное издание с комментариями и множеством иллюстраций; на титульном листе была надпись: «Тамаре Карсавиной за успехи в учебе и примерное поведение».

Экзамены закончились, и в течение трех дней нас отпускали после полудня, чтобы мы могли сделать покупки. Предвкушение свободы будоражило нас. Изумительная новизна не испытанных доселе чувств придавала простейшим на первый взгляд явлениям своеобразный блеск. Сквозь призму собственного счастья весь мир казался мне прекрасным и добрым. Купец в Гостином дворе выслушал нас с большим вниманием; он обсуждал с мамой, будет ли мне к лицу розовая вуаль и серовато-бежевые кружева. Продавщица в лавке галантерейщика совершенно очаровала меня полезными советами, когда я совсем растерялась, не зная, какую шляпку выбрать — две из них мне особенно шли. В один из тех дней, когда мы занимались покупками, произошел случай, на первый взгляд совершенно незначительный, о котором, возможно, не следовало бы и упоминать, но он внезапно открыл мне всю глубину доброты человеческого сердца. По окончании училища каждая воспитанница получала 100 рублей на экипировку, довольно большая сумма тем временам, однако мне нужно было одеться с головы до ног. Чтобы денег на все хватило, мама решила поискать мне подержанные пальто и юбку на Александровском рынке. Она знала там одну честную еврейку, занимавшуюся перепродажей подержанных вещей хорошего качества. Я слышала о существовании еврейского рынка, но еще никогда там не бывала. Витрины лавок под аркадами выглядели весьма благообразно, там была выставлена скромная старомодная одежда, какую обычно носят жены лавочников и люди скромного достатка. Внутри находилась ротонда со стеклянной крышей, вполне оправдывавшая свое название «суетливый рынок». Владельцы лавок, евреи, держались

настороже, всегда готовые ухватиться за любого потенциального покупателя. Они были чрезвычайно говорливыми и пытались заполучить клиентов любой ценой, самые дерзкие доходили до того, что тянули покупательниц за юбки. Позднее я полюбила это место — маленькие, темные лавчонки привлекали меня значительно больше, чем претенциозные антикварные салоны, где каждая вещь имела свою цену, свою этикетку и свою историю. Но в день первого посещения еврейского рынка я совершенно растерялась. В ответ на прямое обращение считала своим долгом по крайней мере вежливо отказаться, что очень сместило маму, она велела мне не терять времени даром. Мы вошли в маленький чистенький магазинчик. Женщина приятной наружности, по имени Минна, пригласила нас подняться по лестнице в опрятную мансарду. Одно за другим снимала она с вешалок платья и показывала нам. Мама выбрала темно-синий костюм английского покроя. Мне он показался совершенно новым; на этикетке, пришитой изнутри, стояло имя Редферн. Пожилой муж Минны сидел в углу и делал какие-то записи в бухгалтерской книге. Он поднял глаза и увидел, как я примеряю легкую нарядную накидку. На моем лице, по-видимому, отразилось восхищение, я перехватила добрый взгляд и ласковую улыбку, с которой Минна обратилась к мужу. Она произнесла несколько слов, которых я не могла понять. Минна повернулась ко мне и перевела его ответ.

— Абрам говорит, что на вашем лице написана счастливая судьба. Когда-нибудь у вас будут все наряды, какие вы только пожелаете. Тогда вам не понадобится больше приходить к нам, — добавила она с легким вздохом.

— Ну и что из того, жена, — строго вставил Абрам. — Пусть этой молодой даме сопутствует удача. Мы только порадуемся за нее.

Его слова прозвучали удивительно искренне. В старом еврее проявилось подлинное величие. Я была растрогана. Мир встречал меня с распростертыми объятиями. На этом мое знакомство с Минной не закончилось. Нескоро я смогла заказать себе новое вечернее платье, и еще несколько лет Минна оставалась моей поставщицей. Даже когда отпала необходимость в подержанных платьях, я продолжала время от времени навещать своих приятелей, разыскивая то старинное кружево, то какую-нибудь оригинальную вещицу. Я привязалась к ним обоим. Это была патриархальная еврейская семья, с уважением относившаяся к родственным связям. Искренность их добрых пожеланий, которую тогда я инстинктивно ощутила, много лет спустя получила свое подтверждение. В 1927 году, когда я гастролировала по Скандинавским странам, в Гельсингфорсе меня навестила эмигрировавшая из России Минна. Абрам уже умер, и она жила теперь с замужней дочерью в каком-то маленьком финском городке. Ей пришлось проделать длинное путешествие только для того, чтобы повидать меня и вспомнить старые времена. В те дни, когда делались покупки, мы с мамой старались найти время, чтобы зайти домой и выпить кофе. Тогда к Лева каждый день приходили его приятели, чтобы вместе заниматься, это значительно сокращало расходы студентов, так как по одной книге могло учиться несколько человек. В первый раз, ненадолго зайдя домой, я вбежала в комнату Левы, чтобы показать свои потрясающие покупки, не ожидая застать там целую компанию. Но я тотчас же заметила, что моему появлению рады — Левины приятели поспешно вскочили, пригладили волосы и одернули пиджаки. Позже Лева сказал мне, что все они балетоманы и, как он подозревал, собирались у него главным образом потому, что он мой брат. Эти молодые люди относились ко мне по-рыцарски. Если во дворе появлялся разносчик мороженого, каждый старался угостить меня. Мне посвящалось множество стихов, и, пока я восхищалась творением одного из поэтов, оно подвергалось безжалостной критике со стороны других, которые в свою очередь пытались превзойти предыдущих.

Мой дебют в Мариинском театре должен был состояться 1 мая 1902 года. Мое *pas de deux* включили во второй акт «Жавотты». Накануне спектакля Лидия посоветовала мне подстричь как можно короче ногти на руке, чтобы «не поцарапать партнера». Ее дебют состоялся раньше моего, она танцевала со своим старшим братом и теперь могла давать

советы на основании собственного опыта. Я ощущала нетерпение, какую-то необычайную легкость, и у меня слегка дрожали ноги. Весь антракт перед выходом Гердт не отходил от меня.

— Не стойте на месте, разогревайтесь, — советовал он мне. — Смелее!

При первых звуках интродукции он перекрестил меня и поспешно направился в первую кулису, чтобы оттуда наблюдать за моим танцем. Среди зрителей находились мои родители и Лева. С ними пришла и Дуняша, но ее пришлось вывести, так как, увидев меня, она принялась громко рыдать.

Между тем вечером и сегодняшним днем пролегла целая пропасть. Мне пришлось пройти через множество сцен, через бесчисленное количество божественных воплощений, чтобы преодолеть огромное расстояние от полусознанного пыла первых выступлений до утверждения зрелых артистических форм. Вспоминать обо мне прежней — все равно что говорить о ком-то другом, который уже перестал быть мною. Теперь я могу смотреть на себя как бы со стороны, беспристрастно, со смешанным чувством иронии и нежности, и вижу перед собой фигурку грациозную и в то же время немного неуклюжую, со слишком длинными руками и ногами, с гладкими черными волосами, обрамляющими детское личико, бледное и чрезвычайно серьезное; и неискоренимая привычка приподнимать треугольниками брови, которая придавала редкой улыбке удивленное выражение. Мама называла мои приподнятые брови *accent circonflexe* (Аксан сирконфлекс — диакритический знак французского языка) и безуспешно пыталась отучить меня от этой привычки, уверяя, что из-за нее у меня появятся морщины. Но мне кажется, что в моем немного растерянном виде было нечто трогательное, поэтому я получила восторженный прием, явно превосходивший мое техническое мастерство. Публика чрезвычайно доброжелательно отнеслась к моей юности, застенчивости и наивности.

— Настоящая овалсия, дитя мое, — кивнув мне, бросила Анна Павлова, направляясь в свою артистическую уборную.

Театры закрылись на лето, экзамены закончились, но нам все же пришлось еще более двух недель ожидать торжественного акта, который состоялся 25 мая и ознаменовал собой официальное окончание училища. Дни лишились привычного содержания и стали казаться слишком длинными из-за отсутствия прежних занятий, но все же слишком короткими, чтобы вместить наши мечты. Большую часть времени мы проводили в маленьком садике, читая или болтая, но мои мысли постоянно куда-то улетали от книги. Календарь быстро «худел» и 24 мая прекратил свое существование. В канун великого дня мы долго не могли разойтись из пансионерской: закручивали волосы на бумажные бигуди, занимались своим любимым занятием, имитируя учителей, храбро спели запрещенные прощальные куплеты, довольно жалкую попытку коллективного поэтического творчества.

Я проснулась очень рано, задолго до звонка, и прежде всего подумала о светло-коралловом платье, ждущем меня в шкафу. Ему придется еще немного подождать. А пока в последний раз мы надели голубую саржевую форму, заплели косы и отправились в церковь на утреннюю службу и благодарственную молитву. Затем, поспешно проглотив завтрак, пошли в большой танцевальный зал, где собрались учителя и родители. Отец Василий произнес прощальное слово, и мы по очереди стали подходить к инспектору училища, который вручал нам аттестаты и награды.

Прощайте, «жабы» и преподаватели; прощайте, Варвара Ивановна! Все наши ссоры позади, осталось только полное взаимной нежности расставание. Прощайте, добрые горничные. Прощаемся с нашими комнатами, со всеми их укромными уголками. Короткая молитва перед иконой в дортуаре, светское платье, клятвы в вечной дружбе... и вот перевернута последняя страница школьной жизни.

Но к этой книге все же следует добавить несколько ненаписанных страниц. Театральная улица навсегда осталась святилищем ежедневного труда, звеном в неразрывной цепи, колыбелью творческих поисков, надежным прибежищем и приютом. Зеркальное

отражение вчерашнего дня исчезло, теперь то же самое зеркало, беспощадное, лишенное какой бы то ни было лести, словно добрый гений нашего усердия, будет отражать образы завтрашнего дня. Перед тем же самым зеркалом, под одной и той же крышей на беспристрастной Театральной улице начиналась, продолжалась и увядала карьера танцовщиц.

## *Часть вторая*

### МАРИИНСКИЙ ТЕАТР

#### Глава 12

Мариинский театр. — Бенефис. — Все возрастающая популярность балета. — Балетоманы. — Братья Легат. — Иогансон. — Светская жизнь

В то время, о котором я рассказываю, балетная труппа включала приблизительно 180 танцовщиков, большинство из них составляли женщины. По разрядам они распределялись следующим образом: кордебалет, корифейки, первые и вторые соло танцовщицы и балерины. Жалованье распределялось в зависимости от разрядов, которые пересматривались каждую весну, результаты публиковались в «Правительственном вестнике», официальной еженедельной газете. Страница этой газеты с информацией о балетной труппе вывешивалась на самом видном месте, в центре доски, рядом с сообщениями о репетициях и прочей информацией. Каждое утро, прежде чем зайти в репетиционный зал, актеры задерживались на лестничной площадке, чтобы изучить эту страницу, где появлялись сообщения о выговорах, штрафах, наградах и изредка слова благодарности. С чувством огромной радости — хоть я уже об этом знала — нашла я подтверждение того, что меня зачислили в труппу на должность корифейки с жалованьем 720 рублей в год. Эта сумма для первого года казалась мне огромной, по сравнению с 600 рублями, получаемыми обычно дебютантками. И дома мои 60 рублей в месяц восприняли как хорошую прибавку к семейному бюджету. Я, разумеется, отдавала все деньги маме, а она каждое утро выдавала мне сумму, необходимую на проезд. И это были единственные мои карманные деньги, поэтому я не могла ничего себе купить, хотя и любила рассматривать витрины магазинов. Порой у меня возникало желание что-либо приобрести, но, не имея такой возможности, я не испытывала ни чувства горечи, ни сожаления. Я жила в то время совершенно не думая о деньгах и была счастлива в своей бедности. Окружающий мир приносил мне много радости, и я ощущала себя его центром. Разумеется, мое счастье порой заволакивалось облачком печали, но не надолго.

Мариинский театр неизменно открывал сезон патриотической оперой «Жизнь за царя». Балетные спектакли начинались в первое воскресенье сентября. Труппа собиралась недели за две до открытия сезона. Этот первый сбор больше напоминал смотр войск — мы докладывали режиссеру о своем прибытии, возвращались домой и ждали вызова на репетиции. Извещали актеров пятеро состоящих в штате рассыльных. Они обычно разносили приказы пешком — каждый в определенном районе. Значительно позже в репетиционном зале установили телефон.

В своем первом спектакле я танцевала с солистками: Павловой, Седовой и Трефиловой, без пяти минут балеринами. Мне удалось избежать периода скучной, однообразной работы, через который вынуждено проходить большинство танцовщиц, прежде чем достичь какого-то положения: с самого начала я попала в число избранных. Моя карьера началась при благоприятных обстоятельствах. Политика нового директора способствовала продвижению молодежи — он всячески поощрял и поддерживал тех, кто подавал хотя бы малейшую надежду. В первый год мы с Лидией шли вровень. Нам часто давали одни и те же роли, а в некоторых балетах специально вводили танцы, где мы могли выступить

вместе, чтобы подчеркнуть контраст наших индивидуальностей. Каждая из нас приобрела восторженных почитателей. Когда мы вместе появлялись на сцене, оба лагеря объединялись и устраивали нам бурную овацию, и это порой вызывало недовольство наших старших коллег.

О, театр, двуликий Янус, твое суровое, нахмуренное лицо пока еще было скрыто от меня, хотя мудрые люди уже предупреждали о его существовании. Одна из танцовщиц, значительно старше меня по возрасту, известная своим благосостоянием и связями, вспылала ко мне симпатией. Надежда Алексеевна (Бакеркина Н.А. (1869—1940) — артистка балета московского Большого театра (1886-1896) и Мариинского театра (1896-1906).) никогда не стремилась к славе. Эту на редкость элегантную танцовщицу вполне удовлетворяло место в первой линии кордебалета.

— Не слишком обольщайся, театр — это рассадник интриг, — часто говорила она. — Как ты думаешь, почему она подарила тебе этот костюм?

Костюм, о котором шла речь, я нашла восхитительным и подарок сочла более чем щедрым.

— Посмотри на себя в темно-лиловом! — продолжала она. — Этот цвет годится лишь для обивки гроба, а не для костюма молодой барышни (Лиловый костюм Карсавиной подарила Кшесинская)

Надежда Алексеевна искренне привязалась ко мне. Ей доставляло удовольствие воспитывать меня в соответствии со своими представлениями о благоразумии и элегантности. Я была не слишком прилежной ученицей, совершенно равнодушной к своей внешности, и моя старшая подруга настаивала на том, чтобы я приходила к ней перед выходом на сцену, чтобы как следует меня осмотреть. Впоследствии она устроила так, чтобы я одевалась в ее уборной.

— Ну на что ты похожа! — часто в отчаянии восклицала она, поспешно поправляя мою прическу. — Если бы не твое лицо, публика просто смеялась бы над тобой.

Надежда Алексеевна придавала большое значение хорошим отношениям с публикой. Она приняла на себя роль моей наставницы. В те дни я в глубине души считала, что ужин в ресторане — поступок безнравственный. Однако к ней я ходила часто, хотя и не без опаски: я боялась встретиться с балетоманами, цвет которых собирался в салоне Надежды Алексеевны, а она никогда не отказывала в приеме посетителям.

Было время, когда большинство публики относилось к балету скептически, любителей же балета считали людьми эксцентричными. Теперь же балет перестал быть Золушкой и вошел в моду. И лучшим доказательством возросшего интереса к балету служит то, что стало очень трудно купить билеты или достать абонемент. Для того чтобы получить постоянное кресло, приходилось подавать прошение в контору императорских театров, но шансы на успех были столь незначительны, что в газетах часто помещались объявления с предложением больших сумм абонентам, согласным уступить свои места. Обычно абоненты цепко держались за свои привилегии. Ни один чужак не мог проникнуть в первый ряд партера, не зная заклинания «Сезам, отворись!», которое в порядке одолжения кто-то из балетоманов мог открыть своему другу. Но даже тогда на новое лицо, вторгшееся в их ряды, соседи бросали подозрительные взгляды. Кресла переходили от отца к сыну, а слово «балетоман», брошенное когда-то в насмешку, превратилось в титул, передаваемый по наследству. Подняв брошенную им перчатку, балетоманы с гордостью носили свое прозвище. Безусловно, некоторые из них имели свои личные мотивы для увлечения балетом, но все же превыше всего для них был культ этого изысканного и утонченного искусства.

Балетоманы представляли собой публику просвещенную, взыскательную, хотя зачастую догматическую и консервативную, но в то же время способную на проявление величайшего энтузиазма и восторга. Консервативны они были до крайности. Любая попытка предпринять что-то новое, малейший отход от старых канонов казались им ересью; любое изменение какого-нибудь па воспринималось ими с разочарованием, как

непочтительное отношение к балету. Они всегда с нетерпением ожидали исполнения некоторых любимых па. Даже со сцены чувствовалось, как весь зал затаив дыхание, замирал в предвкушении любимого фрагмента. Если фрагмент исполнялся хорошо, публика разражалась громом аплодисментов, хлопая в такт музыке. Репутации артистов создавались и рушились случайными репликами, небрежно брошенными завсегдатаями партера. Какая-нибудь иностранная знаменитость, выступив в нескольких спектаклях, могла проявить величайшую виртуозность, но, если у нее были слегка сутулые плечи, незамедлительно следовала оценка. «Летающая индюшка», — с манерной медлительностью тянул Скальковский, и эта фраза тотчас же облетала всех зрителей и подхватывалась ими. А какими тиранами казались эти балетоманы, к тому же чудовищно упрямыми: если однажды они находили у танцовщицы какие-либо недостатки, то уж ничто не могло заставить их переменить свое мнение. Они классифицировали танцовщиц, навешивая на них ярлыки: «грациозная», «драматическая», «лирическая» — и не поощряли попыток танцовщиц развить в себе иные качества, выходящие за пределы определенного для них амплуа. Преисполненные энтузиазма, они ни в коем случае не пропускали спектаклей. Когда Матильда Кшесинская уезжала на гастроли в Москву, первый ряд партера пустел — ее верные поклонники устремлялись за ней.

Балетоманы задних рядов партера и галерки были не столь значительными, но едва ли менее влиятельными — они тоже могли «короновать» и «свергать с престола». Возможно, им не хватало эрудиции и знаний в области балетной терминологии, но что касается непосредственности и искренности в проявлении восторга, в этом они превосходили своих «коллег» из первых рядов партера. В то время как партер соблюдал определенный декорум, галерка не щадила голосовых связок. Даже после того, как пустели первые ряды партера и гасили люстры в зале, галерка еще долго неистовствовала. Уже опускали железный занавес, приносили чехлы, а галерка все продолжала кричать. И последний ритуал — ожидание танцовщиц у выхода. Проходившие там манифестации определялись популярностью артистки: от молчания до исступленных оваций. Порой группа молодых людей провожала своего кумира на некотором расстоянии, составляя молчаливый эскорт. У зрителей галерки, или райка, как мы его называли, преклонение перед артистами носило идеальный характер. Молодое поколение демонстрировало подчеркнутое пренебрежение к шикарной публике партера. Моя относительная замкнутость, которая, по мнению Надежды Алексеевны, могла лишить меня поддержки влиятельных людей, стала наилучшей рекомендацией для зрителей галерки. Про меня говорили, что я никогда не принимаю приглашений на ужин. Моя сдержанность окружалась ореолом, я стала любимицей галерки. Не стоит удивляться этому идеализму и восторженности — они исходили от молодежи: студентов, гимназистов, молодых людей со скромными средствами. Но среди них были и свои ветераны, даже один дедушка. Если вовремя бенефиса галерка подносила актеру адрес, то дедушка возглавлял депутацию райка. Он был чиновником какого-то министерства, маленький, застенчивый человечек, с бородкой, одетый в опрятный форменный сюртук.

На галерке лишь небольшое количество мест принадлежало абонентам, все остальные поступали в продажу. Касса открывалась в восемь утра. Даже в самые жестокие морозы очередь вокруг театра выстраивалась уже с ночи, хотя даже это десятичасовое дежурство отнюдь не гарантировало приобретения билета. Со временем балет стал доступным для более широких кругов публики, и на спектакли стали попадать не только абоненты. Старые балетоманы не одобряли подобное новшество; они ворчали, если им приходилось пропустить представление, но никогда не опускались до того, чтобы посетить внеабонементный спектакль. Но в те времена о подобной мере никто и помыслить не мог: тогда китайская стена окружала мир балета — необычный мир со своей собственной культурой, узким кругом интересов, профессиональных сплетен, преднамеренным невежеством и нежеланием приобщиться к интеллектуальному прогрессу. И никто даже не пытался разрушить эту стену.

На вечерах у Надежды Алексеевны всегда царил дух игривой фамильярности. Когда я оказывалась среди этих пожилых балетоманов, будто почва уходила у меня из-под ног. Созвездие генералов за ее столом приводило меня в смущение, и я, наверное, выглядела довольно нелепо. Строгие школьные запреты остались уже позади, но привычка к сдержанности и скромности поведения сохранилась. Мне все время казалось, будто я все еще слышу пугающий шелест юбок Варвары Ивановны.

Хотя я и испытывала неловкость на приемах у Надежды Алексеевны, но любила эту женщину, принявшую на себя роль моей дуэньи, и бывала счастлива в те дни, когда она решала никого не принимать и пить чай только со мной и своей матерью. Комнаты матери на антресолях были заставлены шкафами, на которых громоздились шляпные картонки. Гостей своей дочери старушка называла «братцами», если она зевала, то никогда не забывала перекрестить рот. Иногда из какого-нибудь укромного уголка огромной квартиры неожиданно появлялись два гимназиста, сын и воспитанник Надежды Алексеевны. После чая мама или раскладывала с нашей помощью пасьянс, или гадала нам на картах.

Одним из важнейших событий каждого сезона был бенефис кордебалета. Уже за несколько месяцев до спектакля билеты на него бывали распроданы. В этом году пригласили балетмейстера из Милана, чтобы возобновить «Ручей» Делиба. Его первая постановка на нашей сцене стала и последней. Коппини зарекомендовал себя как хороший балетмейстер в театре «Ла Скала», и его методикой, очевидно, широко пользовались на итальянской сцене. Справедливости ради следует заметить, что если бы по этой постановке стали судить о состоянии итальянского балета, то, несомненно, сочли бы, что он пребывает в полном упадке. «Ручей» невольно стал едкой карикатурой на классические традиции; таков был результат деятельности постановщика, абсолютно лишённого воображения. Под восхитительную музыку Делиба черкесы размахивали своим оружием, наяды маршировали взад и вперед по сцене. Для построения артистов Коппини широко пользовался подставками: квадратные блоки на виду у публики выносились на сцену и устанавливались в нужном месте. Задние ряды взбирались на них, образуя громоздкие группы. Затем следовала перестановка, и подставки перетаскивали на другое место сцены. Подставки довольно широко использовали в балете, но никогда это не делалось столь откровенно. Петипа тоже использовал их, но более деликатно — их незаметно проносили под прикрытием выстроившихся в ряд артистов кордебалета. Балетная сцена по необходимости должна оставаться пустой, и большое впечатление может произвести возвышающаяся конструкция из человеческих тел, при условии если удастся скрыть неуклюжие подготовительные мероприятия. Подобные сценические эффекты в Мариинском обычно проходили безупречно. Заведующий сценой Лебедев имел в своем подчинении большой штат рабочих, надевавших во время спектакля специальные костюмы. Лебедев обычно помечал необходимые места сцены мелом. Для того чтобы рабочие лучше ориентировались, он рисовал на полу стрелки и диагонали. Вечером эти знаки затирали, оставляя лишь легкие следы мела, невидимые публике.

После нескольких месяцев напряженных репетиций спектакль, кричаще безвкусный, претенциозный, беспомощный, был готов. Он сохранился в репертуаре только благодаря изумительному исполнению Преображенской. Но даже ее непревзойденный артистизм не смог скрыть абсурдности сюжета и спасти его от насмешек. Он походил на пародию на шарады, разыгрываемые детьми. Старая ведьма заколдовала принцессу по каким-то причинам, не ясным даже самому постановщику. Конечно, ведьмы могут причинять вред просто по злобе, подобную ситуацию еще можно принять, единственное, что требует неискушенный зритель, — это найти адекватные объяснения всему происходящему. Принцесса каменеет, и ее уносят со сцены в коматозном состоянии. Ее возлюбленный взывает о помощи к доброй фее Ручья. Дальше происходит нечто непонятное: или чары оказались недостаточно сильными, или красавица просто выздоровела, во всяком случае, озадаченные зрители с изумлением увидели ее идущей по сцене в последней картине.



Поддерживаемая возлюбленным, принцесса направляется к ручью. Но то ли из необходимости размяться, то ли просто по капризу она отказывается следовать кратчайшим путем к ручью, расположенному в глубине сцены, и вместо этого направляется к рампе — следы былой окаменелости проявляются в ее застывшем лице, в замедленных движениях. Принцесса проходит вдоль рампы и обходным путем наконец добирается до ручья, где и стоит, прислонившись к стене, пока идет разговор с феей. Последняя, сама влюбившись *à jeune premier*, (Первый любовник) проявляет некоторые признаки нежелания помочь, но наконец окончательно возвращает принцессу к жизни, коснувшись ее лба красным тюльпаном. Появляются черкесы, чтобы отпраздновать свершившееся чудо; фея сзывает своих бабочек, и все танцуют до тех пор, пока фея внезапно не решает умереть, и делает это как раз вовремя, чтобы закончить балет апофеозом на пьедесталах.

Мы, артисты балета, не допускали в ту пору ни малейшей критики, мы еще не были охвачены брожением умов. Мы конечно же сравнивали различные постановки, но никогда не ставили под сомнение принципы хореографического решения. Однако вопиющая абсурдность и дурной вкус этой постановки пробудили у артистов ироническое отношение. Но подобное отношение ни в коей мере не повлияло на наше стремление станцевать как можно лучше — дисциплина прочно укоренилась в нас. Единственное, что мы себе позволили, — пародировать отдельные сцены и передразнивать нелепую походку балетмейстера с вывернутыми наружу ступнями. Престиж Мариуса Петипа, и без того высокий, достиг своего апогея. Актеры, как никогда прежде, оценили его исключительный талант. Безусловно, Петипа имел определенную склонность к процессиям, прерывающим действие, его балеты граничили с жанром феерий, все они строились по одному образцу, с неизменным счастливым концом и дивертисментом в последнем акте. И тем не менее Петипа был большим мастером: он великолепно расставлял кордебалет, управлялся с массами. Сложный, но всегда точный рисунок его групп разрабатывался с легкостью и в соответствии с логикой. С непогрешимым тактом использовал он *cours de theatre* (Неожиданная развязка) и обладал тонким чувством в использовании сценических эффектов.

«Ручей» предоставил мне хорошую возможность проявить себя. Мы с Лидией были в числе главных бабочек, и каждая из нас исполняла сольную вариацию. Коппини ласково называл меня Бамбина и был явно доволен моим рвением. В те ранние дни каждая новая роль приносила мне радость, каждая репетиция являлась священным долгом.

Исполнителей главных ролей и солистов часто вызывали на вечерние репетиции, большинству артистов это не нравилось, так как нарушало их планы. Я же с нетерпением ждала этих репетиций, словно праздника, — какое новое и восхитительное чувство быть принятой на равных артистами, чьи имена еще совсем недавно вызывали у меня священный трепет.

Ведущими танцовщиками были тогда два брата, Николай и Сергей Легаты. Они не только прекрасно танцевали, но и были способными рисовальщиками. Тогда они только начали альбом карикатур, который впоследствии опубликовали. Особенно язвительным был талант Николая, некоторые из его неопубликованных карикатур были просто ядовитыми, но он никогда «не выносил сор из избы» и пользовался большой симпатией артистов. Но настоящим любимцем всей труппы был младший брат, Сергей, его любили все. Красивый и неизменно доброжелательный, великодушный и верный товарищ, он обладал редким чувством юмора, который никогда не был обидным. Когда в репетициях происходили нежеланные перерывы, а это случалось довольно часто, мы садились в дальний уголок. Я подружилась с обоими братьями, они подавали мне знак присоединиться к ним. Николай обычно рисовал, а Сергей рассказывал свои бесчисленные анекдоты. Он заставлял меня повторять их, чего я часто не могла сделать — я обычно забывала их суть. Его это забавляло, и он весело смеялся. Сергей часто изображал сцену моего первого посещения класса, где ежедневно занимались все солисты. В то утро он опоздал и, не глядя по

сторонам, поспешил занять свое место у станка. «Великий Боже! Что за смешное маленькое существо склонилось передо мной в глубоком реверансе». Он склонился в ответном поклоне. Этот случай стал началом нашей дружбы. Моя чопорность стала постоянным источником шуток для него.

Я ощущала себя довольно беспомощной в классе. Старик Иогансон никогда не вставал с места, чтобы показать нам па. Он обозначал их неопределенными движениями дрожащих рук. Я долго не понимала, чего он хочет, и часто ошибалась. К тому же я боялась его, и от этого становилась вдвойне неловкой. Спрятаться за спинами других не было никакой возможности — у Иогансона был только один глаз, но сам Аргус мог позавидовать ему, и все мои маневры не ускользали от его внимания. В наказание старик приказывал мне выйти вперед на всеобщее обозрение, превращая в объект своих насмешек. Швед по происхождению, Иогансон говорил на ломаном русском, перемежая его с французским. Словарь его ругательств отличался необычайным богатством и разнообразием.

— Жаль, что ты слабоумная, — обращался он ко мне после каждой неудачи. — Какую танцовщицу я мог бы из тебя сделать.

Он показывал пальцем на лоб, потом постукивал по деке своей скрипки. На меня градом сыпались такие эпитеты, как «корова на льду». Но однажды он остался настолько доволен мной, что подозвал вошедшего в зал Мариуса Петипа:

— Вы только посмотрите, как она делает *jetees en tournant*. (Жете, от *jeter* — бросать, термин относится к движениям, исполняемым броском ноги; ан турнан, от *tourner* (*фр.*) — вращать, обозначает поворот корпуса во время движения.) — И пока я демонстрировала эти прыжки, Иогансон печально повторял: — Какая жалость! Танцевать она может, но так глупа.

Иогансон заставлял нас выполнять чрезвычайно сложные па, которые было трудно положить на музыку. Он клал скрипку на колени и играл пиццикато, используя смычок только для того, чтобы указать на сделавшего ошибку танцовщика, в девяти случаях из десяти — на меня.

— Я тебя вижу. Не думай, будто я не замечаю твоих заплетающихся ног.

Однажды произошла даже маленькая трагедия: рассерженный больше обычного, Иогансон, швырнув в меня своим смычком, крикнул:

— Идиотка!

Едва сдерживая рыдания, я повернулась и выбежала из зала. Сергей догнал меня.

— Вернись, мой ангел, вернись и попроси прощения; старик любит тебя. Будь благодарумной.

Он подвел меня к Христиану Петровичу. Я извинилась и в первый раз в жизни увидела, как он улыбнулся.

— Я учил еще твоего отца, — сказал он и взял меня за руку, влажную от пота. — Какая влажная, надо очистить кровь. Пей гамбургский чай. Где ты была вчера вечером?

— На благотворительном балу, Христиан Петрович.

— На балу! Вот еще! Мы никогда не ходили на балы. Поэтому-то ты и спотыкаешься, как старая кляча. Никаких балов для танцовщиц.

Мое послушание было столь велико, что я покорно стала пить гамбургский чай, и он совершенно нарушил мое пищеварение, в конце концов отец посоветовал мне отказаться от этого «лошадиного» средства. Со временем я поняла, что Легат был прав: старик не преследовал меня — так проявлялась его забота. С того дня у него появилась привычка — подзывать меня к себе и спрашивать, не была ли я снова на балу, и ощупывать мою руку. Когда Сергей видел, что я испытываю трудности, он занимался со мной отдельно. Он всегда был безгранично добр ко мне и постоянно опекал меня. По собственной инициативе помогал он мне разучивать поддержки. Безвременная трагическая смерть вскоре забрала у нас всеобщего любимца. Тогда каждый ощутил в душе пустоту, словно из нашей жизни ушел солнечный свет.

Дух товарищества в те дни был гораздо сильнее, чем впоследствии, когда с появлением новых идей начались разногласия. Те однообразные годы были полны неповторимого очарования. Я рада, что застала этот период нашего балета.

Бенефис кордебалета предоставлял публике возможность отдать дань уважения нашему кордебалету, высоко ценившемуся за свое великолепное мастерство. К тому же это был самый модный спектакль сезона, парад роскошных туалетов и драгоценностей. После спектакля устраивался банкет у Кюба, впоследствии такие банкеты стали традицией. А этот ужин стал первым, на который была приглашена вся труппа, к тому же первый вечер, который я провела в ресторане. Для меня слово «рестораны» всегда являлось синонимом порока, и до последней минуты я колебалась, размышляя, не будет ли лучше незаметно выскользнуть через черный ход и отправиться домой. Надежда Алексеевна поддразнивала меня:

— Почему ты так беспокоишься? Никто не собирается тебя похищать. Ты этого боишься? Я вдруг поняла, насколько смешно выгляжу, но все же выдвинула последний слабый аргумент, что это противоречит моим принципам.

— Пойдем, — весело сказала моя наставница, — и захвати с собой все свои принципы. Несмотря на принципы, я хорошо повеселилась в тот вечер и получила от него большое удовольствие. Compliments, которыми меня осыпали, внимание, которое мне оказывали, свет, музыка, веселье, блюда, которых я никогда прежде не пробовала, — все это почти вскружило мне голову. К тому же никто, похоже, не стремился меня похитить; так в чем же был порок? Иногда я ощущала уколы совести, хотя мама одобрила мое посещение ресторана. Дело в том, что я тогда была немного педанткой и недотрогой. За годы, проведенные в училище, составила план своей будущей жизни. Я собиралась стать жрицей своего искусства, стойкой, презирающей суетность мира. Довольно глупые стихи одного русского поэта, обращенные к актрисе, которые я когда-то давно прочитала, произвели на меня неизгладимое впечатление своим настроением, и я сделала их своим девизом:

Исканья старых богачей  
И молодых нахалов,  
Куплеты бледных рифмачей  
И вздохи театралов —  
Ты все отвергла... Заперлась  
Ты феей недоступной —  
И вся искусству предалась  
Душою неподкупной.

(Строки из стихотворения Н.А. Некрасова «Памяти Асенковой».)

На этом банкете были заложены основы прочной дружбы с ложей номер двадцать пять. Эта ложа бельэтажа принадлежала группе абонентов, друживших между собой. Я получила постоянное приглашение посещать ложу в те вечера, когда не танцевала сама. И мы с Лидией часто ходили туда. У меня никогда не было лучших, более преданных друзей. Эта ложа выделялась из всех прочих, так как двое из ее обитателей имели ассирийские бороды — настоящие «музейные редкости». Там же Присутствовал и хромой темпераментный адъютант, которого едва удалось уговорить не вызывать на дуэль родственника балерины, оскорбившей меня. Постоянным посетителем ложи был также моряк, известный под именем лейтенант Фуриозо. В перерыве между плаваниями лейтенант писал статьи о драме и балете. Он стал часто посещать наш дом, и, если меня не оказывалось дома, его вполне удовлетворяли долгие беседы с мамой. Он был ярким реакционером, а мама — либералкой, так что их беседы на политические темы всегда превращались в горячие споры. Но тем не менее мама любила его и охотно отпускала меня в его сопровождении в театр. Лейтенант страстно любил организовывать вечера.

Перед уходом в плавание его активность особенно возрастала, и мы никогда не были застрахованы от его внезапного появления с тем или иным предложением. Ни одна из нас не могла устоять перед настойчивостью и пылом этого шумного полного человека. Мы до смерти уставали от бесчисленных увеселений и вздыхали с облегчением, когда он уезжал. Но даже когда он был за тысячи миль от нас, его блуждающий дух нарушал наш покой: среди ночи приходили телеграммы, в которых сообщалось, что над Мальтой голубое небо, или тепло приветствовал нас из другого полушария, Иногда приходили посылки с консервированными фруктами или же с сеном, которое когда-то было экзотическими цветами.

## Глава 13

Моя первая главная роль. — Критика. — Расширение репертуара и повышение. — Дебют Бакста. — Кшесинская. — Отставка Волконского

Еще до окончания моего первого сезона в театре мне поручили первую главную роль в одноактном балете «Пробуждение Флоры». С радостью принялась я за работу. У балета не было сюжета — моя партия была чисто танцевальной, требующей более высокого уровня виртуозности, чем те партии, которые я до сих пор исполняла. Год выговоров со стороны Йогансона не прошел для меня даром — теперь я могла справиться со значительными трудностями.

Наступила весна, и светский сезон окончился, но это меня не беспокоило: весной я всегда пребывала в приподнятом настроении. Все шло хорошо. Мариус Петипа был доволен. «Tres bien, ma belle», (Очень хорошо, моя красавица — твердил он.) Все действительно шло хорошо до... генеральной репетиции. По-видимому, к тому времени я переутомилась, натерла пальцы ног, силы, казалось, покинули меня. Приближение премьеры вызывало у меня страх, доведивший до тошноты. Я совсем упала духом в немалой мере из-за того, что мои приятельницы по сцене постоянно внушали, насколько важен для меня успех в этой роли; другие, относившиеся менее доброжелательно, утверждали, будто слишком рано поручать мне столь ответственную роль. Как слова ободрения, так и обескураживающие утверждения в равной мере лишали меня душевного спокойствия. Однажды зароненная в голову мысль о возможном провале теперь постоянно подтачивала мое самообладание. Она словно гипнотизировала меня. Накануне спектакля дома произошла небольшая ссора, но мои нервы были слишком напряжены, и мама вышла из себя. Я проплакала почти всю ночь и проснулась утром с головной болью и распухшими глазами. Лев дал мне немного мелочи, чтобы я могла нанять извозчика и слегка проветриться. К вечеру я была в совершенно ужасном состоянии, в горле стоял комок. Я вышла на сцену с таким ощущением, словно должна была предстать перед судом. Все кружилось перед глазами, ноги дрожали, и я не могла удерживать равновесие. По окончании спектакля раздался гром аплодисментов, букеты заполнили всю сцену. Но это не радовало меня. Я расценивала свое выступление как провал. Одна надежда теплилась в душе: может, зрители не заметили моих ошибок, ведь они так тепло встретили меня.

Ведущим балетным критиком был тогда Скальковский. Он верил в мое будущее. Это был образованный человек, обладавший парижским лоском, истинный поклонник балета и автор нескольких книг по искусству. Свою истинную романтическую натуру он скрывал под язвительными остротами. Длинная статья, которую он написал по поводу моего дебюта во «Флоре», оставила меня в недоумении — я не знала, радоваться мне или огорчаться. Она, несомненно, была остроумной. Я до сих пор дословно помню некоторые фрагменты: «Балетоманы вооружились биноклями. Сидя на стульях, они вытягивали вперед шеи, чтобы не упустить из поля зрения люк, расположенный в глубине неярко освещенной сцены. Он медленно поднимается, и робко появляется юная танцовщица. Всё

взоры восторженно следят за ее аттитюдами, любуются неподражаемой грацией олененка, ее византийскими глазами, гибкими руками. Карсавина по своему происхождению принадлежит к народу, создавшему богов и героев, потомки которого сейчас ведут торговлю губками и рахат-лукумом... Пока еще рано выносить окончательное суждение по поводу способностей танцовщицы. Она подает большие надежды, но оправдает ли она их — покажет время. Мне было забавно наблюдать за поведением публики, особенно зрителей галерки при виде своей любимицы. Оно напомнило мне прием, оказанный новому губернатору местным помещиком. Он пригласил цыганский хор, чтобы тот пел после обеда. Услужливый хозяин подскочил к губернатору. «Как ваше превосходительство пожелает, чтобы они пели? С выкриками или без?» — «С выкриками», — последовал снисходительный ответ. Этим вечером молодую танцовщицу принимали с постоянными выкриками с начала и до конца; еще до того, как она начала танцевать, зал разразился аплодисментами и криками. А когда разнервничавшаяся дебютантка смазывала пируэт, аплодисменты даже удваивались...»

Мой «провал» не повлиял на возможность дальнейшего продвижения. Невозможно было проявить ко мне большей доброты, чем наш директор. Управляющий конторой, правая рука директора, вызвал меня однажды для беседы. «Я солгал бы, если бы стал утверждать, будто вы оказались па высоте положения, — но все мы понимаем, что это произошло из-за большого волнения и недостатка сценического опыта. Но у нас нет ни малейшего сомнения по поводу ваших способностей. Мы многого от вас ждем».

В следующем сезоне мне поручили роль в другом балете — «Испытание Дамиса». Двойная роль давала возможность играть, и это отвлекало от технических трудностей. Балет был поставлен в стиле XVIII века, а в этой эпохе я чувствовала себя как дома. Я не слишком много знала о том времени, но с детства испытывала к этой эпохе какое-то интуитивное тяготение.

К моему репертуару добавился и одноактный балет «Грациелла», где мне снова представлялись широкие возможности проявить свои актерские возможности в ряде комических сцен. Сергей Легат был восхитителен и смешон в роли ревнивого возлюбленного. Непосредственность его игры заражала меня и помогала лучше понять свою роль. К тому времени у меня стали появляться свои методы создания концепции роли: я представляла внешность своей героини — чем сильнее отличалась она от меня, тем легче мне было. Когда мне удавалось придать форму роли, я как бы отходила в сторону и наблюдала со стороны за воображаемой фигурой, за всеми эволюциями ее танца и игры. У меня было слишком мало знаний о драматическом искусстве, и неоткуда было получить совета. Отрывочные воспоминания о виденном, отголоски прочитанных в неограниченном количестве книг, привычка придумывать разнообразные истории, в которых принимала участие я сама и окружающие, были единственными источниками, питавшими мое воображение в те времена. Грациелла привлекала меня уже своим именем, оно вызывало у меня образ грациозной девушки с покатыми плечами. Ей очень подходила головка принцессы, выглядывающей из окна дорожной кареты, которую я видела в своей любимой книге с иллюстрациями Швиндта. И это вызывало ассоциацию с балетами 1850-х годов. Мои локоны вызвали большие сомнения у Надежды Алексеевны. Плечи мои стали время от времени опускаться, и мама делала мне замечания, чтобы я не сутулилась. Однако некоторые критики отметили чувство стиля как в «Грациелле», так и в «Дамисе». За мной сохранили и роль во «Флоре». Теперь я почти преодолела страх сцены, и мой успех постоянно возрастал.

Выступая третий год на сцене, я получила звание второй танцовщицы, и мое жалованье повысилось до 800 рублей в год. Одна из танцовщиц язвительно заметила, что увеличение жалованья пришлось мне кстати, принимая во внимание расходы по содержанию клаки. Но, насколько мне известно, в Мариинском не существовало организованной клаки: галерка слишком шумно выражала свою симпатию и антипатию, так что небольшая группа наемных клакеров не смогла бы сфальсифицировать чей-либо успех. Правда,

назывались имена некоторых танцовщиц, которые якобы пользовались услугами клаци, но я этим слухам не верю. Действительно, на галерке часто присутствовал человек по фамилии Виноградов, в прошлом кассир летних театров варьете, считавшийся предводителем клаци для иностранных артистов. Тогда я не была с ним знакома, и только много позже он стал моим бескорыстным и преданным приверженцем. Это был простой необразованный человек, обожавший театр, — этакая смесь хитрости и восторженности, а, в общем довольно трогательное существо.

Я уже говорила, что наш директор, Теляковский, много делал для поощрения национального искусства. Прежде эскизы декораций и костюмов из года в год делали одни и те же штатные художники. Теляковский занял иную, требующую большого мужества позицию — он пошел наперекор подобной традиции и привлек к работе в театре новых художников, таких, как Головин и Коровин, не принадлежавших к замкнутому кругу театральных декораторов, вскоре в роли театрального художника дебютировал и Бакст.

Эти художники вместе с Александром Бенуа, Добужинским, Судейкиным, Лансере и Сомовым сформировали ядро мятежников, восставших против устаревших принципов искусства. Благодаря неутомимой энергии Дягилева они объединились в группу под названием «Мир искусства», полностью отделившуюся от академиков.

В том же 1904 году Бакст создал декорации для «Эдипа» в Александрийском театре и для балета «Фея кукол». Я впервые встретила его на генеральной репетиции. Он выглядел как настоящий денди и был весьма привередливым. Бакст сразу же добился успеха, и все группировки шумно приветствовали его успех.

Последовательно придерживаясь своей политики, Теляковский прекратил приглашать иностранных балерин. Никто из наших танцовщиц не бывал еще за границей. Павлова выступала пока на нашей сцене. Балет того времени отличался редкостным изобилием талантов: восхитительная Трефилова; хрупкая изысканная Павлова, вернувшая наполовину забытое очарование «Жизели»; любимица публики, обладающая остроумием и законченным мастерством Преображенская; блистательная и дерзкая Матильда Кшесинская; Седова, способная в несколько прыжков пересечь всю сцену; красавица Мария Петипа; Егорова... Вокруг звезд собралась целая гирлянда начинающих танцовщиц — надежда театра. Наш кордебалет по праву был знаменит отточенностью мастерства и дисциплиной. И эти качества неизменно сохранялись. Время от времени в «Вестнике» появлялись подобные заметки: «Его превосходительство господин директор желает выразить свое неудовольствие кордебалету за то, что в последнем акте «Спящей красавицы» была нарушена линия...» «Строгий выговор за ношение драгоценностей с костюмами пейзажников актрисам...» Далее следовал список имен. Однажды и я испытала глубокое чувство унижения, когда прочла свое имя рядом с именем Лидии в списке оштрафованных — я перепутала дни недели и не явилась для участия в дивертисменте в опере, которая должна была состояться в пятницу, я же думала, что еще только четверг. Лидия, моя дублерша, настолько полагалась на мою надежность, что тоже не пришла в театр, хотя по инструкции все дублеры должны присутствовать на спектакле. На нас наложили штраф в размере месячного жалования, который должен был удерживаться частями в течение года. Некоторое время вычеты производились, затем управляющий конторой пригласил меня к себе; поговорив на разные темы, он как бы между делом посоветовал мне подать прошение о снятии штрафа. И штраф не только был снят, но в конце сезона нам вернули удержанные деньги, «принимая во внимание усердие, проявленное при исполнении своих обязанностей». Но должна отметить, что подобная снисходительность не была типичной и штрафы не являлись шуткой — просто к нам с Лидией начальство относилось чрезвычайно доброжелательно и покровительственно. Я вспоминаю еще один случай со штрафом, имевший серьезные последствия. Он произошел во время директорства Волконского. Однажды Матильда Кшесинская надела на спектакль свой собственный костюм, проигнорировав распоряжение Волконского выйти на сцену в

костюме, специально сшитом для роли. На следующий день она была оштрафована. Кшесинская рассердилась и стала добиваться отмены, и через несколько дней в «Вестнике» появился приказ министра двора об отмене штрафа. Князь Волконский тотчас же подал в отставку. Его заслуженно очень любили, и общество с негодованием восприняло неуважение, проявленное по отношению к одному из своих членов. В театре стали происходить враждебные манифестации, направленные против Кшесинской, — дорого она заплатила за свой кратковременный триумф. В ту пору она находилась на вершине своего таланта. По виртуозности она не уступала Леняни, а по актерским качествам даже превосходила ее.

Матильда сама выбирала время для своих спектаклей и выступала только в разгар сезона, позволяя себе длительные перерывы, на время которых прекращала регулярные занятия, и безудержно предавалась развлечениям. Всегда веселая и смеющаяся, она обожала приемы и карты; бессонные ночи не отражались на ее внешности, не портили ее настроения. Она обладала удивительной жизнеспособностью и исключительной силой воли. В течение месяца, предшествующего ее появлению на сцене, Кшесинская все свое время отдавала работе — усиленно тренировалась часами, никуда не выезжала и никого не принимала, ложилась спать в десять вечера, каждое утро взвешивалась, всегда готовая ограничить себя в еде, хотя ее диета и без того была достаточно строгой. Перед спектаклем она оставалась в постели двадцать четыре часа, лишь в полдень съедала легкий завтрак. В шесть часов она была уже в театре, чтобы иметь в своем распоряжении два часа для экзерсиса и грима. Как-то вечером я разминалась на сцене одновременно с Кшесинской и обратила внимание на то, как лихорадочно блестят ее глаза.

— О! Я просто целый день умираю от жажды, но не буду пить до выступления, — ответила на мой вопрос она.

Ее выдержка произвела на меня огромное впечатление. Я время от времени возвращалась с репетиций домой пешком, чтобы на сэкономленные деньги купить в антракте бутерброд. Отныне я решила отказаться от этой привычки.

В годы учения я восхищалась Матильдой и хранила, как сокровище, оброненную ею шпильку. Теперь я воспринимала каждое сказанное ею слово как закон.

С самого начала она проявляла ко мне большую доброту. Однажды осенью, в первый сезон моей работы в театре, она прислала мне приглашение провести выходные дни в ее загородном доме в Стрельне. «Не трудись брать с собой нарядные платья, — писала она, — у нас здесь по-деревенски. Я пришлю за тобой». Мысль о скромности моего гардероба сильно беспокоила меня. Матильда, по-видимому, догадалась об этом. Она подумала и о том, что я не знаю в лицо ее секретаря, поэтому приехала за мной на станцию сама. У нее гостила небольшая группа друзей. В роли хозяйки Матильда была на высоте. У нее был большой сад неподалеку от побережья. В загоне жило несколько коз, одна из них, любимица, выходившая на сцену в «Эсме-ральде», ходила за Матильдой словно собачка. Весь день Матильда не отпускала меня от себя, оказывая бесчисленные знаки внимания. За обедом она заметила мое смущение — мне не хватило ловкости, чтобы разрезать бекаса в желе, и, забирая мою тарелку, сказала:

— Пустяки! У тебя будет достаточно времени, чтобы овладеть всеми этими премудростями.

У меня создалось впечатление, что все окружающие подпадали под обаяние ее жизнерадостной и добродушной натуры. Но даже я при всей своей наивности понимала, что окружавшие ее лизоблюды источали немало лести. И это вполне объяснимо, принимая во внимание то положение, которое занимала знаменитая танцовщица, богатая и влиятельная. Зависть и сплетни постоянно следовали за ней. Весь тот день меня не покидало чувство недоумения — неужели эта очаровательная женщина и есть та самая ужасная Кшесинская, которую называли бессовестной интриганкой, разрушающей карьеры соперниц. Ее человечность окончательно покорила меня — в ее доброте по отношению ко мне было нечто большее, чем просто внимание хозяйки к застенчивой

девочке, впервые оказавшейся под крышей ее дома. Кто-то, поддразнивая ее на мой счет, бросил:

— Из вас получилась хорошая дуэнья, Малечка.

— Ну и что же, — ответила она. — Тата такая прелесть.

— Если кто-нибудь тебя обидит, приходи прямо ко мне. Я за тебя заступлюсь, — позже сказала она и впоследствии сдержала слово: ей представилась возможность вмешаться и вступить за меня. Я стала получать значительно меньше ролей, выяснилось, что директору внушили, будто у меня слишком много работы. Одна знаменитая балерина, не принадлежавшая, по-видимому, к числу моих доброжелательниц, неожиданно проявила чрезмерную заботу о моем здоровье, попросив директора не перегружать меня, поскольку я больна чахоткой. Директор, введенный таким образом в заблуждение этой напускной заботой, проявляя истинное сочувствие, стал постепенно сокращать мой репертуар. На следующее утро я вернулась домой, испытывая изумление перед открывшимся мне новым миром, исполненным блистательного веселья. Сад был освещен фонариками, дом весь звенел от музыки и смеха. С новым пылом спешила я на Театральную улицу, стараясь не опоздать на урок. В это яркое, веселое утро ранней осени я просто задыхалась от счастья.

## Глава 14

Болезнь. — Посещение Италии. — Беретта. — Николини. — Спектакль в дворцовом театре. — Шаляпин. — Успехи. — Дебют Нижинского. — «Восьмое чудо света». — Неприятный инцидент

Незадолго до закрытия сезона, в мае 1904 года, я заболела. Уже довольно долго я испытывала недомогание, часто выбивалась из сил, и танец мой стал хуже обычного. Я пока еще пользовалась любовью галерки, но в голосах критиков уже появились предостерегающие нотки. В их рецензиях на балеты появились упреки в мой адрес в недостатке точности. Какое-то время я пыталась преодолеть болезнь, но ее приступы внезапно и необъяснимо возвращались снова и снова. Когда мама пригласила наконец врача, он определил острую малярию. После нескольких приступов, последовавших один за другим, я почувствовала себя совершенно изнуренной. Врач сказал, что мне необходима перемена климата, и называл место в Итальянском Тироле, известное успешным лечением малярии. Но прежде всего он посоветовал убрать все цветы и растения из комнаты, где я лежала уже много недель. Многие приходили справиться о моем здоровье — я постоянно слышала звон колокольчика и голоса в передней, но мне не позволяли принимать посетителей. Матильда проявляла большое сочувствие и, встретив как-то маму, спросила, не может ли она чем-нибудь помочь. Я рада, что мама не захотела извлечь выгоды из ее любезного предложения. Мне предоставили субсидию и аванс, это дало маме возможность отвезти меня за границу. Двухмесячное пребывание в Ронсеньо помогло мне избавиться от лихорадки. Пришло время возвращаться в Петербург к открытию сезона, но за время болезни я утратила былую технику, к тому же я всегда мечтала поработать в Милане с синьорой Беретта из «Ла Скала». Трефилова и Павлова брали у нее уроки, и их изумительные успехи создали ей среди нас высокую репутацию. Так что мы решили воспользоваться своим пребыванием за границей и поехать в Милан. Мы отправились с визитом к синьоре, проживавшей на Виа дей Тре Альберги, и застали ее за обедом. Держа куриную ножку в одной руке, синьора Беретта величественным жестом другой пригласила нас в гостиную, где нам пришлось какое-то время подождать, пока к нам не вышла, шагая вперевалку, нелепая маленькая фигурка. Низенькая и толстенькая, она напоминала собой пирамиду, и это сходство еще более усиливалось благодаря чрезвычайно маленькой головке с жиденьким пучком волос на макушке. Судя по ее внешнему виду, ни за что нельзя было поверить, что она когда-то была величайшей



звездой «Ла Скала». Высохшие лавровые венки, увеличенная фотография, стоящая на мольберте, украшенном лентами с бахромой, и множество небольших снимков, изображающих синьору в молодости, всегда довольно полную, но твердо и безукоризненно правильно стоящую на пальцах, — все это представляло собой трогательную картину вокруг одинокой старой женщины. Она была чрезвычайно любезна. Договорились начать занятия через два дня, а за это время ее служанка Марчелла должна была сшить мне тюник и корсаж. К концу нашего визита синьора Беретта разговорилась; она провела меня по маленькой гостиной, показывая свои фотографии и перечисляя исполненные ею роли. Мы расстались друзьями, она потрепала меня по щеке. *A dorò domani, giovanina.* (До послезавтра, девочка)

Синьора Беретта давала свои уроки в одном из репетиционных залов «Ла Скала». Нас было человек пятнадцать учениц, я единственная иностранка, все довольно опытные танцовщицы, за исключением племянницы синьоры, маленького тшедушного создания; она не могла выдержать большой нагрузки и неизменно раньше или позже раздражалась слезами, что приводило в бешенство синьору. Она принималась стучать палкой по полу и кричать:

— *Piangi, piangi, maladetta!* (Реви, реви, проклятая!)

Все остальное время она сохраняла спокойствие и невозмутимость и никогда не вставала с кресла, чтобы показать нам новые па. Даже в самые жаркие дни колени ее были прикрыты пледом, а под ноги подложена красная подушка. Время от времени она кричала:

— Марчелла! — И старая служанка приходила растереть ей ноги.

После урока мы по очереди подходили к ней, а она протягивала руку для поцелуя, иногда она сама нас обнимала. Уже находясь в дверях гардеробной, ученицы почтительно восклицали:

— *Grazie, carissima Signora* (Спасибо, дорогая синьора!)

Методы синьоры Беретты были типичными для итальянской школы, не придающей значения грации отдельных движений, но неукоснительно требующей отточенности поз и *port de bras*. (Пор-де-бра — правильное движение рук в основных позициях с поворотом или наклоном головы, а также перегибом корпуса.) Все занятия были нацелены на систематическую выработку виртуозности, нам не давалось ни секунды отдыха во время работы у станка. Так что от меня потребовалась значительная выносливость и тренировка дыхания. Сначала было очень тяжело. Я привыкла к более мягкому методу и в первый день занятий потеряла сознание у станка.

Все танцовщицы были чрезвычайно благочестивыми — они зывали «*Madonna mia*» при каждом трудном па и иногда приглашали меня в маленькую часовенку, где стояла статуя Святой Девы — покровительницы танцовщиц. Сезон в «Ла Скала» еще не начался, так что итальянского балета я не видела. Из разговоров с людьми я пришла к выводу, что «*Эксельсиор*» представлял собой наибольший интерес, это, надо полагать, великолепное зрелище при участии тысячи исполнителей и живых слонов.

В Милане я посетила сапожника Ромео Николини. В Мариинском театре нам поставляли обувь парижского производства. Тот же, кто предпочитал итальянскую, мог заказывать ее на собственные деньги, получая истраченную сумму в конце года. Существовала определенная система распределения обуви: танцовщицы кордебалета получали одну пару на каждые четыре спектакля, корифейки — на три спектакля, вторые танцовщицы — на два спектакля, первые танцовщицы — на один спектакль, а балерины — на каждый акт. Я долго стояла в его мастерской, прежде чем решилась приблизиться к нему. Он был поглощен беседой на профессиональную тему с тремя девушками. Их руки описывали в воздухе красивые антраша и кабриоли, и, даже не зная ни слова по-итальянски, я без труда понимала, о чем они говорят. Одна из танцовщиц вышла на середину комнаты, подобрала юбки и проделала серию безукоризненных *ren-versees*. (Ранверсе — резкий перегиб корпуса в повороте) Николини одобрительно кивнул и сказал:

— *Ессо.* (Вот так)

Я занималась с синьорой Беретта два месяца, на прощание она ласково обняла меня и поздравила с успехом. Моя техника несомненно улучшилась под ее руководством: прыжки стали выше, положение на пальцах устойчивее, все позы — чище и точнее. Теперь я была готова оправдать доверие всех тех, кто возлагал на меня надежды. Я навлекла на себя недовольство начальства за то, что не вернулась вовремя. Некоторые из моих партий в мое отсутствие передали другим танцовщицам. Пришлось подождать, пока представится возможность продемонстрировать свое возросшее мастерство и изгладить не совсем благоприятное впечатление, оставшееся после моих последних спектаклей. Такая возможность представилась в «Пахите»: *pas de trois* первого акта — общепризнанный шедевр. Мое появление там ознаменовало собой новый этап моей карьеры. Отмечались новый блеск и точность исполнения, не прошел незамеченным и тот факт, что мне пришлось повторить соло, которое до сих пор считалось довольно скучным. В нашем замкнутом мире, где не обсуждалось никаких иных тем, кроме как успех или неудача состоявшегося накануне спектакля, обретенная мною энергия произвела своего рода сенсацию. Причем оценки своих коллег артистов мы боялись больше, чем враждебной критики газет, особенно опасались суждений артисток кордебалета, так как встречались здесь с беспристрастием профессиональных знаний, лишенных личных амбиций. Старшинство по возрасту, которое мы привыкли уважать со школьных дней, делало возможным, чтобы какая-нибудь неизвестная танцовщица кордебалета предпенсионного возраста могла дать совет Преображенской:

— Оленька, не сутультесь. Вчера на спектакле у вас торчали лопатки.

Совет с благодарностью принимался. Помню, как-то маэстро Чекетти рассказал мне однажды о великой Феррари: во время репетиций она обычно сажала в партер рабочего сцены, который должен был критиковать ее в обмен на стакан пива. Недоброжелательные отзывы не лишали его награды. Мои верные друзья, актеры, великодушно верили в меня. Порой мне была крайне необходима их вера: в те годы я подвергалась суровой критике со стороны ведущего балетного критика Светлова. Теперь-то я понимаю, что он делал это из добрых побуждений. Впоследствии я ни от кого не слышала более теплых слов, чем от него, но тогда его статьи подтачивали мою и без того хрупкую веру в себя. Меня охватывали приступы болезненного страха, и у меня заранее падало настроение, если мне приходилось выступать в тех партиях, за которые меня безжалостно раскритиковали. Каждый год несколько спектаклей устраивалось в дворцовом театре Эрмитажа, где сцена была достаточно просторной для постановки любого балета или оперы. На эти спектакли всегда назначался лучший состав, а танцовщиц кордебалета заменяли солистки. Особенно часто я вспоминаю вечер бала-маскарада, когда весь двор облачился в русские исторические костюмы. На императрице Александре Федоровне был надет тогда подлинный сарафан царицы Милославской. Танцую в тот вечер в кордебалете, где не требовалось слишком большой концентрации внимания, я могла всецело отдаться созерцанию окружающего меня великолепия. Я напрягала зрение, стараясь получше рассмотреть фигуры в полумраке зала. Хорошо были видны только три из них: царь и обе царицы. Молодая императрица в тяжелое тиаре, надетой поверх вуали, полностью скрывавшей волосы, своей строгой красотой напоминала икону; она держала голову так прямо и казалась столь напряженной, что я подумала: ей будет трудно наклоняться над тарелкой за ужином. Еще лучше я смогла рассмотреть ее в антракте сквозь дырочку в занавесе, вокруг которой разгорелась настоящая борьба; ее платье из тяжелой парчи было сплошь расшито драгоценными камнями. В артистической уборной, где переодевалась вместе с другими танцовщицами, я получила выговор за то, что надела старые туфли.

— Неужели нельзя надеть что-нибудь получше в честь императорской семьи? Ты выглядишь как настоящая нищенка.

Все присутствовавшие поддержали ироническое замечание, и мне пришлось надеть совершенно новую пару.

Я уже танцевала в Эрмитаже прежде, когда еще была воспитанницей училища, но тогда нас сразу же по окончании спектакля увезли и мы пропустили самое интересное — ужин. Кто-нибудь из членов императорской семьи приезжал, чтобы поужинать с артистами, чаще всего, как и на ;+тот раз, то был великий князь Владимир и его сыновья, унаследовавшие от отца его огромную любовь к театру. После отъезда великого князя мы все еще оставались за столом. Я сидела за дальним концом, где собралась молодежь, Сергей Легат смешил меня своими шутками. Я склонилась над столом, говоря ему в ответ какие-то глупости, было ужасно шумно, и мне приходилось кричать, чтобы он услышал. Вдруг наступила тишина, среди которой отчетливо прозвенел мой голос. Я испуганно подняла глаза и увидела на другом конце стола Шаляпина, комическим жестом протягивающего ко мне руки. Все смотрели на меня, улыбаясь какой-то его шутке на мой счет. От смущения я потеряла дар речи. Впоследствии, когда мы лучше узнали друг друга, я по достоинству оценила его остроумие и смеялась над его имитациями и чрезвычайно выразительными рассказами, но в тот вечер готова была разрыдаться от стыда. Но это еще не все. Воспользовавшись моментом, когда всеобщее внимание переключилось на что-то другое, я стала осторожно пробираться к выходу. Вдруг чья-то сильная ручища схватила меня, и изумительный голос с легкостью перекрыл гул голосов. И вскоре все слушали затаив дыхание: «В любви, как в злобе, верь, Тамара, я неизменен и велик», — пел Шаляпин.

Подарки, врученные нам в том году в Эрмитаже, были выполнены по эскизам самой Александры Федоровны. Я получила брошь с ее монограммой из рубинов и бриллиантов. Мне пришлось ждать еще два года, прежде чем я достигла предела мечтаний любой танцовщицы — получила главную роль в пятиактном балете. Теперь на расстоянии эти годы кажутся мне постоянным восхождением, тогда же они представлялись непрерывной цепью неудач, вызванных недостатком зрелости и множеством сомнений. Перестав быть баловнем публики, я достигла теперь такого положения, когда с меня много спрашивалось. Я должна была оправдать веру, которую прежде мне даровали «в кредит». Былую снисходительность сменила суровая требовательность. Мне пришлось переосмыслить свое положение, а это оказалось нелегким делом. Прежде всего я была абсолютно лишена практической сметки, совершенно не способна на интриги и не могла защитить себя от неизбежных нападков завистников. Я обладала честолюбием, но была лишена склонности к карьеризму, не имела никакого влияния на критиков, не было у меня и всесильных поклонников. Думаю, именно по этим причинам Теляковский принял деятельное участие в моей судьбе. В кругу танцовщиц моего возраста, где зависть не могла искоренить взаимную привязанность школьных дней, меня часто посылали представительницей, когда нам были нужны новые тарлатановые юбки или хотелось добиться каких-то небольших привилегий. Однажды я пришла к Теляковскому поговорить по поводу роли, вызвавшей весьма неблагоприятные отзывы критиков. С тяжелым сердцем я заявила, что готова отказаться от роли.

— Не обращайтесь ни малейшего внимания на газеты, — посоветовал Теляковский. — Вы не ужинаете с критиками, поэтому они и относятся к вам недоброжелательно. Лично я считаю, что эта роль вам подходит, и мне хотелось бы, чтобы вы сохранили ее за собой. Другой небольшой инцидент показал мне, сколь многим была я обязана своему руководству: как-то я попросила освободить меня от участия в опере под предлогом того, что у меня болит палец на ноге. На самом деле мне просто не нравилась роль. В тот же день многие видели, как я репетировала, не щадя пальцев ног. Никаких официальных заявлений не последовало, но во время следующего спектакля, когда я стояла за кулисами в ожидании выхода, управляющий конторой отвел меня в сторону. Он мягко пожурил меня за капризы и закончил словами: «Не стоит мешать нам подобными неблагоприятными выходками».

В 1906 году я получила свою первую большую роль в «Царь-девице». Дебют должен был состояться 13 января. Я хорошо запомнила эту дату, так как сочла ее дурным

предзнаменованием. Теляковский во время моего дебюта не присутствовал, какая-то новая постановка потребовала его поездки в Москву. По возвращении он прислал за мной. — Говорят, вы хорошо танцевали, но мне хотелось бы знать, что вы сами думаете по этому поводу.

Он был очень удивлен проявленным мною самоуничижением и, как потом мне рассказывали, ничего толком не понял из моих сбивчивых речей. Эта роль утвердила мое положение будущей балерины. Но следующую большую роль — Медору в «Корсаре» — мне дали только в следующем году, она стала этапной на моем творческом пути. Поиски вслепую остались позади, теперь я ясно видела свой путь к идеалу.

Никто не знал заранее о грядущей сенсации. Это удивительно, но в нашем узком актерском мире, вращающемся вокруг своей орбиты, где все так бдительно следят за появлением новых талантов, никто заранее не заметил звезду Вацлава Нижинского. Ему предстояло окончить училище весной 1906 года, а о нем еще не говорили. Это «восьмое чудо света» являлось неузнанным то в свите пажей, несущих шлейф королевы, то в сонме видений из «Раймонды». Я встретила с ним совершенно случайно. После смерти Иогансона заниматься с танцовщицами была назначена Соколова, которая проводила свои уроки каждое утро в большом репетиционном зале. Некоторые из нас, желавшие следовать традициям Христиана Петровича, занимались отдельно с Николаем Легатом, его любимым учеником. Постоянного места у нас не было — иногда мы занимались в одном из танцевальных залов для девочек, но по утрам, когда все они были заняты, поднимались наверх, на половину мальчиков. Я всегда испытывала неловкость, когда наша маленькая группка цепочкой шла по узкой галерее, проходившей над репетиционным залом. Впереди шел Легат и, словно бросая насмешливый вызов официальным занятиям, проходившим внизу, наигрывал на скрипке какие-то нелепые мелодии. Мне казалось, будто глаза Соколовой смотрели на меня со скрытым упреком, и я ощущала чувство вины. Отец очень хотел, чтобы я работала с ней, утверждая, что женщина, к тому же такая большая актриса, как она, может оказать мне неоценимую помощь. Со временем я стала ее ученицей.

Однажды утром я пришла раньше обычного; мальчики еще не закончили урок. Я мельком взглянула на них и не поверила глазам: один из мальчиков взлетел над головой своих товарищей и, казалось, повис в воздухе.

— Кто это? — спросила я Михаила Обухова, его учителя.

— Нижинский. Этот чертенок никогда не успевает опуститься на землю вместе с музыкой.

Он подозвал Нижинского и велел ему сделать несколько па. И моим глазам явилось чудо. Он остановился, и все увиденное показалось мне нереальным и невероятным. Мальчик, казалось, не осознавал, что делал нечто необыкновенное, он выглядел вполне заурядным и даже немного отсталым.

— Да закрой рот, муху проглотишь, — сказал учитель. — А теперь все свободны.

И мальчишки бросились прочь, словно горошины, просыпавшиеся из мешка, и их топот и болтовня глухим эхом отдавались в сводчатом коридоре. Пораженная, я спросила Михаила, почему никто не говорит об этом замечательном мальчике, ведь он вот-вот закончит училище.

— Скоро заговорят, — усмехнулся Михаил. — Не волнуйтесь.

Как только Нижинский появился на сцене, все единодушно признали его удивительный талант, но в целом к нему отнеслись довольно сдержанно. «У него неважная внешность, и он никогда не станет первоклассным актером». Труппа так же, как и публика, недооценила уникальные качества его индивидуальности. Если бы Нижинский попытался следовать общепризнанным эталонам мужского танца, то никогда не смог бы в полной мере раскрыть свой талант. Впоследствии Дягилев с почти сверхъестественной проницательностью открыл миру и самому артисту его истинную сущность. Жертвуя своими лучшими качествами, Нижинский доблестно пытался соответствовать

требованиям традиционного типа балетного премьеры до тех пор, пока чародей Дягилев не коснулся его своей волшебной палочкой: маска невзрачного, малопривлекательного мальчика упала, явив миру экзотическое создание, обладающее кошачьей грацией и обаянием эльфа, полностью затмившими приличную благообразность и благопристойную банальность общепринятой мужественности. Для Нижинского постоянно создавались вставные номера, и я неизменно была его партнершей. Впервые мы танцевали вместе *pas de deux* из старого балета «Роксана». Один чрезвычайно неприятный инцидент, связанный с этой работой, до сих пор жив в моей памяти. Мы вдвоем репетировали, как только находили свободный танцевальный зал. Впервые мы танцевали перед всей труппой на репетиции в театре. Я ощущала огромный интерес со стороны всех артистов и внимание, хоть и доброжелательное, но чрезмерно пристальное, и нервничала даже сильнее, чем во время спектакля. Мы закончили, и вся труппа зааплодировала. Вдруг из группы, стоявшей в первой кулисе, «святилище», предназначенном лишь примам-балеринам, вырвалась настоящая фурия и набросилась на меня:

— Довольно бесстыдства! Где ты находишься, что позволяешь себе танцевать совсем голой?..

Я не могла понять, что произошло. Оказалось, что у меня соскользнула одна из бретелек корсажа, обнажив плечо. Во время танца я этого не заметила. Я стояла на самой середине сцены онемевшая, растерянная под потоком брани, срывавшейся с жестоких губ. Подошел режиссер и увел пуританку, а меня окружила толпа сочувствующих коллег. Носового платка, чтобы вытереть слезы, у меня, как всегда, не было, пришлось воспользоваться тарлатановой юбкой. Преображенская гладила меня по голове, приговаривая:

— Плюнь ты на эту гадюку, дорогая. Забудь о ней и думай о прекрасных пируэтах, которые тебе так удались.

Слухи об этом скандале быстро распространились, и на ближайшем спектакле публика устроила мне овацию.

## Глава 15

Русско-японская война. — Преображенская. — Турне по провинции. — Странный прием в Варшаве

Во время Русско-японской войны 1905 года представления в Эрмитаже, естественно, прекратились, но жизнь театра текла по-прежнему. В нашем мирке батманы, антраша и пируэты оставались для нас явлениями первостепенной важности; удобно устроившееся в укрытии, искусство совсем не замечало собирающихся грозных туч. В зрительный зал извне проникали лишь глухие отзвуки далекой войны, пустующие кое-где кресла партера напоминали, что офицеры ушли на поля сражений. В антрактах посылали за последними сводками. Едва закончилась эта ужасная война, как в стране разразились новые бедствия. Но наш тесный мирок был по-прежнему погружен в свои собственные дела и теперь с нетерпением ожидал бенефиса Преображенской.

Нелегким был ее путь к успеху. Она начинала как танцовщица кордебалета и постепенно, шаг за шагом поднималась к вершине. Своей виртуозностью танцовщица была обязана своему учителю Чекетти, а возможно, в еще большей мере своему непоколебимому мужеству. Чекетти по утрам был занят в училище, Преображенская днем репетировала, а вечерами выступала в театре, принимая участие не только во всех балетах, но и почти в каждой опере, где присутствовали танцевальные дивертисменты. И только по окончании спектакля она шла на урок к маэстро, заканчивавшийся поздно ночью. Артисты очень уважали ее за настойчивость и любили за мягкий характер. Всех радовали ее успехи.

Преображенская назначила свой бенефис на 9 января. Я не принимала участия в спектакле и сидела в партере. Балерина выбрала свой шедевр «Капризы бабочки». Перед последним актом по театру поползли тревожные слухи: в городе вспыхнули волнения, толпы народа

ворвались в Александрийский театр и сорвали спектакль, теперь они направляются к Мариинскому. Началась паника, и театр быстро опустел, но на сцене как ни в чем не бывало продолжалось представление. У нас была хорошая дисциплина, которой предстояло подвергнуться еще более суровым испытаниям в будущем. По окончании спектакля я прошла за кулисы, где все артисты поспешно одевались, торопясь поскорее добраться домой. Я жила неподалеку от театра; у артистического подъезда меня ждал Лев. Я никогда не любила театральные кареты и пользовалась ими только в дождливые дни. Они развозили артистов в разные концы города, так что поездка занимала в два раза больше времени, чем прогулка пешком. К тому же у меня была страсть бродить по улицам и заглядывать в окна, были и любимые уголки в нашем районе, которые я знала как свои пять пальцев. Каждое из этих мест вызывало во мне свои ассоциации. Еще ребенком я выдумывала истории о людях, живущих в этих домах, и дополняла их все новыми и новыми подробностями во время каждой прогулки. В одном из переулков за церковью Михаила Архангела стоял деревянный дом, его ворота с панелями и пилястрами венчали две урны; небольшой архитрав и карнизы над окнами были украшены резными гирляндами, пронзенными стрелой. Это место носило грустное название — Упраздненный переулок. Окна нижнего этажа находились почти на уровне земли; за последним окном, склонившись над работой, сидела юная швея, еврейка с грустными глазами и кожей белой, словно камелия. Я проходила мимо так часто и смотрела так пристально, что в конце концов мы стали улыбаться и кивать друг другу. Однажды я не нашла ее на привычном месте; и больше она не появлялась. Тогда я придумала про нее такую историю: она влюбилась в христианина, они обо всем сговорились, она собиралась отречься от своей веры, но отец узнал о ее планах, проклял ее и выгнал из дома...

Несколько в стороне находилась лавчонка, где мы когда-то покупали грошовые книжки и где однажды я приобрела предмет своих вождлений — коробку, оклеенную бахромой из китайской шелковой бумаги. Теперь я иногда делала крюк и заходила сюда, чтобы посмотреть на свои фотографии, которые здесь продавались. Я любила заходить сюда и в некоторые другие любимые мною места по дороге в театр, чтобы преодолеть страх сцены, это успокаивало меня и возвращало душевное равновесие.

В ту ночь мы благополучно добрались до дому. Улицы были спокойными и пустынными. Лева рассказал мне все, что знал об этом страшном дне: этим утром священник Гапон повел рабочих к Зимнему дворцу, чтобы вручить царю петицию. Если бы император был в городе, трагедию, возможно, удалось бы предотвратить.

Брат Лидии Егорушка, тоже танцовщик, организовал для нас в то лето турне по провинции. Он был на много лет старше Лидии и заменял ей опекуна. По отношению ко мне он проявлял такую же грубоватую нежность, как и по отношению к сестре, но мы обе его немного побаивались. До начала провинциального турне он отвез нас в Варшаву, где один из полков праздновал свой юбилей. Мы танцевали в Большом театре; когда я стала выполнять пируэты, с галерки, занятой солдатами, вдруг раздался взрыв смеха. И так каждый раз, когда я становилась в арабеск, взрыв смеха сотрясал стены театра. К концу спектакля я слышала только подавленные смешки. После спектакля устроили банкет, и я, воспользовавшись случаем, спросила сидевшего рядом офицера, что так развеселило солдат. Оказалось, что многие из них не одобряли балета, считая его непристойным, другие же, больше всех смеявшиеся, проявляли таким образом свое изумление при виде стоявшего на одной ноге человека.

— Конечно, барышня свое ремесло знает, — сказал один из солдат офицеру. — Но ее, бедняжку, плохо кормят.

— Стоит на одной ноге и вертится как волчок, — хихикнул другой.

Егорушка принимал от нашего имени приглашения и сопровождал нас на вечера, играя роль дуэньи; когда же он сам куда-нибудь уходил, то запирал нас на ключ. «Так будет безопаснее, слишком много молодых людей слоняется поблизости». Мы с Лидией жили вместе в прелестной комнатке верхнего этажа старомодного отеля «Брюль».

Для летнего турне Егорушка собрал около пятнадцати артистов. Мы должны были иметь собственные костюмы, некоторые из них мне любезно одолжила костюмерша Мариинского театра. Эта «ссуда» была произведена неофициально, и я дала слово хранить все в тайне. На верхнем этаже Мариинского комната за комнатой были заставлены деревянными сундуками и корзинами с крышками. Костюмерша разрешила мне выбрать костюмы из множества тех, что вышли из употребления. Часть из них принадлежала артистам, о которых я имела лишь смутное представление, а о некоторых и вовсе никогда не слышала. Я чуть не забыла о цели своего посещения, погрузившись в размышления о балетах со столь тяжеловесными, но не лишеными причудливого обаяния названиями. И теперь так же, как и в детстве, некоторые имена и слова имеют надо мной почти сверхъестественную власть, они управляют моими действиями необъяснимым волшебством. Когда была еще ребенком, в одной из книг мне попало название Мадагаскар, я часто шепотом повторяла его, оно, казалось мне, имело все свойства, необходимые для заклинания. Я попросила позволения заглянуть в корзину с надписью «Роксана, краса Черногории», но ни один костюм оттуда мне не подошел, пришлось обратиться к балету «Вознагражденная добродетель, или Лиза, швейцарская молочница», там-то я и нашла подходящее платье пейзажницы (на балетном жаргоне мы продолжали называть крестьян пейзажами и пейзажками). Некоторые платья мы изготовили дома сами, мама помогла мне с испанским платьем для «Пахиты». Я сама связала сетку из золотых ниток, вспомнив, как плела в детстве гамаки. Наши самодельные творения выглядели, наверное, весьма примитивно, но я ими дорожила и берегла как зеницу ока. Поскольку дорожных сундуков у меня не было, я путешествовала, завернув свои костюмы в пеструю бухарскую шаль.

Судя по программам, наш репертуар мог показаться достаточно изысканным, но на самом деле балеты шли в сокращенном виде, приспособленные к скромным возможностям нашей труппы, и представляли собой весьма жалкое зрелище. В некоторых больших городах встречались неплохие театры и оркестры, и наши спектакли проходили там довольно сносно, но, когда мы попадали в захолустные восточные городки, наши представления носили весьма сомнительный характер. Первая скрипка Мариинского принимал участие в нашем турне в качестве дирижера. Поскольку ничего не было организовано заранее, этот мужественный человек с утра отправлялся на поиски музыкантов; подбор осуществлялся путем опроса пешеходов на главной улице.

— Вы не играете на каком-нибудь инструменте? — обращался он к кому-нибудь наудачу. Не многие умели играть, но они часто сообщали, где можно найти небольшой оркестр, так как в этом районе, население которого составляли в основном евреи, ни одна свадьба не обходилась без любительского оркестрика. В Кишиневе спектакль прошел просто ужасно; странные звуки, издаваемые оркестром (следует принять в расчет волнение), лишь отдаленно напоминали знакомые мелодии, а время от времени наступала тишина, нарушаемая только облигато контрабаса и голосом дирижера, напевавшего мелодию, пока музыканты один за другим не подхватывали ее.

Назначив мне жалованье 25 рублей в месяц, Егорушка подчеркнул тот факт, что я прежде всего нуждалась в приобретении опыта. И я действительно получила беспорядочный, но все же опыт. Восторг, который я испытывала, исполняя партии, недоступные для меня на сцене Мариинского, не могла испортить даже кричащая безвкусица окружающей обстановки. Я избавилась от той застенчивости и робости, сковывавших меня на сцене Мариинского, где мысль о строгих критиках, следящих за моими ошибками, бросала меня в дрожь. Как бы ни была наивна моя трактовка ролей, я все же добилась явного успеха в создании образов.

«Мятеж» в балете. — Павлова, Фокин и я во главе «революционеров». — Трагическая гибель Сергея Легата. — Ловат Фрейзер

Осень 1905 года, осень, когда была осуществлена попытка революционного переворота, я до сих пор вспоминаю как кошмар. Жестокий октябрьский ветер с моря, холод, слякоть, зловещая тишина. Уже несколько дней не ходили трамваи. Забастовка стремительно охватывала все новые предприятия. С тяжелым сердцем возвращалась я поздно вечером с политического митинга, который мы, артисты, устроили в тот день. Я шла окольным путем, чтобы избежать пикетов. Мои тонкие туфли промокли, ноги онемели от холода, мысли путались. То, что мы, артисты, такие консервативные в душе, настолько преданные двору, скромной частью которого мы себя ощущали, поддались эпидемии митингов и резолюций, казалось мне изменой. Митинги устраивались повсюду; самоуправление, свобода слова, свобода совести, свобода печати — даже школьники принимали подобные резолюции. С полным сознанием дела (хотя у меня есть основания сомневаться в этом) или следуя за несколькими вожаками, наша труппа тоже выдвинула ряд требований и избрала двенадцать делегатов, чтобы вести переговоры. Среди них оказались Фокин, Павлова и я. Нашим председателем был танцовщик кордебалета и одновременно студент университета, человек честный, но ограниченный.

В ту ночь во всем городе погас свет. Я ощупью поднялась по лестнице; наша квартира была, как всегда, освещена керосиновыми лампами. Мама встретила меня довольно агрессивно, она была против моего участия в митинге.

— Не доведут тебя до добра эти митинги, попомни мое слово.

— Дай же ребенку сначала рассказать, что произошло, — вмешался отец, стремившийся примирить нас, дав мне возможность высказаться.

Стараясь по возможности подробно передавать речи ораторов, я объяснила, что было принято решение «поднять уровень искусства на должную высоту».

— Ну и как же вы намерены поднимать его? — задала вопрос мама, сбросив меня с неба на землю.

Во время митинга я сама не могла понять, каким образом выиграет искусство, если мы добьемся самоуправления. Я не только не испытывала полной уверенности в правильности наших мотивов, но всей моей любви к театру, его атмосфере, верности нашему воспитанию была нанесена глубокая рана. Во время митинга у меня возникло ощущение, будто замышляется какое-то святотатство, но дар речи покинул меня. В итоге, проявив малодушие, я подчинилась желаниям остальных. А теперь, словно повторяя заученный урок, я твердила своим домашним, что мы намерены потребовать право на самоуправление, право избрать свой комитет, который станет решать как вопросы творчества, так и вопросы распределения жалованья. Мы намерены покончить с бюрократизмом в организационных делах. Мои слова даже мне самой казались пустыми и бессодержательными.

— Итак, ты выступаешь против императора, который дал тебе образование, положение, средства к существованию. И нечего поднимать какие-то там уровни. Ты поднимешь искусство на высокий уровень, если станешь великой актрисой, — заявила мама.

Она была готова использовать свой родительский авторитет и запретить мне покидать дом, пока все не успокоится. Но тут вмешался Лев. Хотя, по его мнению, все это было глупостью, но тем не менее он считал, что я должна была оставаться с друзьями до конца. — Ты же не хочешь, чтобы она предала своих товарищей, — сказал он матери. — Где же твои принципы?

Услышав подобный аргумент, бедная либералка-мамочка вынуждена была замолчать.

Отец считал, что нужно выиграть время и сделать вид, будто я заболела. Я решила идти до конца, но чувствовала себя несчастной.

Резолюция митинга выработывалась на квартире у Фокина. Мне показалось, что привратник, стоявший у парадной двери, бросил на меня неодобрительный взгляд — ни



приветствия, ни фамильярной, но в то же время уважительной болтовни, которая составляла кодекс *bienseance* (Приличие) у - людей подобного рода. Слегка наигранная веселость присутствующих внушила мне некоторое облегчение; я была почти готова поверить, что правда на их стороне. Мне пришло в голову, что они не стали бы рисковать, не имея на то важных причин; и причиной, очевидно, была справедливость требований. Я продолжала так думать до тех пор, пока не стали обсуждать требование поднять нам жалованье, мне оно показалось отвратительным, сильно напоминающим шантаж. Я все еще верила, что смогу предостеречь товарищей от неверного поступка, и я отозвала Фокина, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз. Мы вышли на площадку лестницы. Там, с трудом подбирая слова, чувствуя себя униженной оттого, что он может заподозрить меня в отступничестве, я поделилась с ним своими сомнениями. Он внимательно выслушал меня. Он никак не развеял моих сомнений, но в силу его веры, в пафосе его слов я почувствовала большую искренность.

— Что бы ни случилось, — так закончил он, взяв меня за руку, — я всегда буду благодарен вам за то, что в критическую минуту вы встали рядом со мной.

Один за другим приходили опоздавшие, принося свежие новости: остановились железные дороги; чтобы предотвратить митинг рабочих на Васильевском острове, развели мосты. Фокин снял трубку, чтобы проверить, работает ли телефон, — коммутатор молчал. Он продолжал слушать.

— Помехи на линии... Обрывки разговоров... какая-то неразбериха... Больше ничего не слышно.

Два молоденьких танцовщика, почти мальчики, прибежали раскрасневшиеся и возбужденные; они вызвались быть «разведчиками». Их искреннее восхищение нашими действиями не позволяло им сохранять спокойствие.

— Мы видели на улице сыщиков, — взволнованно заговорили они, перебивая друг друга, — наверняка это сыщики: оба в гороховых пальто, а на ногах — галоши.

Во все времена было нетрудно определить агентов нашей тайной полиции — галоши, которые они носили в любую погоду, стали объектом всеобщих шуток. По сведениям «разведчиков», в Александрийском театре собирались прервать спектакль, чтобы актеры могли со сцены обратиться к зрителям.

Весь день прошел в волнении, устроили импровизированный обед, а вечером решили отправиться в Александрийский театр, чтобы иметь возможность действовать сообща с драматическими артистами. Там шел обычный спектакль. Режиссер Карпов отвел нас в комнатку за сценой, где хранился реквизит для спектаклей на всю неделю, так что она была завалена сценическими принадлежностями: портретами предков, алебардами, шлемами и мебелью, но никого там не было. Карпов достал для меня курульное кресло древних римлян, а сам отошел к веерообразному окну.

— Драматические артисты будут бастовать до тех пор, пока не удовлетворят все их требования, — быстро проговорил он, посматривая на часы. Раздался звонок, и он поспешил на сцену, бросив на ходу: — Помните, мы боремся за почетную свободу. Еще совсем недавно русский актер был рабом... Теперь настал подходящий момент. Там, наверху, давайте небо!

Последняя фраза была адресована рабочим сцены. Мы оставили его занятым повседневной работой. На следующий день мы должны были подать свою резолюцию начальству. Придя в назначенный час, я встретилась со своими друзьями-делегатами, расхаживающими взад и вперед по Театральной улице. Пришедший первым нашел дверь вестибюля запертой, находившийся внутри швейцар Андрей отказался ее открыть. Нас это возмутило. Когда все собрались, мы отправились в контору. Теляковский был в Москве, и нас принял его управляющий. Он с огорченным видом выслушал речь нашего председателя. Бывший офицер, он щелкнул каблуками, сухо поклонился и без каких-либо комментариев заявил, что резолюция нашей труппы будет вручена его

превосходительству тотчас же после его возвращения из Москвы. На этом аудиенция закончилась.

Следующим нашим шагом была попытка сорвать утренний спектакль в Мариинском театре. Давали «Пиковую даму», где были заняты многие артисты балета. Моя обязанность состояла в том, чтобы обойти женские артистические уборные и уговорить танцовщиц не выступать. Подобная задача была мне неприятна, и мои речи, по-видимому, оказались не слишком убедительными. Несколько танцовщиц покинули театр, но большинство отказались участвовать в забастовке. В течение нескольких следующих дней до нашего сведения довели циркуляр министра двора: наши действия рассматривались как нарушение дисциплины; тем, кто желал остаться лояльным, предлагалось подписать декларацию. Большинство артистов подписали ее, поставив нас, своих делегатов, в затруднительное положение. Теперь мы уже никого не представляли, но продолжали собираться то у Фокина, то у Павловой.

— Ну что, доигрались, — сказала мама однажды вечером. — Вы больше не члены труппы.

Она, как всегда, почерпнула информацию у Облаковых. Я считала, что она права, хотя мы и не получили никакого официального уведомления. В городе происходили более тревожные события, чем мятеж нескольких актеров. 16 октября во время массового митинга, состоявшегося на Васильевском острове, была провозглашена республика. Что принесет завтрашний день — аресты или революцию, никто не осмеливался предположить.

В тот день мы все двенадцать собрались как обычно. В эти дни мы старались держаться вместе — так было легче переносить неизвестность. Вдруг позвонили в дверь. Фокин пошел открывать. Через несколько мгновений он, шатаясь, вернулся в комнату.

— Сергей перерезал себе горло, — сказал он и разрыдался.

Сергей Легат против воли вынужден был подписать декларацию. Будучи человеком чести, он ощущал себя предателем.

— Я поступил как Иуда по отношению к своим друзьям. — В ту же ночь он стал бредить и кричал: — Мария, какой грех будет меньшим в глазах Господа Бога — если я убью тебя или себя?

Утром его нашли с перерезанным бритвой горлом.

Много лет спустя я встретила человека, который напомнил мне моего потерянного друга. Так получилось, что наша дружба с Ловатом Фрейзером продолжалась недолго — я познакомилась с ним в 1920 году, примерно за год до его безвременной смерти. Я задумала постановку «Детских стишков» и хотела, чтобы он оформил спектакль. С должным уважением я приблизилась к почитаемому художнику. В роли посредника выступил Хью Уолпол. На следующий день Ловат принес мне несколько эскизов для нашего балета, и тогда же одновременно с работой началась наша большая близость, связавшая меня с ним и его женой Грейс. Наша дружба началась сразу — нам не понадобилось никаких прелюдий.

Затрудняюсь сказать, что было дороже его друзьям, Ловат-художник или Ловат-человек, обладающий неисчерпаемым запасом мягкого юмора. Художник и человек были в нем неразделимы — между ними не было «водонепроницаемого отсека». Ловат не нуждался в одиночестве, не работал до изнеможения, чтобы добиться интенсивной продуктивности, характерной для его последних лет. Он обычно сидел ссутулившись в плетеном кресле, в позе удобной, но едва ли пригодной для рисования, и время от времени беспощадно тер законченный рисунок весьма странным предметом — щеточкой для ногтей. Ни его маленькая дочка, ползавшая вокруг, пока он рисовал, ни Вильгельм Оранский, с довольным мурлыканьем устроившийся у него на коленях, не вызывали у него ни признака раздражения — он просто продолжал работать. Перед ним стоял большой кухонный стол в полном беспорядке, оставалось только удивляться, как его прекрасные чистые краски могли появляться из этих бутылочек, в которых, судя по их виду, мог

содержаться только гуталин. Рассказав о любопытной игрушке, которую он увидел в магазине, о крошечной разносчице и ее миниатюрных товарах, Ловат отложил рисунок «Энергичного пирата», чтобы попробовать, чего он сможет добиться в жанре миниатюры. — Я делаю вам подарок ко дню рождения, Тамара.

Шедевр размером в квадратный дюйм — марширующие солдаты с развевающимися знаменами — был вскоре готов. Но он решил, что может сделать нечто лучшее: и в следующий раз получилась крошечная ярмарка и, наконец, «Очарование английской провинции» (дерево, облако, домик размером с горошину) увенчало его усилия. Не успев закончить постановку «Детских стишков», мы принялись планировать новую работу. Наше сотрудничество не закончилось бы, если бы мы имели возможность продолжать его. Во время одного из ужинов, устраиваемых в моем доме, у нас возник честолюбивый проект объединить английских композиторов и художников и периодически устраивать сезоны балета. Но ни у кого из нас не было достаточно денег на осуществление подобного предприятия. Мы сочли, что подобная идея может вызвать интерес у британской публики, и решили распространить документ, который в шутку назвали «манифестом». Кроме нас с Ловатом, его подписали Артур Блисс<sup>1</sup>, Арнольд Бакс<sup>2</sup>, Юджейн Гуссенс<sup>3</sup>, лорд Бернерз, Холст<sup>4</sup>, Пол Наш<sup>5</sup>, Алберт Ратерстон и другие.

-----  
<sup>1</sup> Блисс Артур (1891—1975) — английский композитор, музыкальный руководитель Би-би-си (1942—1944).

<sup>2</sup> Бакс Арнольд (1883—1953) — английский композитор, мастер музыки ее величества королевы-

<sup>3</sup> Гуссенс Юджейн (1893—1962) — английский дирижер, композитор. Дирижер театра «Ковент-Гарден» (с 1922), спектаклей Русского балета Дягилева в Лондоне (1921).

<sup>4</sup> Холст Густав (1874—1934) — английский композитор, педагог, в симфонических произведениях которого ощущается влияние И.Ф. Стравинского.

<sup>5</sup> Наш Пол (1889—1946) — английский художник.)

Мы рассчитывали на щедрую поддержку, но не получили ничего. Но само составление этого документа доставило нам много веселья. Эти вечеринки, устраиваемые в моем доме, затягивались за полночь и часто сопровождались «серенадами», как Харриет Коуэн (для нас всех «Таня») называла музыкальные сюрпризы, которые устраивала для меня, — я никогда не знала заранее, в чем они будут состоять, будет ли играть Юджейн Гуссенс или мадемуазель Колинзон петь; чаще всего сама Татьяна исполняла произведения Арнольда. С верой и радостью в сердце мы готовили новую постановку. Арнольд Бакс в качестве подарка сделал оркестровку баллады Шопена, мы поставили ее, а также «Джека в расцвете сил», для которого Холст позволил мне воспользоваться своим костюмом святого Павла. Ловат заболел. Накануне операции он прислал мне свой последний рисунок; силы покидали его, и он нарисовал только половину фигуры, но в его работе, как всегда, жила мысль. До конца оставаясь абсолютно лишенным эгоизма и предельно внимательным к людям, он приписал, как лучше и наиболее дешево выполнить костюм. Смерть Ловата оставила невосполнимую пустоту в жизни его друзей; когда он находился рядом, человек чувствовал себя лучше и счастливее. В его характере абсолютно не было суровой и чопорной добродетели — только доброта, которая исходила от него, словно держала на расстоянии все злые помыслы. Непокоримая доброта, соединенная с зажигательной веселостью: необычайная сила доброты была в таких людях, как Ловат Фрейзер и Сергей Легат.

17 октября был издан Манифест об учреждении Государственной думы. В нем объявлялась амнистия всем забастовщикам. В течение нескольких дней жизнь вернулась в нормальное русло, и наша бесславная эпопея закончилась отеческим увещанием. Теляковский вызвал к себе делегатов и снял с нас бремя вины за резолюцию, но подчеркнул, что попытка забастовки явилась актом вопиющего нарушения дисциплины и

мы заслуживали бы самого строгого наказания, если бы не амнистия. Он мягко осудил поведение труппы, указав на то, что артисты и без того находятся в привилегированном положении — они получают бесплатное образование и обеспечены до конца жизни; неужели забастовка — это наша благодарность за все полученные благодеяния? Среди артистов, принявших активное участие в кратковременном мятеже, распространились смутные слухи о том, что якобы дирекция втайне готовит репрессии против участников октябрьских событий. Однако карьера, сделанная впоследствии Павловой, Фокиным, да и мной, отчетливо показала, что у Теляковского никогда не было подобных намерений. В течение какого-то времени ощущался некоторый антагонизм между двумя фракциями, на которые распалась труппа, но вскоре он исчез. Похороны Сергея объединили нас в общем горе. Я испытала чувство благодарности, когда мне представилась возможность возобновить работу; театр стал для меня еще дороже, с тех пор как я почти лишилась надежды вернуться туда. Публика галерки, верная культу своих героев, демонстрировала одобрение их действиям, в которых видела верность своим убеждениям, и встречала бывших делегатов особенно громкими аплодисментами. Я сильно ослабела после нервного и физического напряжения последних дней; долгие путешествия пешком в дождь, под сильным ветром, бессонные ночи, отсутствие тренировок, нерегулярное питание — все это сказалось. Когда я впервые появилась на сцене после этих утомительных двух недель, мое выступление выглядело довольно слабым, а уйдя со сцены, я чуть не потеряла сознание. Но благодаря ежедневной работе я быстро восстановила форму как раз вовремя, чтобы встретить важные события в моей творческой жизни.

## Глава 17

Ритм театральной жизни. — Петипа. — Начало эпохи Фокина. — Айседора Дункан. — Творческие поиски Фокина. — «Клеопатра». — Прага

Жизнь в театре день за днем потекла своим чередом. Балетные спектакли шли только два раза в неделю, так что оставалось достаточно времени на подготовку, на размышления, на личную жизнь, которая у меня не отличалась изобилием впечатлений — только изредка какая-нибудь веселая проделка, а в целом вся жизнь подчинялась требованиям сцены. Еще до наступления девяти часов я выходила из дому с маленьким кожаным саквояжем с туфлями и прочими танцевальными принадлежностями. Настроение в конце дня определялось только тем, насколько я была удовлетворена прошедшим занятием; если пируэты и антраша удавались, то день казался счастливым, если же не могла преодолеть какие-либо трудности, я впадала в депрессию. По утрам в большом репетиционном зале было тихо, здесь царила атмосфера сосредоточенности. Так продолжалось до полудня, затем лестница и уборные наполнялись болтовней, сплетнями и смехом — на репетицию приходил кордебалет. Для танцовщиц этой категории ежедневная рутина репетиций была всего лишь обязанностью, к которой они добросовестно относились. Спокойно рассевшись вдоль стен, некоторые из них вязали, некоторые пили чай и сплетничали о последних скандалах, обсуждали цены на жизнь, прислугу — в общем, все подробности будничной жизни до тех пор, пока их не вызывали на репетицию. Для нас же, честолюбивых, все прочие интересы подчинялись одной великой цели. Мы не могли усидеть спокойно — в свободном углу зала некоторые из нас пробовали различные па и *tour de force*. Я же, если знала, что не понадобится в ближайшее время, любила ускользнуть и, найдя какую-нибудь пустую комнату в лабиринте театрального училища, вдали от шума и критических замечаний посторонних наблюдателей, только с зеркалом в качестве беспристрастного судьи пускалась на смелые эксперименты — пыталась выполнить сложные элементы, которые были мне еще не по силам. Иногда мне удавалось, чаще — нет, но ни падения, ни срывы не обескураживали меня, так как никто их не видел,

и я ощущала прилив безграничной смелости. Погрузившись в любимое дело, я не замечала, как стремительно летело время, и часто в дверь просовывалась голова курьера, в обязанности которого входило следить за тем, чтобы актеры были вовремя на своих местах. «Гамара Платоновна, пожалуйста, спуститесь».

Обязанность работать с нами над текущим репертуаром лежала на режиссере Сергееве. Он был ярким приверженцем системы знаков и с их помощью записал много балетов. И все же любимым методом восстанавливать забытые партии, который чаще всего использовали артисты балета, заключался в том, чтобы попытаться восстановить танец по памяти, пока играла музыка. «Музыка подсказывает», — говорили мы. Подсказки часто поступали с неожиданной стороны — одна из старших по возрасту танцовщиц, ранг которых мы определяли словами «танцующая у воды», вдруг восклицала:

— Нет! Нет! Я точно помню, Брианца делала здесь совсем другое па.

И она воспроизводила забытое па. Какое-нибудь озеро или родник часто служили фоном в старых декорациях, поэтому о танцовщицах, постоянно занимавших место в последнем ряду, говорили, что они танцуют «у воды».

Я оставляла свои тарлатановые юбки в гардеробе, но груз впечатлений ежедневно забирала с собой с Театральной улицы домой. Когда я ехала в омнибусе, то часто ловила на себе удивленные взгляды и насмешливые улыбки сидящих напротив людей и в смущении понимала, что мысленно продолжала танцевать. На лице, по-видимому, появлялось нелепое восторженное выражение, а голова покачивалась в такт звучащей в ушах мелодии. Я ходила, ела, одевалась и разговаривала под непрекращающиеся балетные мелодии. Не слишком заботясь о своей одежде, я тем не менее проводила вечера дома, разминая балетные туфли, штопая трико и занимаясь шитьем тарлатановых юбок.

Передо мной обычно лежала книга, я читала урывками и работала.

— Вижу, ты работаешь над своей новой вариацией, — иногда говорила мама, и я вздрагивала от неожиданности.

Все мы сидели обычно по вечерам вокруг обеденного стола. Формально считалось, что я независима, но фактически я так же, как в детстве, продолжала подчиняться матери и даже помыслить не могла о том, чтобы куда-нибудь пойти, не спросив позволения у мамы. Единственная свобода, которой я пользовалась, — это прогулка в одиночестве с Театральной улицы домой. А когда мы освобождались раньше обычного, я шла домой кружным путем. Проходя мимо колоннады Казанского собора, я считала колонны с обеих сторон. Я когда-то сильно страдала от бессонницы, и мама посоветовала мне считать колонны, но тогда, лежа без сна, я не могла отчетливо представить их себе. И теперь, боясь возвращения своего прежнего недуга, я пыталась обеспечить себя быстродействующим лекарством. Я не упускала случая зайти в храм, чтобы поставить и дешевую тоненькую свечку перед чудотворной иконой. Следующим этапом прогулки был горбатый пешеходный мостик с четырьмя львами. Я часто колебалась, какую улицу предпочесть: красивую и нарядную Морскую или мрачную Казанскую; на последней находился магазин, в витрине которого выставлялись лубочные картинки на библейские и патриотические темы. Притчи о Лазаре, Данииле в пещере со львами, Полтавская битва, взятие Эрзерума — сама не могу понять, что меня привлекало в этих дешевых картинках. Возможно, наивная путаница эпизодов, сгруппированных вокруг основного медальона. В то время я даже не подозревала, что мы были свидетелями заката блистательной эпохи нашего балета. Сила, построившая это грандиозное здание, постепенно угасала. Мариус Петипа, возраст которого приближался к 90 годам, ушел в отставку. В истории нашего балета он навсегда останется провидцем, наделенным титанической силой. Его гениальность не подвергалась сомнению при его жизни, но все богатство его наследия было в полной мере оценено позже в связи с новым направлением в балете. Огромное воздействие творений Петипа ощущалось еще долго после его смерти, да и до сих пор полностью не исчерпано.

Несмотря на молчаливое недоброжелательство со стороны артистов труппы старшего поколения, карьера Фокина-балетмейстера началась при благоприятных обстоятельствах. Свой первый балет он поставил для благотворительного общества. Инициатива обратиться к нему с просьбой поставить балет исходила от группы танцовщиков значительно более высокого интеллектуального уровня, чем большинство актеров нашей труппы. Они были членами комитета бесплатной народной школы, основанной и содержащейся нашей труппой. Руководство поддерживало постановку, и театр бесплатно предоставил сцену, оркестр и костюмы. Фокин выбрал исполнителей из числа своих приверженцев. Павлова, он сам и я исполнили главные партии в «Виноградной лозе». Этот балет ставился и раньше, но быстро сошел со сцены, так как его музыку сочли слишком симфонической. Музыка Рубинштейна действительно сильно отличалась от любимого типа балетной музыки, состоящей из непритязательных мелодий, оркестрованных на 32 или 64 такта, чтобы соответствовать тому количеству шагов, которое считается возможным для танцовщика. От отца я слышала еще об одной причине, по которой балет попал в немилость. По сюжету группа гуляк после чрезмерных возлияний засыпает в винном погребе; во сне им является Дух вина, и сцена превращается в вакханалию. Поскольку балет исполнили на гала-представлении в честь бракосочетания великой княгини, сюжет сочли слишком вульгарным и неподходящим к случаю; к балету отнеслись неодобрительно.

Самим выбором этого произведения Фокин утвердил первый пункт своей программы: «музыка не просто аккомпанемент к ритмическим шагам, но органическая часть танца. Вдохновение хореографа во многом определяется качеством музыки». В целом Фокин враждебно относился к незыблемым канонам балетных традиций, поэтому большая часть труппы не поддерживала его; вокруг него объединилась только небольшая группа молодежи. Мой разум отказывался отбросить те принципы, на которых воспитывалась. Нетерпимость Фокина мучила и шокировала меня, но его энтузиазм и пылкость пленяли. Я поверила в него, прежде чем он успел поставить что-либо значительное. В его небрежных замечаниях, в его тирадах, пронизанных идеей необходимости крестового похода против самодовольства и ограниченности филистеров, неясно вырисовывались новые берега, призывая к славным подвигам.

Новые аргументы в поисках красоты, Свои души мы заложили морю. Подобные звучные строфы отвечали моим чувствам, и тогда все мои сомнения рассеивались.

Еще не стерлись впечатления от огромной сенсации, вызванной первым появлением Айседоры Дункан весной 1907 года, когда Фокин поставил «Эвнику», на этот раз для того, чтобы включить ее в репертуар.

Айседора сразу покорила весь театральный мир Петербурга. Конечно же, как всегда, нашлись консервативно настроенные балетоманы, для которых сама идея босоногой танцовщицы, казалось, оскорбляла основные принципы искусства, которые они почитали священными. Но подобное отношение отличалось от общего мнения, и желание обновления веяло в воздухе. Помню, что, впервые увидев ее танец, я полностью попала под ее обаяние. Мне никогда не приходило в голову, что между ее искусством и нашим существует какой-то антагонизм. Казалось, имеется достаточно места для них обоих, и каждое могло извлечь пользу, общаясь друг с другом.

Позже, в Париже, я смотрела на нее под более критическим углом — там она стала развивать свои теперь широко известные теории и объяснять сущность своего искусства. Я больше не видела в ней актрису, обладающую яркой индивидуальностью, но воинствующую доктринершу, к тому же я почувствовала множество противоречий между провозглашаемыми ею идеалами и исполнением, а большинство ее теорий были достаточно туманными и, по существу, не были по-настоящему связаны с танцем.

Она была наделена сентиментальностью, характерной для жительницы Новой Англии, что совершенно несовместимо с ролью революционерки.

«Я черпаю вдохновение для создания нового танца в нераскрывшемся цветке... Танец должен быть чем-то столь огромным и прекрасным, чтобы зритель сказал себе: «Я вижу перед собой движение души, души раскрывающегося цветка».

В своем критическом отношении к балету, который она характеризует как «фальшивое и надуманное искусство», Дункан слепо нападает на основу всего сценического искусства — на его условный характер. Словно ребенок, уже выучивший алфавит, но не умеющий еще читать, в своем ограниченном сектантском видении она утверждает, будто искусство танца должно вернуться в свое естественное состояние, к своим основам. Но ей можно возразить, что природа никогда не создаст ни симфонии Бетховена, ни пейзажа Рейсдаля. Как видим, великий артист может оказаться посредственным теоретиком, и сила ее искусства заключалась в гениальной непосредственности движений ее тела, а не в притянутых за волосы аргументах.

Ее искусство по самой своей природе было глубоко индивидуальным и могло оставаться только таковым. Исходя из своего собственного опыта, я поняла, что учить — это не значит передавать свои знания ученику или пытаться лепить его по своему образу и подобию. Преподавание какого-либо вида искусства может базироваться только на технике, выработанной веками.

Тезисы Дункан были полностью опровергнуты, когда Фокин, вооружившись всей техникой балетного танца, поставил «Эвнику» как дань уважения ее таланту, однако спектр используемых им движений намного превосходил возможности Дункан и ее учениц. Мы со своей школой могли танцевать так же, как она, но Айседора со своим чрезвычайно ограниченным «словарем» не могла соперничать с нами. Она не создала нового искусства. «Дунканизм» был всего лишь разновидностью того искусства, ключом от которого владели мы. Все те любители, которые сегодня ищут короткий путь к успеху и пытаются самовыразиться, гарцуя по сцене в греческом хитоне, — это результат ошибочных доктрин Дункан. Мое восхищение самой актрисой ничуть не уменьшилось, несмотря на мое критическое отношение. Я сохранила в памяти два чрезвычайно живых впечатления об этом сезоне, которые для меня суммируют как недостатки, так и возвышенные качества этой выдающейся актрисы.

По своему обыкновению, прежде чем поднялся занавес перед ее танцами на музыку из «Тангейзера», она обратилась к публике, чтобы объяснить свою интерпретацию произведения, сказав, что, по ее мнению, кульминация «Грота Венеры» слишком величественна, чтобы ее можно было выразить посредством танца, и что только погруженная в полумрак сцена и воображение зрителей могут вызвать нужную глубину чувств.

Но когда Айседора исполнила «Елисейские поля», ее артистические средства не только оказались адекватными, но поднялись на уровень, равный по своей высшей и абсолютной красоте самой музыке Глюка. Она передвигалась по сцене с такой удивительной простотой и отрешенностью, что могло быть порождено только гениальной интуицией. Казалось, она парила над сценой, видение мира и гармонии, само воплощение духа античности, которая была ее идеалом.

В действительности «Эвника» стала компромиссом между нашими классическими традициями и возрожденной Элладой, которую олицетворяла Айседора. Главная партия, которую в вечер премьеры исполнила Кшесинская, включала в свою ткань почти весь словарь классического балета. Павлова, напоминая фигурку с помпейского фриза со своей утонченностью и изысканностью, придала «Эвнике» определенное чувство стиля. Она также, как и кордебалет, танцевала босиком или, во всяком случае, создавала такую видимость. Они выступали в трико, на которых были нарисованы пальцы. После премьеры Кшесинская отказалась от роли, и ее передали Павловой, я же заменила последнюю.

Рассматривая творчество Фокина ретроспективно от первого опыта до последних совершенных произведений, видно, сколь робким было первое проявление его

революционного духа. «Господи, помоги мне!» — перекрестившись, восклицает грабитель, прежде чем ограбить церковь.

В своей иконоборческой кампании Фокин сохранял верность старым обрядам поклонения и ортодоксальным формам танца. Даже будучи в полном расцвете таланта и обладая своими собственными средствами, Фокин по-прежнему оставался — осознанно или нет — последователем эпического Петипа. Ничего не смог он добавить к спокойному величию уходящей эпохи; современный разум, выразителем которого стал Фокин, критиковал прежние методы: риторику, пустую помпезность, готовые формулы. В общей структуре балетов Петипа сюжет трактовался абстрактно, являясь лишь поводом для танца. Больше никакого многословного неубедительного действия с мимическими диалогами, напоминающими язык глухонемых, Фокин привнес в драматический сюжет логическую простоту и триединство греческой драмы. Хотя его хореографические полотна отличались более тонким рисунком, но были сотканы на том же станке, что и работы его великого предшественника. «Балетная» форма танца считалась классической с незапамятных времен. Фокин использовал классический танец как основу своей хореографии, расширив его новыми узорами; он привносил элементы стиля той эпохи, в которую погружался, но отправной точкой для него всегда оставалась виртуозность классического балета, бесценные сокровища которого он широко использовал в своем творчестве. Большинство его постановок, за исключением «Эвники», требовало от исполнителей высокой степени виртуозности, но он не выносил, когда подчеркивали сложность исполнения, выставляли напоказ технические трудности. «К чему все эти долгие приготовления? Вы же не собираетесь вертеть фуэте». В ходе одной и той же репетиции он то приходил в восторг, то впадал в гнев. Мы, его последователи, были преданы ему из-за его искренней увлеченности своим делом и требовательности к окружающим, хотя он был чрезмерно раздражительным и порой терял над собой контроль. Сначала это нас выводило из равновесия, но со временем мы привыкли к тому, как он швырял стулья, уходил посередине репетиции или вдруг раздражался страстными речами. Во время сценических репетиций он усаживался в партере, чтобы оценить эффект своей постановки. Его голос, охрипший от крика, обрушивался на нас словно пулеметная очередь через головы оркестрантов:

— Отвратительное исполнение. Небрежно, неряшливо. Я не допущу такого наплевательского отношения!

Впоследствии, когда в его распоряжении оказалась не только сравнительно небольшая кучка его приверженцев, но целая труппа, гастролировавшая за границей и относившаяся к нему с уважением как к руководителю, он стал еще более властным. Вспоминается один инцидент в Монте-Карло. Он репетировал с нами «Жизель». В тот вечер я должна была исполнять заглавную роль и, естественно, берегла - силы, лишь намечая отдельные па и основные переходы. Весь ансамбль работал слишком медленно. Фокин постепенно впадал в бешенство и вдруг набросился на меня:

— Как я могу винить кордебалет, если звезда подает такой дурной пример. Да, ваш пример можно назвать развращающим, позорным, просто скандальным. — И он убежал. В тот же вечер он с ласковым видом ходил вокруг меня, поправлял мой грим. Когда я стала изливать свою обиду за утреннюю сцену, он только мягко улыбнулся и так прокомментировал мое исполнение последнего акта «Жизели»:

— Вы словно парили в воздухе...

Сразу же после «Эвники» Фокин поставил «Египетские ночи», впоследствии получившие название «Клеопатра». Значительная часть нашей труппы, в особенности премьеры, открыто демонстрировала недоброжелательное отношение к нашей работе. Как будущая балерина, я одевалась в уборной премьерш. Временами я ощущала себя там словно во вражеском лагере. Высмеивая все наши усилия, они устраивали гротескные пародии на наши балеты. Я не имела возможности достаточно решительно возражать: право старшинства оставалось таким же непреложным законом в театре, каким было в училище.



Так как я была самой молодой участницей высшей касты, на меня могли прикрикнуть, сделать выговор за «самовлюбленность», за «фиглярство». Мне потребовалось еще больше выдержки, когда я стала единственной ведущей танцовщицей в балетах Фокина и встретила лицом к лицу с предубеждением со стороны самых консервативных элементов публики и критики. Намеренно не обращая внимания на то, что наряду с новыми ролями я со все возрастающим мастерством исполняла партии в классических балетах и неустанно работала, мои критики обвиняли меня в измене традициям. Впрочем, эти преследования прекратились так же внезапно, как и начались.

Вернувшись из кругосветного путешествия, лейтенант Фуриозо, как всегда переполненный грандиозными замыслами, на этот раз договорился о моих гастролях в Праге. Он познакомился там с главой панславистов и с его помощью организовал мой ангажемент. Я не воспринимала его планы всерьез до тех пор, пока не получила официального приглашения от Пражского национального театра. Но даже и тогда я не могла себе представить, что буду танцевать за границей; все это рискованное предприятие казалось мне прыжком в неизвестность. Мой прошлый опыт не мог дать мне представление о том, в какой среде я окажусь. Я даже представить не могла определенной картины будущего — только некоторый страх предстоящей разлуки с домом, смешанный с гордостью и приподнятым настроением. До поездки оставалось месяца два, и я начала подготовку с того, что попыталась отшлифовать свой французский, на котором вела переписку с директором Национального театра, меье Шморанцем, я пришла к выводу, что этот язык и станет официальным средством общения. Мадам Флоранс, которую порекомендовали мне мои друзья, отшлифовала мой хромающий французский, сделав его беглым. Она предостерегала меня против буквального перевода с русского, как мы обычно делали. Она говорила на прекрасном французском, в ее речи ощущалось превосходное знание литературных норм. Под ее руководством я писала эссе, читала и разговаривала; мы надолго стали большими друзьями.

Когда я приехала в Прагу, на станции меня встретил сам глава панславистов, как и планировал Фуриозо. Он сопровождал меня в маленькую гостиницу с патристическим названием, но довольно убогую внешне. На следующее утро, когда я упомянула, где остановилась, меье Шморанц, казалось, очень расстроился, и в тот же день мне предоставили апартаменты в современной гостинице. Я начала ощущать себя звездой, что пошло мне на пользу, так как помогло избавиться от излишней скромности. Уже моя первая встреча со Шморанцем привела меня в хорошее расположение духа. Когда меня ввели в его кабинет, он бросился мне навстречу, немного неуклюже склонился над моей рукой и проводил до кресла. Он заверил меня, что я их гостья и что все в театре — вплоть до его собственной ложи — в моем распоряжении. Я выразила надежду, что в моих письмах ему было не слишком много ошибок, и тотчас же почувствовала всю неуместность своего замечания. Он проявлял по отношению ко мне необычайную учтивость: предложил прислать за мной днем машину и самому показать чудесные храмы в стиле барокко, которыми так богата Прага. Чтобы поддержать интеллектуальный разговор, я заметила, пугаясь собственной дерзости, что барокко не в моем вкусе и что я предпочитаю ренессанс, хотя на самом деле ничего не понимала ни в том ни в другом. Во время моего пребывания в Праге директор вывозил меня на прогулки каждый свободный день. При самых благоприятных условиях я увидела все, что только можно было посмотреть. Мой гид был серьезным ученым: прежде чем стать директором театра, он был историком архитектуры. Осмотр достопримечательностей превращался в волнующее занятие благодаря его эрудиции и любви к предмету.

До сего времени мои познания были весьма скудными, но желание узнать велико. Шморанц раскрыл мне сокровенную красоту города: старинные улицы, где на двери каждого дома находился герб, узкая улочка, прозванная Золотой, так как здесь когда-то жили алхимики. Спустившись по полустертым ступеням, которые, казалось, вели в ад, мы оказались в потайной подземной темнице. Шморанц обратил мое внимание на

выцарапанные пленниками надписи, по-видимому с помощью гвоздя, и на остатки самодельных карт, нарисованных кровью. «Juste pour vous, qui aimez le frisson». (Как раз для вас, любящей, чтобы мурашки по спине бегали) Каждый день для меня переворачивалась новая страница в книге чудес. Несмотря на то что в его внешности и манерах было что-то от старой девы, несмотря на его старомодную учтивость и щепетильность, его забавные маленькие причуды (так, например, он никогда не ездил на автомобиле и не звонил по телефону), тем не менее он был очень милым.

Строго соблюдая приличия, Шморанц пригласил для меня дуэнью: жена итальянского балетмейстера синьора Вискусси была непременной участницей наших экскурсий и всегда сидела со мной в директорской ложе, предоставленной в мое распоряжение в те вечера, когда я не танцевала. Во время своего пребывания в Праге я не пропустила ни одного представления, и мой день неизменно заканчивался в театре.

Я слышала, что каждые семь лет человек вступает в новую фазу своего существования. Тогда я вступала в четвертую фазу подобных циклов и ощущала, что во мне происходят значительные изменения. Пять лет сценического опыта в Петербурге не научили меня самообладанию. Петербургские критики руководствовались правилом, будто похвалы опасны для молодых танцовщиков, так как могут помешать их стремлению к совершенству. Что же касается меня, подобная политика лишь усиливала мою природную робость, и я оставалась чрезвычайно застенчивой и неуверенной в своих силах. Здесь в Праге отсутствие суровых критиков помогло мне полностью избавиться от застенчивости, граничившей с наваждением; здесь мне не указывали на мои прежние ошибки, и впервые зловещая темная яма, называемая зрительным залом, перестала пугать меня. Меня принимали как звезду, я поверила в это и отбросила пелену неуверенности в себе, которая мешала моему самовыражению. Первый сезон в Праге стал свидетелем превращения ученицы в актрису.

Стоял безоблачный май; холмы в окрестностях Праги были покрыты вишневыми садами в полном цвету. В облегающем платье, похожем на амазонку, и в шляпе со спадающими перьями я казалась себе роковой и таинственной, но в зеркале отражалась счастливая улыбка, в которой не было и тени таинственности. После первого же выступления в «Щелкунчике» мне предложили продлить контракт и подписать контракт на будущий год. В голову моей «доброй феи» Шморанца пришла счастливая мысль: дать мне партию в балете, основанном на чешских народных сказках. Мое появление в этом балете дошло до сердца зрителей и создало мне большую популярность. Меня стали узнавать в магазинах и на улицах. Это льстило моему самолюбию так же, как и то, что на спектаклях присутствовал настоящий балетоман, один из «ассирийцев» из ложи номер двадцать пять, приехавший в Прагу специально для того, чтобы посетить спектакли с моим участием. На следующее утро после моего первого выступления Шморанц с большим удовольствием перевел мне несколько рецензий. Один из авторов величал меня «дивой». Шморанц задержался на предложении, где изящество моего танца сравнивалось с грацией молодой газели.

Я навсегда сохранила талисман, подаренный мне Шморанцем. Во время своего последнего выступления я обнаружила маленькую коробочку, привязанную к букету. Внутри находился небольшой кусочек дерева в оправе из гранатов в форме броши — это был кусочек смоковницы, под которой Дева Мария отдыхала на пути в Египет. Я увезла с собой много дорогих сердцу воспоминаний о простых и мужественных людях, почти с благоговейным рвением служивших искусству в своем скромном театре. Национальный театр мог позволить себе лишь небольшую балетную труппу. Оперные и драматические артисты помогали балетным, выступая в мимических ролях. Я оставила там настоящих друзей. «Ваш портрет приобретен галереей Мане, — писал мне художник, написавший этот портрет. — Но я сохранил себе гравюру, где вы в шляпе с голубыми перьями (та самая «роковая шляпа»). Мать починила шаль, которую вы мне подарили». Пестрая

бухарская шаль, спутница моих странствий, в которую я заворачивала свои костюмы, пленила художника, и я оставила шаль ему в подарок.

## Глава 18

Соколова. — «Лебединое озеро» и «Корсар». — Светлов

В течение длительного времени я подумывала о том, чтобы оставить класс Николая Легата. Принять решение было нелегко — я опасалась, что он воспримет это как предательство. В нашей профессии учитель прилагает очень много сил на формирование индивидуальности ученика, тратя немало энергии на занятия с ним, в результате возникают прочные, основанные на глубокой благодарности связи ученика с учителем. Но я уже усвоила все, что мне мог дать преподаватель, вплоть до того, что была в состоянии исполнять энергичные па мужского танца, и мне стало очевидно, что теперь мне нужна женщина-педагог. Госпожа Соколова уже не преподавала в театральном училище. Она давала частные уроки, которые ежедневно посещала Павлова, и я присоединилась к ней. И как оказалось, мое решение было весьма своевременным, так как этот 1909 год принес мне в высшей степени ответственную работу. Сразу вслед за главной партией в «Лебедином озере» мне дали главную роль в «Корсаре». Последняя принесла мне неоспоримый успех, и этим в значительной мере я обязана госпоже Соколовой. Она сама танцевала в большинстве балетов старого репертуара и великолепно знала все партии. Когда она начинала показывать мне танцы и мимические сцены, в ней пробуждалась вся былая грация, несмотря на то что она, как и большинство танцовщиц, вышедших на пенсию, сильно располнела. В маленькой комнате, где мы занимались, не было места для рояля, и моя преподавательница пела, поразительно точно передавая все рулады и фиоритуры старомодной музыки. Зная помимо своей партии все остальные, она часто исполняла их, как бы подавая мне реплики. Ее забота обо мне выходила за пределы классной комнаты; когда я репетировала на сцене, она обычно сидела в партере, а если не могла прийти, то просила меня зайти к ней прямо из театра. Там, за чашкой кофе, я должна была представить ей подробнейший отчет о каждом па, время от времени вставая и танцуя вокруг стола. Вообще мы понимали друг друга очень хорошо, напевая мелодию и отбивая такт пальцами по столу, и таким образом воспроизводили самые сложные па. Для стороннего наблюдателя наше поведение, наверное, показалось бы нелепым. Порой она звонила мне и спрашивала: «Как ты сделала это?..» — и напевала мелодию. «С этим все в порядке, но я не вполне понимаю этот фрагмент», — пела теперь я на другом конце провода. Телефонная служба хоть и недавно возникла в Петербурге, но работала исправно: мы могли таким образом пройти пять актов, и нас ни разу не прервали по прихоти телефонистки.

Соколова была достаточно состоятельной и жила в собственном доме, на другом берегу реки, довольно далеко от центра. От улицы ее дом отделял небольшой деревянный флигель, в котором она сдавала квартиры, оставив себе одну для занятий танцами. Она щедро расточала свое время и труд. Обычно мы занимались днем, но, когда я готовила новую партию, она настаивала, чтобы я приходила и по вечерам. Не допускала, чтобы какое-нибудь полученное прежде приглашение встало на пути работы; никакие мольбы не могли ее смягчить.

— Сцена прежде всего!

Старая танцовщица заново переживала карьеру в каждой из своих учениц. Удачно вышедшая замуж, мать взрослых детей, от нас она требовала безбрачия. Она предсказывала множество зол, которые падут на голову замужних балерин. Проповеди ее общественных и артистических доктрин обычно происходили у нее дома за ужином, на который она настойчиво приглашала меня после работы. Во время занятий она не

позволяла отвлекаться. Столь же большое опасение, как предстоящее замужество, вызывали у нее возможные непредвиденные осложнения на сцене.

— Покажи, как ты завяжешь ленты на туфлях... Неправильно. Узел должен быть завязан с наружной стороны лодыжки. Немного поплюй на него, иначе развяжется.

Она хотела посмотреть, как я буду выходить на вызовы, и настойчиво внушала мне, что танцовщица никогда не должна ходить на плоских ступнях. «Быстрым легким шагом ты выходишь на середину, делаешь глубокий реверанс вправо в сторону императорской ложи; налево — к директорской; два шага вперед и полуреверанс партеру; потом отступи, подними глаза и улыбнись, приветствуя галерку. Я помню, как, разучивая со мной партию Жизели, она была удовлетворена всем в моем исполнении, кроме падения в сцене смерти. Когда же я посетовала, что вся покрылась синяками, добиваясь совершенства в этой сцене, она послала домой за матрасом, на который я могла падать навзничь бесчисленное число раз, не опасаясь более серьезных последствий, чем легкое сотрясение мозга. В конце концов я достигла совершенства.

За ужином мы всегда вели профессиональные разговоры: обсуждали мои выступления, преподавательница рассказывала о смешных случаях и триумфах из своей творческой жизни, самые обыденные явления оценивались в соответствии с позицией этики танцовщиц, установленных Соколовой. Пить пиво считалось неэстетичным для балерины. — Эдуард Андреевич, сколько раз я должна повторять вам, чтобы вы не угощали Тату этим вульгарным напитком?

Перед моим выступлением в «Корсаре» она заметно нервничала.

— Как ты собираешься провести завтрашний день? — спросила меня она накануне премьеры.

Я ответила, что, наверное, немного прогуляюсь, если будет хорошая погода. Она пришла в ужас.

— Ни в коем случае не делай ничего подобного. Как можно! Ты должна лежать, сосредоточившись на роли. Положи ноги повыше и не забудь надеть светлые чулки — это действует успокаивающе.

Из осторожных намеков своей наставницы я поняла, что она пытается направить Светлова на путь истинный. Он был ее большим другом, и его суровая критика в мой адрес словно заноза впивалась в ее сердце. Теперь он стал относиться ко мне более милостиво, в его рецензиях иногда даже проскальзывали слабые нотки похвалы, хотя им неизменно сопутствовало какое-нибудь язвительное замечание. «Мы посоветовали бы молодой танцовщице уделять больше внимания своему внешнему виду. В балете «Четыре времени года» из-под ее юбок висело нечто вроде длинного обрывка белой тесьмы».

Проявив своего рода стратегию, чтобы заинтересовать Светлова в моей работе, Соколова заняла у него томик Байрона, чтобы я могла почерпнуть вдохновение для создания образа Медоры. Поэма не была напрямую связана с сюжетом, сильно измененным для целей балета, но она помогла мне создать ясное представление о Медоре.

Мое первое выступление в «Корсаре» состоялось в воскресенье вечером, а это верный признак того, что я еще на несколько шагов поднялась по иерархической лестнице.

Претендентки на звание балерины обычно выступали по средам, когда в Мариинском собиралась не столь изысканная публика. В знак своего расположения дирекция заказала для меня специальные костюмы. Все эти знаки благосклонности подняли мне настроение, и я пришла в тот вечер в театр в хорошем расположении духа и нервничала только от нетерпения. Вопреки советам наставницы, я старалась не слишком много думать о своей роли; мой опыт показывал, что если я слишком сосредотачивалась на роли, исключая все прочие мысли, то теряла самообладание, и к моменту выхода на сцену нервы совершенно сдавали. Поэтому я позволила старушке Александрушке болтать всякие пустяки, пока она раскладывала на столике гримировальные принадлежности. У нее было два заветных желания: излечить мужа от запоев и выдать замуж свою некрасивую дочь. Все рассказы о Тане сводились к тому, как бы найти ей поклонника; что касается вопроса излечения от

пьянства, Александрушка доверила его брату Иванушке, монаху, который молился за пьяниц и организовывал религиозные встречи. Побойсь, что жажда мужа оказалась сильнее, чем молитвы брата.

Успех первого появления часто предопределял ход всего вечера в целом. Первый выход балерины в «Корсаре» чрезвычайно эффектен: несколькими прыжками пересекает она сцену по диагонали и заканчивает вариации серией сложных пируэтов. Этот выход вызывал гром аплодисментов — связь с публикой устанавливалась, и завоевывалось ее доверие. Пожалуй, ни один другой балет не предоставляет солистке столько разнообразных возможностей, чтобы блеснуть. Романтический дух партии Медоры еще в большей мере оттеняется небольшим эпизодом, полным непринужденного веселья; Конрад мрачен, и, чтобы развлечь его, Медора, переодевшись в мальчика, танцует ему. Своим шаловливым танцем она словно говорит ему: «Увы, у меня нет усов, но храбростью я не уступлю мужчине». Сцена заканчивалась эффектным трюком, "всегда безотказно действующим на публику, — Медора в рупор выкрикивает слова морской команды. Костюм, который носила в этой сцене Мария Сергеевна Петипа, — короткая плиссированная юбочка, болеро и феска — заменили на широкие шаровары и тюрбан турецкого мальчика. Соколова осудила подобное вопиющее нарушение традиции. Костюм сбивал меня с проторенного пути. Я забыла о застенчивой грации. Шаровары, казалось, требовали от меня энергичных прыжков. Логика требовала не извиняться за отсутствие усов, а дергать за воображаемые. Многочисленные вызовы показали, что моя спонтанная выдумка имела успех. Гердт, мой дорогой Конрад, во время страстного объятия, заключающего собой сцену, тихо прошептал:  
— Хорошо сыграла, крестница.

Хореографическая кульминация «Корсара» происходит в третьем акте, в картине, называемой «Оживленный сад». Занавес опускается после сцены в гареме паши, короткая сценка разыгрывается перед занавесом, и через минуту он поднимается, открывая взорам зрителей роскошный сад с цветочными клумбами. Кордебалет в белых пачках и венках из роз танцует грациозную сарабанду. Эффектная концовка предназначена для балерины — она заканчивает танец большим прыжком через клумбу, расположенную у края сцены. Конечно, балерина должна сохранять безупречную линию прыжка, иначе он будет просто напоминать цирковой трюк.

Моя танцевальная роль практически заканчивалась сценой «Оживленного сада». Последний акт уже не требовал ни танцевального мастерства, ни актерского искусства, но он доставлял мне много удовольствия. Сцена представляла собой беспокойное море. Под раскрашенным полотном ползали на четвереньках матросы-статисты. Приближалась буря, и матросы начинали бегать, поднявшись во весь рост.

В глубине сцены раскачивалась на волнах, чуть не опрокидываясь, каравелла корсара. Возглавивший мятеж Бирбанто предательски нападает на Конрада, но погибает, сраженный пулей. Медора в балетном тюнике то смотрит в подзорную трубу, то молится, стоя на коленях.

Я так никогда не узнала точных предписаний, как исполнять эту сцену, мы считали, что нам позволялось играть *ad libitum*, (По усмотрению) и в пылу фантазии разыгрывали эту сцену, словно возбужденные дети, и часто переигрывали. Гердт отдавал приказы в рупор; каравелла, расколовшись на две равные половины, начинала тонуть, я и мои служанки разражались громкими криками. Но наши вопли, пушечные выстрелы, приказы, отдаваемые в рупор, и музыка оркестра — все заглушалось раскатами грома и завыванием ветра. Взбунтовавшиеся корсары тонули вместе с кораблем, мы с Гердтом, низко пригнувшись и делая вид, будто плывем, продвигались в сторону кулис. Там я поспешно надевала белую сорочку и распускала волосы, готовясь появиться на утесе, выступающем среди внезапно успокоившегося моря. Там, воздев руки, мы благодарили небеса за то, что нам удалось спастись на этом пустынном острове, и составляли группу финального апофеоза.

Прием, оказанный мне после спектакля, доказал, что я добилась своего самого большого успеха. Отныне мне было позволено отказаться от всех второстепенных ролей и я заняла положение примы-балерины, за исключением официального звания и жалованья. После «Корсара» Светлов впервые написал обо мне по-настоящему хвалебную статью, и это растопило лед между нами. Я уже не считала, что его статьи вызваны личной антипатией ко мне, и со временем обрела в его лице верного друга. Он больше не упрекал меня в небрежности, поняв, что мне необходимо время, чтобы обрести собственную индивидуальность, и что все мои ошибки происходили из-за несоответствия между моими силами и тем высоким идеалом, к которому я стремилась. Но даже позже, когда он стал одним из моих панегиристов, между нами порой происходили небольшие стычки.

— Послушайте, — говорил он мне, — с какой стати в «Карнавале» вы прицепили локоны, отличающиеся по цвету от ваших волос?

Я принималась заверять его, что из зрительного зала незаметно, что накладные локоны немного светлее моих волос.

— Прошу прощения, но я-то заметил, что вы стали пегой масти.

Но подобные замечания Светлов теперь делал мне только с глазу на глаз; я вошла в круг его близких друзей, которых он собирал за своим столом. Он был по-настоящему гостеприимным человеком, и первое приглашение становилось постоянным. Во время ужина он ненавязчиво расхаживал взад и вперед по комнате, пока мы, не успевшие как следует пообедать, отдавали должное его великолепным блюдам и отдыхали после напряжения вечернего спектакля. Светлов обладал коллекцией редких гравюр танцовщиц и несколькими реликвиями: туфелька Тальони, ее бронзовая статуэтка в «Сильфиде», испанский гребень Фанни Эльслер... Его благоговение перед прошлым, глубокое знание балета и любовь к традициям не мешали ему проявлять широту кругозора; Светлов восхищался Петипа и верил в Фокина. Он поддерживал новаторство в балете и решительно защищал все новое от нападков враждебно настроенных критиков.

## Часть третья *ЕВРОПА*

### Глава 19

Балет в Париже. — Онегин. — Дягилев. — Первое представление дягилевского балета. — Созвездие талантов. — «La Karsavina». — Спектакль на открытом воздухе. — Маринелли

Лето 1909 года стало свидетелем нашествия русского искусства на Европу, точнее говоря, на Западную Европу. Любой русский, когда говорит о странах, расположенных к западу от нашей границы, называет их «Европой», инстинктивно отделяя себя от них. Очень мало было известно о нас за пределами нашей страны. Отдельных, наиболее талантливых представителей нашей нации тепло принимали за границей, но в целом наша обширная страна для типичного западного обывателя по-прежнему оставалась землей варваров. Россия, грубая и изысканная, примитивная и утонченная, страна великих познаний и ужасающего невежества; Россия огромных масштабов, неудивительно, что Европа даже не пытается понять тебя, если даже для своих собственных детей ты остаешься загадкой. Возможно, что о наиболее ярком проявлении этой сложной и полной жизни души (*la saveur apre qui est L'ame slave*, цитируя изречение из забытого оригинала, терпкий привкус, который есть славянская душа) о русском искусстве, едва ли что-либо было известно за пределами родной страны. За год до этого Дягилев организовал в Париже выставку картин «Мира искусства» и несколько представлений «Бориса Годунова». Теперь он набирал балетную и оперную труппы, отважившись устроить целый Русский сезон в Париже. Естественно, его намерения широко обсуждались в наших кругах. И прежде

бывали случаи, когда небольшая труппа, возглавляемая звездой, отправлялась на гастроли за границу. Эти небольшие антрепризы носили чисто коммерческий характер. Но никогда еще не замыслилось ничего столь амбициозного; и хотя Театральная улица и Мариинский театр гудели от возбуждения, никто и помыслить не мог о том, что нам суждено вскоре внести столь значительный вклад в европейское искусство.

И я не догадывалась о тех значительных переменах, которые произойдут в моей жизни, когда однажды днем сидела в своей маленькой гостиной и ждала Дягилева. Я уже жила отдельно от родителей. «Красный плюш, словно в провинциальной гостинице», — подумала я, разглядывая свою мебель. Только статуэтка из дрезденского фарфора, первая безделушка, приобретенная мною, казалось, была единственным предметом, отражавшим мой вкус. Я переставила ее с этажерки на пианино, на прежнем месте она выглядела все же лучше, хотя была не так заметна. Я поставила ее на место. Шесть часов, Дягилев должен был приехать в пять. Мое волнение нарастало, но не потому, что нам предстояло обсудить его предложение, эмоции иного рода заставляли меня стыдиться красного плюша и беспокоиться о том, что эстет Дягилев может подумать обо мне.

Я познакомилась с Дягилевым три года назад. Мы оказались рядом за праздничным ужином, который давали у Кюба в вечер бенефиса Матильды. Хотя по моей хронологии наша первая встреча произошла значительно раньше. В свои пятнадцать лет я была чрезвычайно романтической особой. Во время репетиции «Щелкунчика» объявили перерыв. Большинство актеров ушли в свои артистические уборные, чтобы перекусить. Партер, обычно полный приглушенного шепота, был практически пуст, только некоторые из нас, учеников, сидели в ложе. Ни один режиссер не смог бы придумать более эффектного выхода: молодой человек появляется в минуту ожидания и садится в середину ряда. Театр словно захвачен врасплох, занавес поднят, сцена пуста, свет притушен — в такие моменты в жизни театра ощущается какое-то странное мучительное ожидание. Его легкая призрачность затрагивала наше самое уязвимое место, вызывала приступ неизлечимой сентиментальности — профессиональное заболевание тех, кто вырос в атмосфере искусственных чувств театральных подмостков. Я видела, как он пристально осматривает сцену. Разочарование или скука? Непонятно, что привело его сюда, ведь на сцене ничего не происходило. Почему он внезапно встал? Он прошел под нашей ложей, и я увидела молодое лицо неопределенного возраста — свежий цвет лица, дерзкие маленькие усики, странно опускающиеся уголки глаз, *une belle de-sinvolture* (Поразительная развязность), седую прядь, пробивающуюся в его черных волосах — метка Агасфера или гения? В то время Дягилев был чиновником особых поручений при директоре, князе Волконском.

Я даже не знала тогда его имени. И все же в последующие годы каждое новое проявление его неординарной личности вызывало в моей памяти тот момент, словно в те несколько минут, исполненных драматической напряженности, я почувствовала себя вовлеченной в ауру гения.

На том вечере у Кюба, когда мы впервые встретились лицом к лицу, я призналась ему в своем детском увлечении. Я не ожидала, что моему «разочарованному герою» доставит такое удовольствие это запоздалое признание в любви.

Затем на несколько лет я потеряла Дягилева из виду. А теперь он должен был прийти, чтобы подкрепить свое предложение формальным визитом. Я тогда еще не знала о полном отсутствии у него пунктуальности, поразительном даже для русского. Я уже почти перестала его ждать, когда увидела, что его закрытая карета остановилась у моего подъезда. Дягилев никогда не ездил в открытом экипаже, опасаясь заразиться сапом. Докладывая о посетителе, Дуняша безбожно переврала его имя, заставив меня вспыхнуть. Дягилев объяснил, что его задержала важная встреча, на которой обсуждались важные творческие вопросы. Я впервые мельком соприкоснулась с его лихорадочной деятельностью. Создавались макеты декораций и эскизы костюмов; постановки тщательно разрабатывались в деталях «конклавами» художников и музыкантов. Сам

Дягилев только что вернулся из Москвы, где ангажировал лучших и наиболее красивых танцовщиц, а также самого Шалыпина. Он рассказывал мне обо всем этом и отвечал на мои вопросы по поводу Коралли. До нас дошли слухи о ее красоте и яркой индивидуальности. «У нее действительно незабываемое лицо, хотя его черты далеки от совершенства». Коралли должна была танцевать в «Армиде».

— Мы заручились высоким покровительством великого князя Владимира, и нам предоставляется субсидия, — с удовлетворением сообщил он мне. — А подписанный контракт я пришлю вам сегодня вечером, или нет, сегодня понедельник — несчастливый день, я сделаю это завтра, — сказал он, прощаясь.

Садящееся солнце осветило красный плюш и придало ему гранатовый отблеск. На мне было платье, сшитое по парижской модели. Я вела непринужденную беседу, совсем как светская дама, даже сумела скрыть нервное напряжение, охватившее меня в присутствии человека, очаровывавшего и одновременно пугавшего меня. Но, внешне спокойно обсуждая свое участие в предстоящих гастролях, я терзалась одной мыслью — в Париже мне отводилась всего лишь вторая партия, и в меня, словно заноза, впивалась мысль, откроются ли когда-нибудь передо мной двери той таинственной мастерской, где посвященные создают новое искусство. Той зимой Фокин поставил «Павильон Армиды»; Александр Бенуа написал декорации, трактуя сюжет почти со сверхъестественной достоверностью. Его искусство действовало на меня как мощное приворотное зелье, заставляющее испытывать жажду новых наслаждений. В то время я посещала все выставки, организуемые «Миром искусства», и они явились для меня подлинным откровением. Я долго ждала, прежде чем мне удалось проникнуть в святая святых творческой лаборатории, где они теперь работали все вместе. Время от времени Фокин упоминал об этих заседаниях, проходивших на квартире Дягилева. Я с тоской стояла за пределами этого круга, испытывая чувства, сходные с теми, что пережила в раннем детстве, когда наблюдала за приготовлениями взрослых к ночному пикнику. Я заснула с мыслью о пикнике и проснулась с мыслью о нем же. Все взрослые отправились на пикник и взяли с собой Леву, а меня по кикой-то, несомненно, уважительной причине оставили дома. Я, спрятавшись в укромный уголок, плакала до полного изнеможения, пока меня не нашла Дуняша. «Идем скорее, милочка, Иван Петрович вернулся за тобой».

В распоряжение Дягилева предоставили Эрмитажный театр, где мы и начали репетировать. В перерывах придворные лакеи разносили нам чай и шоколад. Но внезапно репетиции прекратились. После нескольких дней тревожных ожиданий и упорных слухов, предсказывающих крушение нашего предприятия, мы возобновили работу, но на этот раз в маленьком театре «кривого зеркала» на Екатерининском канале. В перерыве режиссер объявил, что Сергей Павлович приглашает актеров пройти в фойе перекусить. Во время завтрака Дягилев произнес краткую речь. Он заявил, что, несмотря на то что мы лишились высокого покровительства, судьба антрепризы не пострадает. Он полагался на здравый смысл и преданность труппы, которая будет продолжать свою работу, невзирая на злонамеренные сплетни.

Немилость, в которую впал Дягилев, как впоследствии он сам объяснил мне, была вызвана его отказом подчиняться распоряжениям, касающимся выбора репертуара и распределения ролей. Он хотел (и небезосновательно) иметь возможность самостоятельно решать все художественные вопросы. Эти события не могли остаться в тайне, они открыто обсуждались, так же как и более личные причины, приведшие к возникновению этого препятствия.

Немногие знали, насколько тяжелым был этот удар для Дягилева. Еще меньше людей осознавало, каким мужеством и силой духа он обладал. Отказ в субсидии совершенно лишил предприятие каких-либо денежных средств. Человек менее значительный отступил бы, не рискуя взяться за подобное предприятие. В этот критический момент помощь пришла от друзей Дягилева из Парижа. Мадам Эдварде собрала по подписке сумму, необходимую, чтобы снять театр «Шатле».



Я выехала за границу раньше остальных, так как у меня был ангажемент в Праге, и должна была присоединиться к труппе в Париже. Поэтому я не присутствовала при «исходе», который, полагаю, выглядел весьма живописно. Я отправилась в Париж со смешанным чувством нетерпения и тревоги. В моем представлении Париж был городом бесконечных развлечений, разврата и греха. Мои идеи о невообразимой элегантности Парижа были настолько преувеличенными, что в глубине души я ожидала увидеть улицы с тротуарами, похожими на паркет бальных залов, по которым прогуливались только нарядные дамы в шуршащих шелковых юбках. Говорят, «парижанку можно узнать среди тысяч женщин по одной лишь неподражаемой манере подбирать юбки». Рано утром по пути с вокзала я встречала главным образом рабочих и симпатичных толстых хозяйшек в неопикуемых шалях и туфлях со стоптанными каблуками, с корзинами для провизии в руках. Больше всего я боялась показаться в Париже провинциальной и постаралась перед отъездом принарядиться как можно лучше. Приобретая шляпки и платья, требовала заверений, что именно такие носят сейчас в Париже. Меня решительно и громогласно спешили заверить, что это последний крик парижской моды. Вскоре после приезда мне случилось проходить по какой-то глухой улочке. Стайка мальчишек, прервав игру, уставилась мне вслед. «Вот оно! Они смеются надо мной», — подумала я и оглянулась, чтобы проверить, нет ли свидетелей моего унижения, а гримасничающие мальчишки закричали хором: «Elle est gentille parce-qu'elle est chic». («Она хорошенькая и шикарная») Их слова бальзамом пролились на мою душу: я полагала, что у парижских гаменов должен быть хороший вкус.

Эти два месяца, проведенные в Париже, навсегда останутся для меня незабываемыми. Две недели, предшествовавшие нашим выступлениям, были тяжелыми, полными лихорадочного беспокойства, доходящего почти до истерики. Театр «Шатле», дом Мишеля Строгова, лавчонка, где торгуют в розницу дешевыми эмоциями, этот рай для консьержек, был потрясен до основания ураганом первого Русского сезона в Париже. Рабочие сцены, грубияны, какие могут быть только в Париже, служащие администрации, педантичные и консервативные, — все смотрели на нас как на сумасшедших. «Ces Russes, oh, la la, tous un peu taboule». (Эти усские, о-ла-ла, все они немного не в своем уме) В глубине сцены группа рабочих пилила и стучала молотками, делая новый люк для ложа Армиды. В партере другая группа, еще больше, чем первая, изо все сил старалась их «перестучать». Здесь убирали первые пять рядов партера, чтобы освободить место для оркестра.

— Мне не нравится партер. Пусть вместо него сделают ложи, — решил Дягилев.

Мы репетировали, находясь между этих двух групп рабочих. Временами производимый ими грохот заглушал слабые звуки рояля. Доведенный до белого каления Фокин взывал в темноту:

— Сергей Павлович, ради бога! Я не могу работать среди такого шума!

Голос из тьмы заверял, что скоро станет тихо, и умолял нас продолжать репетицию. И мы продолжали ее до следующего взрыва. Ровно в полдень, словно по мановению волшебной палочки, шум прекращался, и рабочие покидали «Шатле». Полдень — священный час, с двенадцати до двух весь Париж обедает. Через несколько дней стало ясно, что нам необходимо ускорить темп работы и сократить перерывы на обед. Труппа проводила в театре целый день. По распоряжению Дягилева нам приносили из ресторана жареных кур, паштеты и салаты. Пустые ящики служили нам удобными столами. Атмосфера пикника, превосходная еда, молодой аппетит — все это само по себе вызывало радость. На что нам было жаловаться? И тем не менее эта картина ошеломила старика Онегина.

— Повсюду грязь, пыль, и вы, бедное дитя, тоже перепачканная, едите на этих грязных досках.

Политический эмигрант, суровый и неприветливый старик, представлял собой весьма примечательную личность. Я привезла с собой адресованное ему рекомендательное письмо от одного из своих родственников, но в суматохе первых дней совсем о нем

забыла. Предупрежденный о моем приезде старик сам пришел в «Шатле», чтобы разыскать меня.

Он не имел ничего общего с тем образом «симпатичного старичка», который я себе нарисовала. Довольно раздражительный, всегда готовый на уничтожающие замечания — таково было мое первое впечатление. После первой же встречи он предъявил на меня свои права. Он каждый день приходил в «Шатле», провожал меня в отель и садился поболтать. — Твой поклонник пришел, Тата, — поддразнивал меня Дягилев.

Я привыкла к Онегину, как к собственной тени. Так началась наша странная дружба с его едкими замечаниями и моими дерзкими ответами. Все, что бы я ни делала, было неправильно; и все же за его сарказмом таилась тщательно скрываемая симпатия ко мне, вызванная, по-видимому, присущим мне в те дни простодушием.

— Спрячьте же свою штопку, идет горничная, несет вам шоколад.

— А что плохого в том, что я штопаю чулки?

— Вы звезда, и вам не подобает заниматься подобной ерундой. — И тут он мягко добавил: — Как вам удастся оставаться настолько неизбалованной?

Онегин жил в крошечной квартирке нижнего этажа на рю де Мариньян.

— Здесь ничего нельзя трогать, — такими словами встретил он меня у порога и стал показывать мне свою пушкиниану: портреты, посмертную маску поэта; великолепные издания его произведений, портрет Смирновой, которой поэт посвятил одно из своих прекраснейших стихотворений. Радуюсь представившейся возможности блеснуть своими познаниями, я поспешно протараторила сонет, Онегин вежливо кивал в такт звучному ритму стихов.

— Умница! Никогда бы не подумал, что вы знаете его наизусть.

Мрачный, жалкий, одинокий, пользующийся репутацией скряги, он позволял себе есть только раз в день. В любое время года и в любую погоду Онегин ходил обедать в «Кафе де Пари», он всегда оставлял несколько кусочков сахара, подаваемых к кофе, и кормил ими лошадей. Все остальное время в окне его квартиры виднелся его склоненный над столом силуэт — он постоянно ждал посетителей, которые придут посмотреть его музей, но к нему приходили очень редко.

Проводя дни в лихорадочной суматохе, в ссорах, вспыхивавших среди артистов, музыкантов и режиссеров, мы наконец приблизились ко дню генеральной репетиции, а в сущности — парижской премьеры. Сливки общества, литераторы, художники и критики должны были решить, что нас ждет — успех или провал. По прошествии времени я с улыбкой вспоминаю неописуемую сумятицу тех дней: опера и балет постоянно оспаривали друг у друга право на сцену, Дягилев был третейским судьей. Победенная сторона, собрав свои пожитки, с возмущением удалялась в отдаленные уголки театра. Под раскаленной крышей, где было впору разводиться саламандр, мы репетировали часами. Чем ближе приближался день премьеры, тем невероятнее казалось, что из этого хаоса может возникнуть цельный спектакль. Наибольшие трудности представляла собой «Армида»: невозможно было научить статистов двигаться в такт музыке; крышку люка все время заедало, словно волшебный гобелен действительно демонстрировал свои сверхъестественные свойства. Фокин худел с каждым днем.

Пользуясь любой паузой в репетиции, мы с Нижинским бежали в глубину сцены и отрабатывали там пируэты. «Генерал» стоял рядом и одобрительно кивал. Ведь нас сопровождала в Париж целая свита. С нами приехали Светлов, историк этого нового этапа балета, наш верный летописец; несколько балетоманов, завсегдатаев партера, как бы составляли фон, и почтенный генерал Безобразов, главный арбитр техники танца. Как на купеческой свадьбе, которой можно было гордиться только в том случае, если на ней присутствовал нанятый генерал, обязанностью которого было вести невесту к алтарю, так и среди нас присутствовало лицо, занимающее высокий пост, чтобы морально поддержать в не менее важный момент нашей жизни. Номинально он считался советником по

вопросам классического балета, но фактически служил «сановником напоказ», в лице Безобразова Дягилев всего лишь отдавал дань традиции.

Несмотря на постоянные столкновения, взрывы гнева и ссоры, вся труппа, включая обслуживающий персонал, работала как один человек. Вспышки раздражения были вполне объяснимы среди людей, терпение которых постоянно подвергалось столь тяжелому испытанию; вскоре никто не обращал на них внимания — «они просто спорят». Казалось, в воздухе веяли явные признаки успеха; интерес был пробужден. Газеты сообщали ожидающей новостям публике об изумительной выносливости русских актеров. Детома постоянно рисовал Нижинского, почти в каждой возможной позе во время его экзерсиса. Робер Брюссель писал обо мне в «Фигаро»: «Les hymnes orphiques L'auraient jadis celebree entre le «parfum des images» qui est la myrthe et le «parfum d'Aphrodite» qui n'a point de nom...» («Орфические гимны воспели бы ее в те стародавние времена как «небесный аромат», который называется мирром, или как «благовония Афродиты», которые вообще не имеют имени») «Elle semble ne flechir que sous le poids des graces ineffables». («Кажется, будто она движется лишь по мановению какой-то неземной благодати») «Не верьте — это обычная французская лесть», — заявил Онегин. А над всем этим парил Дягилев, возвышаясь над ареопагом своих сателлитов.

В первый вечер мы давали «Князя Игоря», «Павильон Армиды» и несколько танцев, объединенных под названием «Пир». Уже много написано о нашем сезоне в Париже и о памятном первом вечере. Было бы бесполезно с моей стороны пытаться соперничать с литераторами, описывая это эпохальное событие. Они писали о том, что видели, я же не была зрительницей, а участвовала в создании этого и поэтому видела все с другой стороны сквозь призму собственного опыта.

Мне показалось, что довольно спокойное одобрение публики переросло в бурный восторг где-то в середине *pas de trois*, которое исполняли Нижинский, его сестра и я. Первая медленная часть, словно постепенно подводящая к кульминации высшей виртуозности, вызвала одобрителный шепот, волной пробежавший по залу. Затем Нижинский предпринял эффектный ход. Он должен был, оставив трио, уйти со сцены, чтобы снова появиться в сольной вариации. В тот вечер он решил совершить прыжок; он взлетел в нескольких ярдах от кулис и, описав в воздухе параболу, скрылся из виду. Никто из зрителей не видел, как он приземлился, для всех он взмыл в воздух и улетел. Раздался гром аплодисментов, оркестру пришлось прекратить игру. Возможно, эта находка Нижинского стала источником подобного же эффекта — знаменитого прыжка в окно в «Призраке розы». Вся сдержанность была отброшена, и залом овладел неистовый восторг. После моего соло оркестр опять вынужден был остановиться. По окончании танцев из «Князя Игоря», где невероятного успеха добился Больш, занавес поднимался бесчисленное число раз.

Затем последовал «Пир», представлявший серию не связанных между собой танцев. Среди них было *pas de deux*, которое исполняли мы с Нижинским. Дягилев назвал этот номер «Жар-птицей», хотя на самом деле это был фрагмент из «Спящей красавицы». Мне довелось станцевать в «Жар-птице» по счастливой случайности. В Петербурге я с завистью думала о том, что все лучшие партии предоставлены старшим и более опытным танцовщицам, чем я. «Жар-птица» предназначалась для Матильды, но она передумала и отказалась ехать в Париж.

Чрезвычайно живое, хотя и не слишком утонченное описание того, что происходило среди публики в тот первый вечер, когда мы с Нижинским танцевали это *pas de deux*, я позаимствовала у Михаила, нашего курьера: «Но когда вышли эти двое... Боже мой! Я никогда еще не видел публику в таком состоянии. Можно было подумать, будто под их креслами горел огонь». Я осознавала, что вокруг меня происходит нечто необычное, чему я не могла дать точного определения, нечто столь неожиданное и огромное, что способно было напугать. Все мои чувства были словно затуманены в тот вечер. Привычные барьеры между сценой и публикой рухнули. Двери, ведущие за кулисы, со всеми своими

хитроумными замками и строгими надписями оказались бессильны. В антракте сцена так заполнилась зрителями, что по ней стало трудно передвигаться. Мы с Нижинским с трудом нашли место, чтобы по обыкновению отрепетировать па и поддержки перед выступлением. За нами следили сотни глаз, до нас доносились обрывки восклицаний: «Он — чудо» или «C'estelle!». (Это она!) Затем полное напряжения ожидание в кулисах, когда мне казалось, будто я всем телом ощущаю удары своего сердца. Нижинский расхаживал взад и вперед своим легким кошачьим шагом, сжимая и разжимая руки. Перед нашим выходом на сцену появился Дягилев и напутствовал нас:

— С Богом!

Тогда-то с публикой и произошел тот удивительный феномен, который так красочно описал Михаил. Затем все смешалось в радостной суматохе, снова толпа хлынула на сцену, какая-то изысканно одетая дама перевязала мне рану на руке тонким, как паутинка, носовым платком — я порезалась о драгоценные камни, которыми был расшит кафтан Нижинского. Дягилев прокладывал себе дорогу через толпу взывая:

— Где она? Я должен ее обнять.

С этого дня он стал называть нас с Нижинским своими детьми. Кто-то спросил Нижинского, трудно ли парить в воздухе во время прыжка; он сначала не понял вопроса, затем чрезвычайно вежливо ответил: «Нет, нет, совсем не трудно. Нужно только подняться в воздух и немного задержаться».

Утро следующего дня было жарким и прекрасным, как, впрочем, и все дни нашего пребывания в Париже. Я не помню ни облачка на небе. Июнь словно околдовал весь город, его красновато-золотистый отблеск, окрасивший всю атмосферу, проник и в наши сердца. Подобно тонкому аромату духов, пропитавшему одежду, он проник даже в темные коридоры «Шатле».

Утром Онегин принес мне газеты. Он уселся рядом, пока я пила кофе, но разделить со мной завтрак отказался. На мне был палантин, служивший мне и накидкой для выездов, и халатом, и, как всегда, заштопанные чулки. Обе эти детали запечатлелись в памяти благодаря насмешкам Онегина. Этим утром я узнала о себе совершенно изумительные вещи, в частности, что стала «La Karsavina». (Употребление определенного артикля перед именем собственным означает восторженное отношение к художнику.) Во мне возникло странное чувство изумления, словно ощутила присутствие своего двойника. Наверное, я была немного тщеславной; я всегда в глубине души желала выглядеть «роковой женщиной». Видимо, поэтому из всех остроумных и приятных слов, написанных в мой адрес, я высоко оценила банальный мадригал:

*Ses yeux adamantins et son sourire d'une douceur cruelle.* (Ее алмазные Глаза и улыбка, полная жестокой нежности)

Мой ворчливый друг не принял полностью подобное описание, по его мнению, жестокая улыбка была всего лишь самодовольной ухмылкой на довольно приятной «мордочке». Что же касается моих алмазных глаз, он одобрил это сравнение и с тех пор стал называть меня «Алмазом». Он вел дневник и однажды показал мне следующую запись: «Алмаз у меня в гостях. Она сказала, что голодна, и я сварил ей чашку шоколада».

Самое трудное время осталось позади. Балеты чередовались с операми. Пел Шаляпин. Даже в Петербурге нечасто можно было испытать такое наслаждение, так как он выступал в основном в Москве. Естественно, я не хотела упустить подобную возможность и часто приходила послушать его, если удавалось, протискивалась в ложу осветителя или же стояла за кулисами. Для меня не имели значения неудобства, мое восхищение перед божественным актером переходило в иступленный восторг.

Не только я была охвачена этим очарованием, не имевшим границ. Мне эта жизнь казалась новой, полной неизъяснимого аромата; мое счастье не имело предела.

Испытание, которого я так страшилась, закончилось, Париж полюбил меня, теперь он баловал меня, лстыл мне. «Все мы живем в волшебных рощах Армиды. Сам воздух, окружающий Русский сезон, пьянит» — так Дягилев характеризовал те дни. По утрам я

делала экзерсис на пустой сцене, а он, подобно метеору, пролетал мимо, казалось, он никогда не останавливался — внезапно появлялся и так же внезапно исчезал посреди фразы. Только ограниченные человеческие возможности мешали ему стать вездесущим. Именно неукротимая воля Дягилева привела в движение все винтики и колесики громоздкой и неуклюжей машины его сезона. Трудно найти более верное, чем дягилевское, определение атмосферы, окутывающей Русский сезон и его зрителей, — легкое веселое опьянение. Каждый вечер происходило нечто, похожее на чудо: сцена и зрительный зал дышали единым дыханием, охваченные общим чувством.

Самой важной чертой творчества Бенуа было то, что он не просто воспроизводил данную эпоху, он расцветивал ее, наделял таинственной, сверхъестественной властью над нашим воображением. Видеть его постановки, принимать в них участие — все равно что жить чужой забытой жизнью. Неудивительно, что Дягилев выбрал сравнение именно с Армидой, чтобы описать то состояние, в котором мы все пребывали в те дни.

Фантазмагория сцены вмешивалась в жизнь, окрашивая ее волшебными красками.

Подлинность русского искусства была столь глубока, что даже мы сами едва ли были способны осознать ее сполна, но именно она больше всего привлекала французов, даже больше, чем наше интуитивное понимание стиля; их похвалы в адрес «Армиды» отличались некоторой сдержанностью, словно французы порицали нас за вторжение в их культуру. Париж был покорен варварской красотой иступленных движений, шемящей тоской бескрайних степей, наивной непосредственностью русских, преувеличенной роскошью Востока. «Искусство танца в нашей стране пребывает в состоянии полнейшего упадка, — писал Марсель Прево. — Une sorte de convention de laisser aller s'est etablie entre les artistes et le public. Des pretresses sans foi accomplissent au petit bonheur des rites perimes devant des fideles sceptiques et distraits». («Между публикой и артистами установилось нечто вроде соглашения о взаимной небрежности: лишенные веры жрицы кое-как, на скорую руку, выполняют устаревшие обряды перед взорами своих скептически настроенных и рассеянных прихожан»)

Русский сезон, словно порыв свежего ветра, пронесся над французской сценой с ее устаревшей условностью. «La danse nous revient du nord», («Танец вернулся к нам с севера») — заявлял другой критик.

Я иногда спрашиваю себя, гордился ли собой Дягилев в свои счастливые часы — ведь ему удалось объединить целое созвездие талантов — сам Шаляпин, Бенуа (мэтр), Бакст (Le bateau de la saison russe), (Корабль Русского сезона) имя которого было у всех на устах, его чопорность денди, пунктуальность и неизменное добродушие резко контрастировали с яростным хаосом наших репетиций. Фокин кричал до хрипоты, рвал на себе волосы и творил чудеса. Павлова мимолетным видением мелькнула среди нас и уехала, выступив в паре спектаклей; муза Парнаса — так назвал ее Жан Луи Водуайе. Наиболее виртуозная из всех современных балерин Гельцер тоже была среди нас, ею восхищались почитатели академического искусства. Дух экзотики нашел свое наивысшее воплощение в Иде Рубинштейн и в ее незабываемой Клеопатре. Перечисление может показаться скучным; и все же я должна добавить еще имя Нижинский — целые тома книг не могут сказать больше, чем одно это имя. Была какая-то забавная нежность в том, как французы произносили фамилии Федорова, Фокина, Шоллар; сама интонация, казалось, выражала восхищение.

Наш парижский сезон закончился празднеством под открытым небом, устроенным в нашу честь мадам Морис Эфрюсси. Перед отъездом из Парижа я всего лишь раз увидела Дягилева, но он ни словом не обмолвился о своих планах. Мне в голову тогда еще не приходили мысли о нашем будущем, о долгом и тесном сотрудничестве, и все же этот первый сезон скрепил нашу совместную работу. Значительно позже, когда предвоенные годы отошли в далекое прошлое, мы любили возвращаться в памяти к маленьким происшествиям того времени. Дягилев мастерски рассказывал случай, который назвал манифестацией *vertu farouche* (Неприступная добродетель) Таты. В какой ресторан повел

меня в тот вечер поужинать Дягилев, не помню, все они казались мне настолько шикарными, что приводили меня в замешательство. Нам предстояло встретиться с одним влиятельным режиссером, поставлявшим смешные материалы для парижских анекдотов, клоуном, но в то же время человеком, обладающим глубокой проницательностью в делах сцены. До сих пор не могу понять, за кого он меня принимал. То, как он разговаривал со мной за столом, показалось бы мне совершенно невероятным, если бы не его фиглярство, заставившее меня считать, будто его реплики не имеют личного характера. Остроумные реплики Дягилева переключали его в другое русло. Инцидент произошел, когда мы вставали из-за стола. Дягилев так потом описывал этот момент: «Можете себе представить мой ужас, когда Г. ущипнул Тату и она с пронзительным криком плюхнулась на стул. Она отказывалась вставать до тех пор, пока я не убедил ее принять мою руку. О том, что происходило потом, может поведать Нувель. Ему пришлось возить ее по улицам до тех пор, пока кризис не отступил. Он проехал много миль, прежде чем ему удалось убедить ее в том, что ее добродетель осталась незапятнанной».

Подобно разборчивой девице из русской сказки, которая никак не могла выбрать себе мужа, я оказалась перед дилеммой: театральные агенты постоянно обращались ко мне с предложениями. В Америку я ехать не хотела: боязнь морской болезни вычеркнула ее из моего списка. Против Австралии я испытывала предубеждение из-за каких-то туманных, но тревожных фраз, вычитанных из учебника географии. Лондон же был близко и казался чрезвычайно привлекательным — в школе я так любила Диккенса! Я подписала контракт в Лондон, где выступления должны были начаться сразу же вслед за парижским сезоном, но не потрудилась подписать печатное приложение, показавшееся мне слишком длинным. Вскоре я поняла, насколько благоразумнее было бы изучить приложение, называвшееся «типовой контракт». Во всех трудных делах практического свойства я обращалась за помощью к барону Гинзбургу, знавшему меня с детства. В те дни он, интересуясь Русским сезоном, был в Париже и, как мне кажется, делал все от него зависящее для достижения успеха.

— Вы поступили опрометчиво, — сказал он. — Возможно, продали себя в рабство. Встревоженная, я стала читать параграф за параграфом этот длинный типовой контракт, а Гинзбург объяснял мне их смысл. Оказалось, что я на много лет теряла право принимать какие-либо предложения, кроме поступающих от моего нынешнего импресарио. Я отправилась к нему вместе с Гинзбургом. Ко мне пришел Онегин, и мы взяли его с собой. В приемной сидело много посетителей. Меня тронуло покорное и смиренное настроение всех этих девушек; никто из них не запротестовал, когда меня и моих спутников пригласили пройти без очереди.

Проинструментированная Гинзбургом, я выразила решительный протест против того, что назвала захватом людей в рабство. Импресарио Маринелли, маленький человечек с галантными манерами, разорвал оскорбительный документ со словами: «N'en parlons plus, madame». («Не будем больше об этом говорить, мадам») Мы принялись обсуждать условия моего контракта, и импресарио заявил, что намерен сам сопровождать свою звезду.

## Глава 20

Первое посещение Лондона. — Первые впечатления. — «Колизей». — Аделина Жене. — Подкуп. — Первые английские друзья

Я не знала ни единой души в Англии и не понимала ни слова по-английски, когда Маринелли привез меня в Лондон в воскресенье и поселил в отеле на Лестер-сквер. Кому не знакомо это странное чувство: ощущение пустоты в том месте, где должно находиться сердце, и постоянная внутренняя дрожь, точное место которой невозможно определить?

— Сделайте глубокий вдох, чтобы ослабло давление на солнечное сплетение, — посоветовал мне однажды доктор.

Но в те давние дни у меня была одна панацея от всех бед: «Господи, помяни царя Давида и всю кротость его!» В Петербурге мы танцевали два раза в неделю, все остальное время проводили тщательно и добросовестно готовясь к спектаклям. После этого мысль о двух представлениях в день, после одной короткой репетиции в первое утро, привела меня в ужас.

Маринелли, опрятный и щеголеватый, стоял рядом со мной на сцене. Репетиция еще не началась, артисты распаковывали свои чемоданы, извлекая оттуда свой затейливый реквизит. Рабочие сцены расставляли богато украшенную мебель, гордость «Колизея», известную как «гарнитур Леви». Маринелли расхваливал красоту и декоративное убранство зала, утверждая, будто другого такого театра, как «Колизей», невозможно сыскать. Я же слушала его рассеянно, так как ощущала сильный сквозняк, к тому же мое внимание привлекли доски пола, и размышляла, удастся ли мне избежать всех этих медных дощечек с номерами. Я нервничала и волновалась, мне казалось, будто никто ни о чем не заботится и обо мне забыли. Участники различных номеров выходили на сцену и, засунув руки в карманы, расхаживали по ней, пока оркестр исполнял нужную мелодию. Наступила пауза — очевидно, кого-то не оказалось на месте. Позвали Ramases, и вскоре прибежал крошечный человечек в вельветовом пиджаке. Мой черед наступил лишь в конце репетиции, но что-то пошло не так: музыканты путались в нотах, дирижер сидел с трагическим и отсутствующим видом. Маринелли объяснил, что в моей партитуре не хватает многих частей. Еще в Париже я доверила подобрать ноты нашему курьеру Михаилу. До сих пор не знаю, как нам удалось выйти из положения — то ли неполадки с нотами оказались не столь ужасными, как показалось с первого взгляда, то ли заботливые служащие «Колизея» успели вовремя сделать копии недостающих частей, но к дневному спектаклю все было в порядке. Я испытывала чувство горячей благодарности к мистеру Дову, который помог мне преодолеть все трудности. Музыка, исполнявшаяся на этом первом дневном спектакле, даже напоминала Чайковского, своего автора.

Теперь сцена «Колизея» покрыта превосходным линолеумом, но я была первой балериной, там выступавшей, и его сцена тогда подходила для чего угодно, только не для балета. О чрезвычайно твердый пол и медные заклепки я разбивала пальцы ног в кровь. Первая неделя моих выступлений закончилась, и я с ужасом думала о предстоящих трех. Ещё больше, чем сбитые ноги, меня угнетало одиночество. Раздражали витражи ресторана в отеле и шарманка, громко игравшая на соседней улочке по утрам и днем, когда я приходила отдохнуть между спектаклями. Эти шарманки или сменяли одна другую, или же одна проявляла невиданное упорство. По ночам люди расхаживали по отелю, и порой мне казалось, будто я слышу их недобрые голоса. И это все, что я узнала тогда о Лондоне, — этот отель и «Колизей», да и к ним с трудом приспособлялась. Вымощенные кафелем коридоры и затянутые ситцем артистические уборные казались мне слишком чистыми, слишком «больничными». Мне не хватало привычного запаха пыли и старых декораций, беспорядочного нагромождения бутафории, работы мастерских — всего специфического театрального хозяйства. Каждую неделю номера менялись: одни артисты уезжали, на их место приезжали другие со своими чемоданами и своим реквизитом, а затем и они уезжали, не оставив после себя ни малейшего следа, — просто меняли один отель на другой.

Нельзя сказать, что окружающие были совершенно лишены доброты. Многие старались мне помочь. Моя костюмерша обучала меня английскому языку по системе Берлица. В результате я овладела хоть и не безукоризненными, но весьма полезными для моей повседневной работы выражениями: «Полный зал», «Быстро переодеться», «Ваш выход следующий». Благодаря этому маленькому словарному запасу я уже могла ориентироваться в окружающей обстановке. Мне не хватало блеска и романтизма театральной жизни. Акклиматизация происходила болезненно. После первой недели

выступлений Маринелли предложил мне продлить контракт. Я понимала, как выгодно для меня его предложение; сэр Освальд (тогда еще просто мистер) Столл собирался удвоить мой гонорар. Однако худшего момента для разговора о продлении срока выбрать было просто невозможно. Когда Маринелли пришел со своим предложением, я, глотая слезы, сидела за ленчем, и он встретил самый нелюбезный и плаксивый прием. Большую часть времени мои глаза были полны непролитых слез, и я пребывала на грани истерики. Не знаю почему, но именно полуденная еда, в особенности десерты, которые называли *frandises*, (лакомства, сласти) особенно усугубляли мои страдания. Время от времени я давала волю своей ярости, обрушивая ее на Маринелли. Первоначально он намеревался через день-другой вернуться в Париж, но изо дня в день откладывал свой отъезд, его, по-видимому, задерживали в Лондоне переговоры, которые он вел в моих интересах по поводу гастролей в «Колизее» на будущий год, но пока не осмеливался завести со мной об этом разговор. Похоже, его главным занятием в те дни было баловать меня. Однажды утром он пригласил меня в гостиную и предоставил мне на выбор полдюжины щенков. Все они были просто неотразимыми. Я не могла выбрать. Но тут ко мне подошел рыжий спаниель короля Карла, понюхал и лизнул меня в щеку, после этого трогательного призыва я больше не колебалась. Согласно родословной его звали Принц Артур, но я сочла такое имя слишком длинным. В тот же вечер за ужином, на который меня, как обычно, пригласил мой галантный маленький импресарио, обсуждались различные имена до тех пор, пока я не остановилась на Лулу. Впоследствии Дуняша искадила его, превратив в Лулушку. Несмотря на то что он был своенравным, непослушным животным, я до смешного привязалась к нему, и он относился ко мне с истерической преданностью. Когда я возвращалась со сцены в свою артистическую уборную, то слышала его горестный вой. Мои соседи, семья акробатов, говорили мне, что в мое отсутствие он лаял не переставая. Маленький питомец замечательным образом изменил всю мою жизнь; время еды утратило свою горечь — изобретательные уловки Лулу сделали их забавными. Он обычно усыплял мою бдительность, спокойно сидя под стулом, и вдруг выскакивал, словно чертик из табакерки, у резного столика. Я никогда не принадлежала к числу здравомыслящих любителей собак: к чему лишать этих обладающих столь короткой жизнью созданий их маленьких радостей. Безошибочный инстинкт подсказал Лулу выбрать красивую строгую даму, приходившую ежедневно и садившуюся в дальнем углу. Таким образом он, как обычно, добыл себе лакомый кусочек и способствовал моему знакомству с Аделиной Жене. Она первой заговорила со мной, и меня бесконечно порадовали ее добрые и ободряющие слова. Она танцевала в «Эмпайр». Без какой-либо посторонней помощи она прокладывала путь еще окончательно не оформившемуся английскому балету. Аделина Жене первой вступила в борьбу против остатков викторианских предрассудков не только чистотой своего искусства, но и высокой духовностью. Она завоевала не только восторженное отношение к себе лично и своему искусству, но и искреннее уважение.

Добрый подарок Маринелли оказался мудрым тактическим шагом, у меня сразу улучшилось настроение, я стала более сговорчивой. Теперь он мог говорить со мной о контрактах, не рискуя быть перебитым злобными тирадами и упреками. Еще несколько дней уже менее сварливой раздражительности, и я подписала пролонгацию. Теперь мне стыдно вспоминать обо всех тех обвинениях, которые я обрушивала на голову Маринелли, называла его работником, говорила, что он мучает меня, терзая своими настойчивыми предложениями. Хотя я сама не верила и | юловине своих слов, потому что в глубине души осознавала, что он был прав, стремясь максимально воспользоваться плодами моего успеха. Чем яснее я понимала, что мне придется уступить, тем сильнее горячилась.

Маленький человечек с какой-то трагической маской на лице, Маринелли всегда был безукоризненно одет и носил большой цветок в петлице. Когда-то он был человеком-змеей и теперь любил рассказывать мне о своих сценических успехах, подчеркивая



артистизм своей работы. Залитый лунным светом пейзаж, пальма, вокруг которой он обвивался. «Ah, mais c'était tres artistique». («Это было так артистично») Его чрезвычайно живое изображение вызывало у меня содрогание. Сама не знаю почему, он напоминал мне месье Турлутуту. Возможно, он даже спал в колыбели, словно карлик из «Флорентийских ночей» Гейне, но, в отличие от того, был доброжелательным и любезным — букет гвоздик появлялся у меня в номере каждое утро, даже после его отъезда.

Когда пришло время покинуть Лондон, выяснилось, что я почти примирилась с ним. Заявить, будто я нашла друзей, значило бы присвоить себе заслугу, которая на самом деле мне не принадлежала, скорее друзья нашли меня. Однажды я получила письмо, а вслед за ним явился и его автор. Это был будущий автор первой английской книги о русском балете. Пока была написана только одна ее глава, о «Жар-птице», и Артур Эпплин пришел прочесть мне ее во французском переводе. Я обрела друга, а Лулу получил красивый ошейник со своим именем. Воскресные дни стали более интересными, Эпплин и его жена брали меня на прогулки, приглашали на прелестные актерские ужины. Я почти не знала имен великих англичан и исключительно из чувства личной симпатии с наслаждением общалась с Фредом Терри и его красавицей дочерью. Артур Эпплин ловко тасовал полдюжины французских слов, и этого оказалось достаточно для того, чтобы поддерживать разговор на высокоинтеллектуальном уровне. Мне хотелось узнать из авторитетных источников, действительно ли английские поэты столь «возвышенные», какими они представляются в переводах Бальмонта. Томик Суинберна и учебник английской грамматики, присланные Эпплином, просветили бы меня, если бы я смогла их осилить. Но сам по себе подарок подтвердил мою веру в действительную доброту сердца, присущую англичанам. Настроенная не видеть ничего хорошего в окружающем, в этом вопросе я все же не ошиблась. Теперь же от моих предубеждений не осталось ничего. Моя любовь к прогулкам и исследованию чего-то нового нашла полезное применение в Лондоне. Когда я закончу эту книгу, то продолжу совершать прерванные на время волнующие открытия. И все же очень жаль, что здесь нигде не видно персидской герани и на окнах нет горшочков с бальзаминами, а настурции считаются вульгарными цветами. Лондон абсолютно подходил бы мне, если бы от него можно было пешком дойти до моего родного города и Театральной улицы.

## Глава 21

Дягилев. — Начало нашего длительного сотрудничества. — «Тамара». — Стравинский. — Перемены. — Балет сегодня

События каждого прошедшего года я вспоминаю по своим собственным вехам — я никогда не вела дневника. Однажды в училище я попыталась вести его и написала: «Я начинаю этот дневник для того, чтобы исправить свой характер». Мне показалось, это будет правильным началом, я позаимствовала эту фразу из недавно прочитанного романа. Однако через несколько дней мой дневник зачах, никаких иных советов почерпнуть из романа я не смогла. Моя собственная система регистрации событий работает вполне эффективно, хотя и кажется на первый взгляд немного безумной. Чтобы припомнить важные события, мне нужно вернуться назад и вспомнить, что им сопутствовало. Похоже, мое более глубокое постижение личности Дягилева и его творческой лаборатории началось с того дня, когда раздался телефонный звонок и я, слегка раздосадованная тем, что пришлось оторваться от дел (я в тот момент старательно переводила на русский Новерра), подошла к телефону и сняла трубку. Очевидно, идея только что кристаллизовалась в мозгу Дягилева, и он тотчас же позвонил. Он торопливо, словно спеша сообщить мне какую-то сенсационную новость, сказал, что придумал для меня замечательную роль. Всего в нескольких словах он чрезвычайно ярко рассказал мне о

«Призраке розы». Дягилев умел простым, на первый взгляд случайным замечанием как бы раздвинуть занавес и возбудить воображение.

Насколько мне известно, в юности Дягилев занимался композицией, он написал несколько симфоний и представил их на суд Римского-Корсакова. Говорят, одно время он занимался и пением. Несомненно, высшее образование, воспитание и утонченный вкус сыграли свою роль и помогли Дягилеву стать тем, кем он стал впоследствии, но эти факторы играли второстепенную роль. Поверхностные занятия искусством, некоторые знания в этой области — традиционные качества нашего мелкого дворянства, но они редко служат какой-то большей цели, чем формирование милых дилетантов. То ли по счастливой случайности, то ли по воле providения все честолюбивые попытки Дягилева не увенчались успехом. Судьба словно приберегла его для решения уникальной задачи. Я могу говорить о Дягилеве только с того времени, когда вступила с ним в контакт, то есть говорить эмпирически. Мое исполненное любви видение в какой-то мере восполняет недостаток точных знаний по поводу его чрезвычайно рано развившегося интеллекта. Мне он представляется младенцем Геркулесом, творящим подвиги, еще не успев выйти из колыбели. А колыбелью карьеры Дягилева можно назвать основание «Мира искусства». Тогда еще совсем молодой человек, он уже обладал способностью схватывать главное, несомненное свойство гения. Он умел отличить в искусстве истину преходящую от истины вечной. В годы нашего знакомства он никогда не ошибался в своих суждениях, и артисты безоговорочно доверяли его мнению. Ему доставляло огромную радость, когда удавалось предугадать ростки гениальности там, где другие, обладающие менее тонкой интуицией, видели лишь эксцентричность. «Обратите на него внимание, — как-то сказал Дягилев, указывая на Стравинского. — Этот человек стоит на пороге славы». Это замечание было сделано на сцене Парижской оперы во время репетиции «Жар-птицы». И действительно, буквально несколько дней спустя слава Стравинского вспыхнула ярким пламенем. На родине композитор был практически неизвестен. Дягилев, услышав на концерте его первое произведение, предложил ему написать музыку к «Жар-птице». Зимой предшествующей нашему второму заграничному сезону, мы говорили о Стравинском как о новом открытии Сергея Павловича. Ида Рубинштейн принадлежит к числу его ранних находок, Дягилев без малейших колебаний предугадал, какие возможности заключены в ее удивительной внешности. В список знаменитостей его рукой вписано немало имен. Поиски новых талантов не мешали Дягилеву с уважением относиться к признанным мастерам, но он не мог удержаться от того, чтобы постоянно отыскивать потенциальные «жемчужины». Этот постоянный поиск новых проявлений красоты абсолютно соответствовал его темпераменту; едва достигнув цели, он, влекомый своим беспокойным духом, устремлялся вперед, к новой цели. После первой совместной работы между мной и Дягилевым установилась творческая связь. Для осуществления своих замыслов ему нужны были молодые восприимчивые личности, из которых можно было лепить, словно из мягкой глины, придавая необходимую форму. Он нуждался во мне, а я безоговорочно верила в него. Он помог мне расширить горизонты моего художественного восприятия; он образовывал и формировал мои вкусы без каких-либо нарочитых философских рассуждений и проповедей. Несколько небрежно брошенных им слов как бы выхватывали из тьмы ясную концепцию, образ, который предстояло создать. Часто я с грустью размышляла о том, как много он мог бы мне дать, если бы потрудился систематически заниматься моим образованием. Хотя, кто знает, возможно, мне были нужны именно такие несистематические уроки. Доводы и логические заключения никогда не помогали мне. Чем больше я рассуждала, тем бледнее выглядел образ, на котором я пыталась сосредоточиться. Мое воображение разыгрывалось только после того, когда в действие вступала какая-то скрытая пружина. У меня был весьма скромный багаж личного опыта. Мне не довелось испытать тех эмоций, которые должны были воплотить трагизм, присущий большинству моих ролей. С помощью сверхъестественной интуиции Дягилев умел привести в действие скрытые пружины, от

которых у меня пока еще не было ключа. По дороге из партера, откуда он наблюдал за репетицией, Дягилев остановился, чтобы сказать несколько слов по поводу моей интерпретации роли Эхо.

— Не прыгайте, как легкомысленная нимфа. Я вижу скорее изваяние, трагическую маску, Ниобею.

Он бросил реплику и отправился своей дорогой. А перед моим мысленным взором тяжелая метрическая структура трагического имени обратилась в печальную поступь не знающего покоя Эхо.

А Тамара, от которой я в отчаянии чуть не отказалась! У меня первоначально сложилась ошибочная концепция роли, и мастер специально пришел, чтобы поговорить об этой роли. «Немногословие — сущность искусства». И еще «Мертвенно бледное лицо, сдвинутые в одну линию брови». Больше ничего, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы пустить в действие пружину и заставить меня увидеть Тамару во плоти.

Я вернулась из Лондона, подписав с «Колизеем» контракт на гастроль будущей весной. Когда Дягилев узнал об этом, он был чрезвычайно раздосадован. Его парижский сезон начинался вскоре после начала моих гастролей в Лондоне, а он не мог обойтись без меня даже короткое время. Посыпались взаимные обвинения: он упрекал меня за то, что я не сохранила свою свободу; я возражала, что ему следовало предупредить меня о своих планах. Мы оба очень расстроились. Я охотно пожертвовала бы всеми материальными выгодами лондонского контракта, лишь бы не лишиться парижского сезона, но была связана подписью. В контракте Дягилева с Оперой мое участие оговаривалось в качестве особого условия; и если бы он даже захотел этого, он не смог бы провести сезон без меня. Во имя общего дела мы оставили взаимные упреки и стали вместе думать о том, как выбраться из затруднительного положения. Я засыпала Маринелли отчаянными телеграммами, но всегда приходил один и тот же ответ — не может быть и речи об изменении даты гастролей в «Колизее», контракт должен быть выполнен. В те дни я испытывала огромное напряжение. Я была занята в значительной части репертуара Мариинского театра, разучивала новые партии к весне, и буквально подвергалась пыткам со стороны Дягилева. Я стала бояться телефонных звонков — сопротивляться настойчивости Дягилева было нелегко. Он подавлял своего оппонента не логикой аргументов, а давлением своей воли и невероятным упорством. Ему казалось вполне естественным, чтобы все содействовали его продвижению вперед, и он надеялся убедить меня нарушить контракт. Его щупальца все крепче и крепче сжимались вокруг меня — настоящая моральная инквизиция! Дягилев постоянно приглашал меня прийти к нему вечером, посмотреть, как работает художественный совет, и «поговорить о делах». И хотя мне очень хотелось подышать атмосферой предстоящего нового сезона, я понимала, что мой визит превратится для меня в подлинное «хождение по мукам».

В небольшой квартире Дягилева бил пульс грандиозного замысла: стратегия наступления и отступления, планы и бюджеты, музыкальные вопросы — в одном углу, жаркие дебаты — в другом. И министерство внутренних дел, и маленький Парнас — все это на ограниченном пространстве двух комнат. Все постановки первоначально обсуждались именно здесь. Вокруг стола сидели «мудрецы», члены художественного совета, и обдумывали дерзкие идеи. Те дни ушли безвозвратно. Невообразима мальчишеская безудержность этих пионеров русского искусства. Какой бы опыт мы ни обрели в последующие годы, ничто уже не может вернуть назад тот прежний энтузиазм.

Все артистические силы, находившиеся в распоряжении Дягилева, проявляли горячее рвение. Ареопаг возглавлял Бенуа, у которого вдохновение сочеталось с ясностью мысли, мудрость — с практической сметкой. Он был преисполнен доброжелательности и обладал уникальной эрудицией. Его мастерство слияния фантастического и реального тем более изумляло, что он достигал магического эффекта самыми простыми средствами. При обсуждении «Жар-птицы» членов художественного совета особенно волновал вопрос, как изобразить всадников, символизирующих День и Ночь.

— Невозможно допустить, чтобы лошади гарцевали на сцене и разнесли декорации на куски. Эффект будет карикатурным — давайте сфабрикуем.

— Нет, — сказал Бенуа, — пусть всадник медленно проедет вдоль просцениума. Символ будет очевиден, если его не слишком подчеркивать.

В конце концов сделали так, как предлагал Бенуа, и это был волнующий момент. Совсем иной Бакст, любитель всего экзотического и фантастического, кидался из одной крайности в другую. Пряный и жестокий Восток и безмятежная равнодушная античность в равной мере пленяли его.

Рерих — сама загадочность; слегка заикающийся пророк, он мог сделать гораздо больше, чем обещал. Когда к нам присоединился Добужинский, он внес в работу элемент веселого озорства. Это был замечательный мастер декорации, великий романтик, застенчивый, наивный и простой.

Пока они сидели в одной комнате, в другой Стравинский с Фокиным работали над партитурой, и каждый раз, как у них возникали споры по поводу темпа, они обращались к Дягилеву. Однажды я видела японского артиста, демонстрировавшего умение сосредоточиться на четырех предметах сразу, на меня он не произвел впечатления, ведь я видела Дягилева за работой — все возникавшие проблемы он разрешал быстро и решительно. Ему в высшей мере было присуще чувство театральности. Как бы ни был Дягилев поглощен своими делами, он не выпускал из виду своих единомышленников.

— Господа, вы отходите от главной темы, — время от времени подавал он голос из своего угла.

Постоянно происходили какие-то неприятности: то вмешивались торговцы; то приходили тревожные известия: если тотчас же не поступит холст, Анисфельд не сможет закончить декорации.

Накануне моего отъезда в Лондон еще более настойчивое, чем обычно, приглашение «зайти и поговорить о делах» снова привело меня в квартиру Дягилева. Думаю, он хотел в последний раз испытать на мне свою гипнотическую силу, прежде чем я вырвусь из-под его влияния. В самом воздухе было разлито напряжение, нервы измотаны до предела, так как еще ничего не было готово к гастролям, а времени почти не оставалось. Дягилев пригласил меня в свою комнату, единственное не захваченное гостями место. Я обещала ему попросить отпуск после первых двух недель выступлений в «Колизее», и Дягилев напомнил мне о моем обещании. Мы уже перестали ссориться, общая забота объединила нас теснее, чем когда бы то ни было. Дягилев говорил со мной ласково; мы даже немного всплакнули. Я осмотрелась: в комнате горела лампадка, Дягилев кидался усталым и более человечным в этой скромной, лишенной каких бы то ни было украшений комнате, а я-то ожидала увидеть здесь изысканность и роскошь. Тогда я еще не понимала, что его творческая личность находила свое воплощение в произведениях фантазии. В его доброжелательных словах звучала покорность судьбе — он уже понял, что стоит ему преодолеть одно препятствие, вставшее на его пути, как на его месте тотчас же возникнет другое. В конце концов, самые значительные трудности он уже преодолел в прошлом. Обращаясь к этому прошлому, он рассказал мне забавную историю: его камердинер, как это было принято среди русских слуг, беспрепятственно входил и выходил из комнаты. Дягилев и его друзья перенесли недавно тяжелый удар и очень часто говорили об интригах и интриганах. Когда Василий понял, в чем дело, то предложил свою помощь: — Барин, может, нам следует разделаться с этими негодьями?

— Что ты хочешь этим сказать? Рука слуги сделала выразительный жест, словно отбрасывая что-то в сторону. Что можно сделать, Василий?

— Может, я, барин... — И он снова повторил свой жест. — Понадобится всего лишь немного пороха.

Василий, как многие старые слуги, был беспредельно предан хозяину. Направляясь в Америку и пересекая океан, Дягилев каждый день приказывал Василию коленопреклоненно молиться о благополучном исходе путешествия. И, пока слуга бил

челом перед иконой, хозяин расхаживал взад и вперед по палубе в более спокойном состоянии духа.

Казалось бы, человек, по своему рождению и воспитанию так крепко связанный с крепостной Россией, человек настолько русский по своему складу ума и привычкам, как Дягилев, мог совершенно потеряться, оказавшись полностью оторванным от привычного окружения; но с ним этого не произошло. В нем абсолютно нет яда сентиментальности. Он не только не сожалеет о вчерашнем дне, все его мысли устремлены в завтра. Он не хранит реликвий и не оглядывается назад, чтобы посмотреть на прошлое. Может, именно в этом и кроется объяснение его неустанной творческой мощи. И все же на табличках памяти он высекает свои собственные отметки. В 1920 году во время нашего парижского сезона я встретила Дягилева в лабиринте коридоров «Гранд-опера», где и по сей день могу заблудиться. Он возник в конце коридора и протянул мне навстречу руки:

— Я ишу вас повсюду, ведь сегодня десятая годовщина со дня постановки «Жар-птицы».

Он был вполне искренен, когда в вечер возобновленной постановки «Жизели» в Опере пришел ко мне в артистическую уборную, чтобы сопроводить меня вниз, и сказал:

— Пойдемте. Давайте создадим «Жизель». Благословляю вас.

— Не менее искренен он и сейчас, когда содрогается, если ему предлагают возобновить этот балет.

В его творческой деятельности, во всей ее протяженности нет никаких несообразностей. В длинной цепи его удивительно противоречивых методов он отдавал каждому из них должное в свое время и затем переходил к следующему. И все имело свою закономерность, каждый день по-своему прекрасен, потому что он сегодняшний день. Хотя я больше не вхожу в советы, разрабатывающие программы его новых сезонов, тем не менее благодаря Дягилеву я пришла от романтизма, в котором воспитывалась, к модернизму «Парада» Сати. Оказалось, я с легкостью могу настроиться на новую волну. Хотя порой это требовало от меня полного отказа от моих собственных чувств, я послушно следовала за Дягилевым и с чистой совестью решала трудные задачи и, пожалуй, испытывала при этом даже большее удовлетворение, чем работая над ролями, для которых, казалось, была создана. Но на этом я поставлю точку. И теперь коснусь последних событий с чувством нежной любви и симпатии, хотя меня и терзает чувство раз-диогния между моей безграничной верой в гений Дягилева, великого даже в своих поражениях, и опасением, что балет отходит от своих первоначальных насущных принципов.

Каждое искусство сильно только в своей собственной области; если же оно пытается включить в себя принципы другого искусства, то оно обречено на неудачу. Эклектизм последнего периода русского балета представляет собой огромную опасность.

## Глава 22

Два ангажемента одновременно. — Лопухова в Париже. — «Жизель». — Разногласия с Нижинским. — Я становлюсь прямой-балериной. — Шаляпин. — Осложнения и слезы. — Нижинский и императрица. — Его отставка

Несмотря на все старания, я не могла решить проблему и выполнить два ангажемента одновременно. Кроме того, я отлично понимала свою неправоту, и мне оставалось только просить мистера Столла об одолжении, но мне было стыдно просить этого одолжения. Однако все разрешилось благополучно. Маринелли, поворчав и повздыхав, все же принял мою сторону, хотя это было не в его интересах. «Месье Турлутуту» предстал передо мной в ореоле благородного бескорыстия. Он был необычайно предан мне и даже не пытался уклониться от неприятной задачи добиться у Столла санкции на мое дезертирство. Ему было отказано, но я заставляла его снова и снова раз за разом ходить к Столлу — безрезультатно. Оставалась последняя надежда на личную встречу со Столлом. Во время

нее Маринелли помогал и подсказывал мне, и я, по-видимому, продемонстрировала столь искреннее отчаяние, что добилась своего. Опять же я могу только восхищаться благородством и справедливостью мистера Столла.

Мне позволили уехать через две недели, и я должна была вернуться к концу месяца. Тем временем по другую сторону канала Дягилев нажимал на все пружины и постоянно присылал ко мне курьеров, чтобы сообщить, что он ждет меня. За все время нашего знакомства я получила от него всего лишь одну короткую записочку. Его отвращение к письмам являлось неистощимым объектом для шуток. По-видимому, он действительно сильно беспокоился. Онегин тогда находился в Лондоне со мной, он приехал туда под предлогом того, что ему нужно было поискать какие-то рукописи Пушкина в Британском музее. Он остался там еще на пару дней после моего отъезда и так написал мне в своем лаконичном и шутовском стиле: «Телеграфировал Наполеон. Я ответил: «Вы найдете ее в Париже». Господь Бог открыл все океаны... Дождь, дождь, дождь. Видел Хэмптон-Корт — чудо!»

«Гранд-опера»! В самом этом названии ощущалось особое благоухание. Я привыкла произносить его с благоговением, а теперь я должна была танцевать на ее сцене, как сладостно это возбуждало мое тщеславие. Гигантские размеры тоже произвели на меня огромное впечатление — мне так и не удалось запомнить, куда ведут все эти бесчисленные лестницы и разветвленные коридоры. С этим местом у меня связано множество забавных воспоминаний. На премьере «Жар-птицы» наш режиссер, замечательный, но совершенно не способный к языкам человек, подал неверный сигнал. Результат оказался столь неожиданным, что Дягилев выбежал из партера и бросился за кулисы, громким шепотом умоляя выключить «эту проклятую луну». И действительно, загорелись оба светила.

В этом сезоне принимала участие юная Лопухова; это было ее первое путешествие за границу. Как только она вышла из вагона, ею овладело такое волнение, что она потеряла сознание и упала на грудь багажа. Попасть в Париж было ее величайшей мечтой, и она просто не выдержала при виде открывшегося перед ней восхитительного зрелища (Северного вокзала), объяснила она встревоженному Баксту, когда тот привел ее в чувство. Еще совсем ребенок, она все еще напоминала мне ту маленькую серьезную ученицу, которая в скромном костюме сильфиды самозабвенно и быстро пробегала на пуантах. Она нашла свое место в сердцах парижской публики, газеты были полны хвалебных отзывов, в которых ощущался особый оттенок нежности. Но никто не нарисовал ее портрета лучше, чем Жан Луи Водуайе в своих «Вариациях на тему Русских балетов». Он заявил, что Амалия Лулу, героиня маленького шедевра П.Ж. Сталь, по странному капризу судьбы весь этот месяц танцует в Опере под именем Лопуховой Второй — принцессы танца, так же как и императрицы носят порядковые династические номера, серьезно замечал он. Между выступлениями Амалии Лулу и Лопуховой не прошло и тридцати лет. «Виртуозность Лопуховой чрезвычайно искусна, но смягчена чуть заметной неловкостью юности».

«Я сделаю из этой танцовщицы новую Лопухову», — любил говорить в последующие годы наш генерал, состоявший до конца своих дней при Русском балете. Но он ошибался — невозможно было создать новой Лопуховой из огромного количества юных танцовщиц, каждый год пополнявших наши ряды. Один ловкий импресарио завладел маленькой Лопуховой, и в течение нескольких лет она выступала в Америке, а когда вернулась назад, продемонстрировала такое мастерство, что с полным правом встала в первые ряды звезд балета, при этом ей удалось каким-то таинственным образом сохранить непосредственность и удивительное слияние пыла и наивности — качества, которые расстроили все попытки генерала найти ей замену.

Мы с Нижинским так стремились создать из своих ролей в «Жизели» истинные шедевры, что наше невольное желание навязать друг другу свое видение вело порой к бурным столкновениям. На нашей сцене «Жизель» считалась священным балетом, в котором не

позволялось изменять хотя бы одно па. Я знала эту роль, которой меня обучила Соколова, и любила в ней все до малейшей детали. И я была неприятно поражена, когда обнаружила, что я танцую, играю, схожу с ума и умираю от разбитого сердца, не вызывая никакого ответного отклика со стороны Нижинского. Он стоял, погружившись в глубокое раздумье, и грыз ногти.

— Теперь вы должны подойти ко мне, — подсказывала я ему.

— Я сам знаю, что мне делать, — угрюмо отвечал он. После тщетных попыток исполнить диалог одной я расплакалась, но Нижинского это, казалось, ничуть не тронуло. Дягилев увел меня за кулисы, дал свой носовой платок и попросил проявить терпение:

— Вы не знаете, сколько томов он написал об этой партии, сколько научных трудов по интерпретации этой роли.

С тех пор Дягилев служил буфером между нами. Мы оба все время легко раздражались, и репетиции «Жизели» часто сопровождались слезами. Со временем пришло взаимопонимание, и мы приспособились друг к другу. Согласно отзывам прессы, в «Жизели» большого успеха добились исполнители, но не более, в то время как «Шехеразада» и «Жар-птица» имели оглушительный успех. Как следовало из опыта прошлого сезона, публику больше всего привлекал экзотический характер русского искусства.

Выбрав полем своей деятельности Париж, Дягилев первоначально следовал своему личному вкусу. Он разделял с представителями своего класса любовь к французской культуре, прочно укоренившуюся в среде нашей аристократии, возвращенную ее воспитанием. Вполне вероятно, что в выборе места для начала его деятельности сыграл свою роль элемент расчета, так как Дягилев обладал способностью гроссмейстера — заранее предвидеть последствия каждого хода. Он правильно выбрал Париж — центр мировой театральной жизни.

В конце нашего сезона Дягилев предложил мне ангажемент на два года. Это встревожило меня. Подписывая контракт я чувствовала, что отказываюсь от чего-то большего, чем летний отпуск. Действительно, я видела опасные признаки во все возрастающих амбициях Дягилева. Расширяя свою программу, он требовал от меня все больше и больше времени, по этому поводу мы с ним постоянно вступали в неравную борьбу. Призывы с его стороны и слабые возражения с моей — в конце концов он всегда побеждал. И я не могла уклониться от участия в его работе, так как любила ее, и он не отпускал меня.

— Что вы за странное создание! — бывало, говорил он мне. — Неужели вы не понимаете, что сейчас наступил расцвет балета, а значит, по воле судьбы и для вас лучшая пора? Он пользуется наибольшим успехом среди всех прочих искусств, а вы — та, кто имеет наибольший успех в балете... Отдых? — с презрением бросал он. — Зачем? — И он процитировал: «Разве нет у вас вечности для отдыха?» Он упивался своей полной активной деятельностью жизнью, я же заколебалась в ее преддверии.

Со временем я стала выступать за границей не только весной и летом, но отчасти и зимой. Мое отсутствие в Мариинском театре в разгар сезона было возможным благодаря исключительному положению, которое я заняла к тому времени. В 1910 году я получила звание примы-балерины, и дирекция предложила мне подписать контракт, что было необычно — с постоянными актерами труппы контракты никогда не заключались. Мне так объяснили подобные действия дирекции: количество проработанных мною в театре лет еще не давало мне права на высокое жалованье, но в бюджете театра существовал особый фонд, позволявший устанавливать более высокие оклады артистам, приглашенным на гастроли. Дирекция оставляла за собой право возобновить мой ангажемент. Хотя фактически я постоянно оставалась в составе Мариинского театра, я в то же время пользовалась привилегиями иностранных гастролеров в отношении жалованья, а также в выборе сроков, когда я исполню оговоренное количество спектаклей. Отпуска предоставлялись мне совершенно свободно, но моя работа в Петербурге приобрела более напряженный характер, сжатая в более короткий промежуток времени.

Количество постановок, созданных труппой Дягилева, точнее говоря, Фокиным, до 1914 года было поразительным. Фокин стал теперь официальным балетмейстером Мариинского театра, но он ухитрялся справиться с работой на императорской сцене к весне, а затем приступал к постановке балетов для Дягилева.

Маршрут Русского балета из года в год оставался неизменным. Несмотря на молодость антрепризы, она пустила глубокие и прочные корни в Западной Европе. Элемент риска первых двух сезонов вскоре уступил место определенному порядку. Мы неизменно начинали гастроли с Монте-Карло.

Наш сезон в Монте-Карло часто следовал за гастролями Шаляпина. По соглашению с дирекцией императорских театров он участвовал в определенном количестве спектаклей в Москве и Петербурге в разгар сезона, а все остальное время пел в столицах Европы и Америки. Когда он приезжал в Петербург, я старалась не упустить возможности послушать его, а после спектакля мы часто ужинали вместе. Никто из слушавших Шаляпина на сцене не мог бы заметить в нем и признака нервозности, но те, кто видел его за кулисами, знают, как сильно он нервничал, почти теряя над собой контроль. После спектакля он с радостью расслаблялся, болтал приятные глупости, обращался к официантам выразительным речитативом, иногда рассказывал о превратностях своей судьбы в прошлом, о жизни среди бурлаков на Волге и о первых шагах на сцене. Он начинал в маленьком провинциальном театре, игравшем главным образом на ярмарках. Хотя его первая роль состояла всего из двух строчек, Шаляпин, впервые очутившись перед публикой, дрожал от страха и умудрился перепутать даже эти две строчки. «Но это ничто по сравнению с той взбучкой, которую устроил мне после представления антрепренер — бац в одно ухо, бац — в другое!»

Со времени своего первого успеха, раскрывшего в полной мере его гениальность как актера и певца, Шаляпин слышал и читал о себе только в высшей степени похвальные отзывы, но тем не менее он всегда просил критиковать его. Я помню одно его возвышенное воплощение роли Бориса Годунова; по-моему, он еще никогда не был столь велик в сцене смерти. Я тайком вытирала глаза и испытывала некоторое раздражение по отношению к человеку, сидевшему со мной в ложе и не отводившему глаз от партитуры. Тем же вечером мы встретились у Кюба; Шаляпин явно нервничал, словно с нетерпением кого-то ждал. Вошел Михаил Терещенко, впоследствии министр иностранных дел в правительстве Керенского, и Шаляпин окликнул его:

— Скажи, Миша, как насчет сегодняшнего вечера? Все было в порядке?

И, только получив заверения от Терещенко, пользовавшегося репутацией человека, имеющего абсолютный слух, что все было в порядке, Шаляпин ожил и в порыве хорошего настроения принялся импровизировать посвященные мне стихи:

Египетские девы с миндалевидными глазами  
Дары нарда и мирра приносят...

Но ему никак не удавалось зарифмовать вторую часть о себе, поощер хвалу в мою честь у подножия пирамид. Он по-прежнему принимал позу комического ухаживания за мной, как в день нашей первой встречи в Эрмитаже, но я уже не робела в его присутствии. В 1911 году Шаляпин надолго задержался в Монте-Карло после окончания гастролей. Мы встречались по многу раз в день в самой оживленной части Монте-Карло, на веранде «Кафе де Пари»; часто собирались там после спектакля вчетвером — Шаляпин, Дягилев, Нижинский и я. Он находился тогда в состоянии жесточайшей депрессии и испытывал некоторое облегчение, когда мог говорить о предмете, причинившем ему огромную боль в то время. Поклонники Шаляпина в России разгневались на него за поступок, который сочли отступничеством от либеральных идеалов. Этот эпизод, временно навлекший на него непопулярность, казался настолько нелепым, что, несмотря на свои симпатии к Шаляпину, я была рада услышать его собственное объяснение происшедшего. Это



случилось в Мариинском театре во время бенефиса хора. На спектакле присутствовал император, и произошла демонстрация патриотических чувств: в перерыве поднялся занавес, и вся труппа с Шаляпиным во главе исполнила национальный гимн. Внезапно Шаляпин опустился на колени, а вслед за ним и все остальные преклонили колени перед его величеством. Император стоял бледный, явно растроганный. Мне показалось, что этот момент был исполнен какой-то возвышенной красоты. Либеральная молодежь, на чьих собраниях Шаляпин обычно пел гимны свободы, неистовствовала, обвиняя Шаляпина в лицемерии.

— Я не лицемерил; я сам не знаю, как это произошло, — сказал Шаляпин, и его смущенный, полный замешательства взгляд лучше, чем любые слова, сказанные в оправдание, реабилитировал его. Великий артист, обладающий повышенной чувствительностью, вполне мог спонтанно поддаться воле внезапно охватившего его чувства.

После Монте-Карло сразу же без перерыва следовали Париж и Лондон; часть зимы мы проводили в Германии и Вене, а к Рождеству обычно возвращались в Париж и Лондон. Турне занимало шесть месяцев в году, все это время я отдавала Дягилеву, но вскоре этого оказалось недостаточно: его требования приобретали угрожающие размеры. Отказать ему было почти невозможно. Приходилось все чаще и чаще просить отпуск, и мне отказали лишь однажды. В императорском театре начали проявлять недовольство — я стала редкой гостьей в Петербурге. Предлог, который выдвинул Теляковский, чтобы заявить свои номинальные права на мою службу, был не слишком убедительным, однако привел к драматическому эпизоду. Мы выступали тогда в берлинском театре «Дес Вестенс». В те дни эта часть города выглядела совершенно провинциальной. После войны 1914 года там все так изменилось, что в круговороте увеселительных заведений, которые заполнили этот район, я с трудом узнала место, с которым связано столько переживаний.

Мой отпуск заканчивался, с завершением берлинского сезона я должна была возвращаться в Россию. Русский балет пользовался здесь таким же успехом, как и в Париже. И принимали нас с не меньшим восторгом, хотя и без парижского изящества. Оскар Би добавил еще одну главу к своей восхитительной книге. Королевская опера в Дрездене пригласила Дягилева на несколько спектаклей после выступлений в Берлине. Довольно небрежно, как о чем-то само собой разумеющемся, Дягилев заявил:

— Конечно же вы не покинете нас, Тата. Ваше участие особо оговаривается.

— Но мой отпуск заканчивается, Сергей Павлович.

— Ерунда, сейчас Масленица, и в Мариинский никто не ходит, кроме безусых юнцов. Телеграфируйте и попросите продлить отпуск.

И хотя речь действительно шла всего лишь о нескольких утренних спектаклях для учащихся, все же на свои настойчивые просьбы я получила отказ. Воспользовавшись своими каналами, Дягилев обратился к высоким кругам в Петербурге. Бесполезно. Теляковский оставался непоколебим. Мне не оставалось ничего иного, как уехать. К счастью, Меня поддержал Светлов. Наш верный друг часто сопровождал нас. Никакая сила духа не смогла бы выстоять против того, что пришлось выдержать мне за последние десять дней в Берлине. То были печальные дни, проведенные главным образом в слезах у телефона. Дягилев звонил мне беспрестанно; каждый вечер он приглашал меня «поговорить о делах». Я поняла, что он рискует лишиться контракта, если я уеду.

Исчерпав аргументы, он смирился с неизбежным, и у меня сердце разрывалось при виде его удрученного лица. В последний вечер он сидел у меня в артистической уборной. Мои веки припухли от постоянных слез и стали похожи на две маленькие красные сосиски. Дягилев посасывал набалдашник трость — признак глубокой депрессии, в конце концов устало он на всякий случай сказал:

— Давайте посмотрим железнодорожный справочник. И он высчитал, что если я выеду норд-экспрессом ночью после представления в Дрездене, то смогу приехать в Петербург рано утром, в день спектакля. Это казалось посланным небесами решением вопроса, но

Дягилев не принял во внимание стихию. Таким образом я станцевала в Дрездене и сразу же по окончании спектакля убежала из театра, накинув шаль на завитой парик и шубку — на египетский костюм. Я успела примчаться на вокзал точно к Отходу последнего поезда. Как сумела, я смыла в своем Купе коричневый грим египтянки. Экспресс шел быстро, пока на второй день его не задержали снежные заносы. Поезд опоздал на шесть часов. С вокзала я поспешила прямо в театр. Дублерша готовилась заменить меня, но у меня оставалось еще десять минут. Когда в костюме феи Драже я выходила на сцену, как раз закончилась увертюра и занавес начал подниматься. Теляковский счел мой поступок рискованным. На другой день я пришла к нему на прием и получила разрешение уехать на следующий день.

— Вы еще не собрали всех денег за границей? — с грубоватым добродушием спросил он. Дягилеву не пришлось вести споров с императорской сценой по поводу своей самой яркой звезды — Нижинского, он уже не входил в состав труппы Мариинского театра. Как ни чудовищно это звучит, его уволили. Здесь так же, как и в моем случае, единственной причиной было желание соблудности дисциплину. Я прекрасно помню тот вечер, когда в Мариинском исполнялась «Жизель». В царской ложе сидела вдовствующая императрица. Мне показалось, что в тот вечер Нижинский достиг невиданных доселе высот вдохновения. Он надел костюм, созданный по эскизу Бенуа, состоявший из короткой курточки и облегающего трико, и категорически отказался надевать брюки установленного образца. По этому поводу у него произошло столкновение с чиновником, отвечающим за постановку. Из-за этого даже на несколько минут позже подняли занавес. Не знаю, сам ли факт неповиновения, проявленного Нижинским, побудил дирекцию принять такое решение или же были верны слухи о том, будто императрица не одобрила его костюм, во всяком случае, на следующий день Нижинский получил распоряжение подать в отставку.

В тот же вечер мне была оказана большая честь. Императрица послала за мной.

Протягивая мне руку для поцелуя, она сказала:

— Говорят, вы имели огромный успех в Англии? Я тотчас же поняла, что леди Рипон способствовала тому, что мне выказали такое расположение, и поблагодарила ее при следующей встрече.

— Да, — подтвердила она с приятной улыбкой. — Я послала все ваши фотографии в Сендрингем, (Сендрингем — замок на востоке Англии, королевское имение.) чтобы их увидела императрица.

## Глава 23

Наша добрая фея леди Рипон. — Сарджент. — Южная Америка. — Свадьба Нижинского. — «Маэстро»

В отношениях леди Рипон с теми, кого она называла друзьями, всегда присутствовал элемент неожиданности, словно добрая фея, она втайне готовила свои приятные сюрпризы. «Мой дорогой маленький друг, — писала она мне в день именин королевы Александры, — может, вы приколете на плечо этот букетик роз, когда будете вечером танцевать в «Призраке розы», мне кажется, это понравится вашим зрителям...» Подобное предложение было вызвано не только утонченностью ее чувств, леди Рипон, активная и вдохновенная покровительница русского искусства в Лондоне, прекрасно понимала, что для завоевания успеха нашим сезонам необходим прочный фундамент, а его может создать только общественное мнение и любовь публики. Удочерившая меня страна, ты великодушна и бесконечно терпима к иностранцам, но в глубине души всегда немного удивляешься, когда видишь, что иноплеменник пользуется ножом и вилкой точно так же, как ты. Ты с готовностью прощаешь необъяснимые странности чужеземцев, даже их опоздания к обеду, но ты никогда не примешь чужеземца всерьез до тех пор, пока какой-

нибудь заслуживающий доверия поручитель не представит его тебе. Если же представление сделано должным образом, вы не найдете более верной в своих привязанностях страны, чем Англия. Так же обстоит дело и с иностранным искусством. Возможно, у Русского балета были шансы добиться успеха только благодаря собственным заслугам. Тысячи людей посмотрели бы его спектакли в варьете, сидя в удобных креслах и наслаждаясь ароматам дорогих сигар. Они донесли бы приятные ощущения до дверей театра и в ожидании собственных автомобилей стали бы делиться своими впечатлениями от Русского балета: «А этот парень со смешной фамилией здорово прыгает, не правда ли? Довольно забавно!»

Леди Рипон понимала, что первое выступление должно непременно состояться в «Ковент-Гарден», и ей удалось это организовать. Наше первое выступление в сезоне началось с участия в коронационных торжествах и прошло блестяще. К тому же леди Рипон переделала свой бальный зал в Кумбе в прекрасный маленький театр. Бакст оформил его в своих излюбленных тонах — голубых и зеленых, он был первым, кто осмелился соединить их на сцене. С тех пор «голубой Бакст» вошел в моду и пользовался невероятной популярностью. Мы с Нижинским танцевали в этом театре для королевы Александры. Маленький театр использовали и для другой цели — леди Рипон устроила там костюмированный бал. Наша небольшая группа с Дягилевым во главе пришла рано, хозяйка еще не спустилась. Сквозь открытую дверь проглядывал мягкий, чуть затуманенный росистый вечер великолепного июля. Белая балюстрада веранды, французские партеры внизу, склоненные ивы в конце аллеи и кусочек неба, потемневший от наступающих сумерек.

*Sur le monde assoupi les heures taciturnes Tordent leurs cheveux noirs, pleurant des larmes nocturnes.* (В мире, засылающем молчаливые часы, завивают свои черные волосы, плача слезами ноктюрнов)

Несколько кратких мгновений тишины и покоя в бурном водовороте дней и месяцев; все разрозненные дары рога изобилия жизни собрались в одно несметное богатство.

Знакомство с леди Рипон, ее дружба стали для нас подарком судьбы. Вокруг нее царил покой; все посредственное и низкое в ее присутствии исчезало. По доброте душевной она часто становилась слугой того человека, которому оказывала протекцию. Она не только способствовала успеху Русского балета в целом, но находила время позаботиться о наших личных интересах. Тогда не существовало ни одного хорошего моего портрета.

— Сарджент с удовольствием сделает ваш портрет, — часто говорила она мне и однажды привезла меня в его студию. Он сделал мой портрет в роли Тамары, и этот рисунок в паре с головой Нижинского также работы Сарджента леди Рипон повесила у себя в комнате в Кумбе. С тех пор Сарджент рисовал меня ежегодно до тех пор, пока война временно не прекратила поездки Русского балета в Лондон. Он щедро дарил мне свои рисунки, но меня растрогало еще больше, когда он подарил мою увеличенную фотографию из «Карнавала», сделанную его камердинером. Сардженту очень хотелось, чтобы я ценила достоинства его работы. Рисуя, он беспрерывно говорил и хотел, чтобы и я говорила. Но мне почти не представлялось такой возможности, так он был поглощен идеей адаптации для сцены «Ватек». («Ватек. Арабская сказка» — фантастическая повесть английского писателя Уильяма Бекфорда (1760-1844)) Каждый раз, когда он доходил до того момента, как мать Халифа била горшки со скорпионами над праздничным столом, начиналось такое громкое извержение восклицаний, хорошо известное друзьям Сарджента, которое совершенно невозможно передать фонетически, разве что по-арабски, так что рассказ прерывался и поворачивался вспять. Историю «Ватек» я узнала полностью значительно позже, когда научилась читать по-английски.

Мое незнание английского языка причиняло мне массу неудобств. Я часто приезжала по неверному адресу или не приезжала вовсе, когда меня ждали, так как не могла вразумительно произнести название улицы. Я встречалась со множеством людей, но лишь

немногих знала по имени; жизнь в Лондоне то ставила меня в тупик, то преподносила приятные сюрпризы. Очень много хорошего я не смогла оценить. Сарджент, обожавший работы де Глена, познакомил нас, и я стала ему позировать. Во время одного из сеансов пришла Рут Дрейпер. Желая выразить свое восхищение Русским балетом в моем лице, она принялась декламировать. Я не поняла ни слова, но если когда-либо ее искусству приходилось подвергнуться жесточайшему испытанию и выйти из него победительницей, то это произошло именно тогда, так как, абсолютно не понимая, о чем идет речь, я почувствовала, что вижу перед собой великую актрису. Ее лицо то загоралось, то как бы увядало с каждой переменной настроеня.

Так что за пять лет антрепризы Дягилева Русский балет, следуя по установленным гастрольным маршрутам, частично или в полном составе побывал во всех более или менее примечательных городах, которые согласно моде пользовались наибольшей популярностью в определенное время года.

Однако еще существовали места, которые мы не решались посетить во время многочисленных путешествий. Осенью 1913 года мы сели на корабль, направляющийся в Южную Америку. Я хорошо помню свое нежелание туда ехать. К тому времени Дягилев смирился с моими маленькими мятежными вспышками, воспринимая их как неизбежные недостатки в общем-то мягкой и покладистой женщины. В основе моего протеста лежали страх перед морским путешествием и нежелание оказаться в противоположном полушарии. И хотя я не разделяла мнение, принадлежавшее отцам церкви, будто мне придется передвигаться вниз головой, словно мухе по потолку, но каждый раз, когда я смотрела на глобус и думала о Южной Америке, меня охватывало головокружение. Дягилев убедил меня принять это предложение, заверив, что даже он, ненавидя морские путешествия, поедет туда, и передвигаться мы будем гладко, словно по пруду. Так действительно и было в течение восемнадцати дней, проведенных нами на борту, но Дягилев не приехал; в последний момент его охватили дурные предчувствия, и он вместо Южной Америки отправился в Лидо. С нами поехал его представитель Дмитрий Гинзбург.

От этой поездки у меня почти не сохранилось впечатлений, вернулась я на английском пароходе. Мы вставали по сигналу в семь часов утра, а в восемь уже заканчивался завтрак, и после этого никакими просьбами невозможно было вымолить ни единого печенья. Солонина на завтрак, солонина на обед — и никаких деликатесов, зато палубы напоминали полы в бальном зале. Во время путешествия не произошло никаких знаменательных событий, кроме свадьбы Нижинского.

Мне хотелось вернуться в Европу, и там было одно место, где я особенно жаждала оказаться. После своего единственного посещения Рима в 1912 году я больше никогда не бывала там. В том году в Риме проходила выставка, но тем не менее представлений состоялось не так уж много, во всяком случае, у меня оставалось немного больше свободного времени, чем в Лондоне или Париже. Впоследствии я научилась использовать свободное время с пользой. Во время своих заграничных гастролей я регулярно работала с маэстро Чекетти. Порой мне приходилось сокращать наши дневные уроки, чтобы успеть на какой-нибудь званный завтрак; я часто ложилась спать поздно, и мне было трудно вставать по утрам, и маэстро ворчал на меня. В Риме же наши уроки почти не прерывались. Здесь, у себя на родине, настроение маэстро улучшалось, им овладевала неистовая жажда преподавать, и столь же неистовая жажда заниматься овладевала нами с Нижинским. Как бы рано мы ни пришли, маэстро уже ждал нас, обмениваясь шутками с рабочими сцены и заставляя умного черного пуделя, принадлежавшего швейцару, проделывать различные трюки. Пес любил деньги и знал, как с ними обращаться. Получив сольдо, он степенно переходил через дорогу и направлялся в кондитерскую, клал свою монетку на прилавок и возвращался с пирожным, которое съедал где-нибудь в укромном уголке. Но бывали дни, когда и речи не было о том, чтобы позаниматься на сцене, даже зайти в театр было нелегко. У входа возвышался швейцар, и, если кто-то приближался к

служебному входу, его жестикуляция, всегда отличавшаяся чрезвычайной живостью, приобретала в высшей степени драматический характер. В коридорах шикали чаще, чем обычно, и все ходили на цыпочках — репетировал Тосканини.

По утрам за мной часто заезжал Дягилев по дороге в театр «Констанци».

— Говорите, маэстро? Ничего, старик подождет; просто грех сидеть в помещении в такое утро.

И он брал нас с Нижинским в увлекательную поездку по городу, обращая наше внимание то на арку, то на какой-нибудь прекрасный вид, то на памятник. После прогулки он с рук на руки передавал нас маэстро с просьбой не ругать «деток» за небольшое опоздание.

Маэстро с необычной для него мягкостью прощал непунктуальных учеников за опоздание: он знал, что мы сумеем наверстать упущенное, сцена за редким исключением всегда была в нашем распоряжении. Правда, иногда ради поддержания дисциплины маэстро делал вид, будто пришел в ярость; он начинал размахивать тростью, давая время отбежать на безопасное расстояние, а потом швырял ее мне в ноги, но вовремя сделанный прыжок помогал спастись от этого метательного снаряда.

Энрико Чекетти родился в артистической уборной театра «Тординона» в Риме; театр стал его детской. Когда ему исполнилось пять лет, он впервые вышел на сцену. В ложе, расположенной у просцениума, каждый вечер сидел один и тот же пожилой господин, и каждый вечер маленький Энрико видел, как на барьере ложи появлялась монетка. Выходя с родителями на поклон, ребенок протягивал руку за монеткой и посылал воздушный поцелуй своему благодетелю. «Браво, моя девочка!» — восклицал пожилой господин; слишком маленький для своего возраста, с чудесными кудрями, Энрико выступал в розовой юбочке и с крылышками эльфа за плечами. Семья работала в основном в Генуе.

Мальчик повсюду следовал за своими странствующими родителями и намеревался стать танцовщиком. Все попытки усадить его за книги потерпели неудачу, а после того как Энрико запустил чернильницей в голову учителя, отец оставил надежду дать сыну юридическое образование и отправил мальчика во Флоренцию в балетную школу Джованни Лепри. В шестнадцать лет, став превосходным танцовщиком, Энрико покинул школу. Отныне театр становится его домом, сцена — его родиной. Когда он приехал в Лондон, все газеты без исключения посвятили ему восторженные статьи. В начале восьмидесятых годов Чекетти впервые приехал в Петербург и танцевал в летнем театре «Аркадия». Это был танцовщик, обладавший изумительной виртуозностью. «Прыгающий демон с каучуковыми конечностями». Его пригласили в императорский театр, где он проработал несколько лет, и, казалось, совсем обосновался в России, но перед продлением контракта рассорился с дирекцией и уехал из Петербурга в Варшаву. Частые вспышки бурного темперамента и еще в большей мере непреодолимый дух бродяжничества не позволяли Чекетти подолгу оставаться на одном месте. Однако он вернулся, и мадам Чекетти, приятная и мужественная женщина, поверила, что ее давняя мечта о постоянном доме на этот раз осуществится. Чекетти открыл свою школу, и со временем я стала его ученицей.

Чекетти пользовался репутацией волшебника, способного создавать танцовщиков. В наше время он был фактически единственным преподавателем классического танца, хранителем бесценного наследия великого теоретика Карло Блазиса, ученик которого Джованни Лепри был учителем Чекетти. До появления прославленного Карло Блазиса преподавание нашего искусства базировалось в основном на интуиции. По справедливости его следовало бы назвать первым педагогом хореографии. Отправная точка его теории состояла в том, что непреложные законы равновесия применительно к человеческому телу вынуждали искать точную формулу, определяющую идеальное равновесие танцовщика. И хотя эта система Карло Блазиса на первый взгляд может показаться похожей на геометрию, ему тем не менее принадлежит заслуга создания точной науки из неуловимых элементов виртуозности человеческого тела. Чтобы разъяснить свою доктрину ученикам, Карло Блазис чертил геометрические схемы, в

которых соотношение различных частей тела выражалось планиметрической терминологией — прямыми углами и кривыми. Когда же ученик усваивал линейную структуру танца, Блазис переходил к округлению поз, придавая им пластическое совершенство.

Маэстро передавал своим ученикам великие принципы своего предшественника в чистом, хотя и несколько упрощенном виде. Он устанавливал в равновесии трость, положив ее на руку, демонстрируя таким образом горизонтальное положение тела, поддерживаемого вертикальной линией одной ноги, как основной принцип арабеска. Та же самая трость служила и орудием наказания, применяемым против непослушных конечностей, в порыве необузданного гнева маэстро мог и запустить ею в ученика. Той же самой тростью он мягко отбивал ритм, тихо насвистывая мелодию, — иной музыки на своих уроках маэстро не признавал.

У некоторых предприимчивых молодых балетоманов появилась привычка ездить на крыше омнибуса, проходившего мимо школы маэстро; сквозь незанавешенные окна второго этажа они могли увидеть занимающихся танцовщиков, а это зрелище, с точки зрения балетоманов, стоило того, чтобы проехать несколько раз туда и обратно. Окна без штор и скудная обстановка свидетельствовали о кочевой жизни; только огромное количество фотографий и других реликвий, которые нетрудно было перевозить с места на место, да склоненная над шитьем фигура мадам Чекетти, которую было видно сквозь анфиладу комнат, наводили на мысль о стабильной, хотя и полной странствий жизни. Мадам Чекетти в прошлом была танцовщицей, теперь же стала очень способной мимисткой, но прежде всего она была милой и в высшей степени достойной женщиной, ее простота и спокойствие составляли резкий контраст с повышенной возбудимостью и вспыльчивостью мужа. В нем кровь странствующего актера в сочетании с итальянским темпераментом создавала необычайно яркую и колоритную фигуру. Театр был неотъемлемой частью его жизни; и на сцене, и в жизни Чекетти оставался превосходным актером. Когда, приняв вид простачка, прижав палец к носу, он скрипучим дискантом хитро спрашивал у ученика: «Ты вчера обедал?» — и, получив утвердительный ответ, продолжал: «А занятие-то ты пропустил, а ведь это для тебя хлеб с маслом», он был живым олицетворением лукавой маски итальянской комедии. Импровизация, бесценное наследие комедии дель арте, управляла его поведением как на сцене, так и в жизни — великий актер, настолько обожавший свою роль, что создал последовательный спектакль жизни, начавшейся в артистической уборной в «Гординоне» и окончившейся во время урока.

Нашим неизменным гидом в Риме был Александр Бенуа. Его познания в области истории искусства и эрудиция казались бы просто пугающими, если бы не небольшие ляпсусы, которые он иногда допускал; в частности, он сам себе противоречил, когда говорил о том, где можно найти особый ассортимент крема-мусса из яичных желтков, сахара и вина в сахарной глазури. Мой брат, уже женатый, тоже был в Риме, где изучал историю религии. Я относилась к нему как к молодому мудрецу, а он с ласковой насмешкой называл меня своей «знаменитой и добродетельной» сестрой. Как и в былые дни, мы бродили с ним по городу, но теперь уже не в поисках грошовых книжек, но осматривая церкви, форум, храмы и катакомбы.

Перед началом наших гастролей распространялись различные слухи. Говорили, что Италия гордится собственным балетом и, являясь колыбелью этого прекрасного искусства, просто не может доброжелательно отнестись к нам, потому что мы отошли от классических традиций. В первый вечер в мою уборную явился глава клаки, я оставила Гинзбурга вести с ним переговоры, а сама отправилась на сцену. Там тоже ощущалось напряжение; Дягилев сказал, что я должна быть готова ко всему... Нечто невразумительное. Рядом с ним стоял русский посол, который посоветовал нам тщательно осмотреть сцену: как бы там не оказалось гвоздей или битого стекла.

Никакой враждебной демонстрации не последовало, и я была даже слегка разочарована, живо вообразив, как буду стоять с высоко поднятой головой перед свистящей и улюлюкающей публикой. Никаких отрицательных отзывов в прессе — напротив, они не могли быть более восторженными. Правда, мы не показали в Риме наших последних сенсационных спектаклей.

## Глава 24

«Послеполуденный отдых фавна». — Заря модернизма. — Репетиции с Нижинским. — Дебюсси. — Кокто. — Ж.А. Водуайе. — «Призрак розы». — Странное начало одной дружбы. — Детома. — Трагедия Нижинского. — Наша последняя встреча. — Штраус. — Мясин. — Феликс. — Де Фалья. — Пикассо

Премьера первого балета Нижинского «Послеполуденный отдых фавна» состоялась в Париже и вызвала целую бурю противоречивых чувств. Публика аплодировала, кричала, свистела; между двумя соседними ложами разразилась ссора. Вмешательство Дягилева обуздало разбушевавшуюся публику и позволило довести представление до конца. Я не принимала участия в балете и в тот вечер сидела в партере. Я не могла понять, что вызвало у публики такое раздражение.

Оба балета Нижинского: и «Послеполуденный отдых фавна», и «Весна священная» — были сродни по духу движению прерафаэлитов и революционными по сути. Фокин расширил сферу пластических возможностей, вырвался за пределы жестких рамок, в которые прежде был заключен балет. Его работу можно назвать поступательной, но его идеал красоты оставался тем же, что и у предшественников. На фоне общепризнанной гармонии, мягкости, округлости линий видение архаической Греции, воскрешенное к жизни Нижинским в «Послеполуденном отдыхе фавна», и доисторическое племя каменного века, изображенное с помощью угловатых резких движений в «Весне священной», бросали публике прямой вызов. В этих двух своих работах Нижинский объявил войну романтизму и сказал «прощай» всему «прекрасному». В своем следующем балете «Игры» он сделал попытку найти синтез хореографии XX века. «Мы могли бы смело поставить на программе дату: 1930 год», — сказал Дягилев. Этот балет был показан в 1913 году. Тогда был расцвет футуризма.

Очень жаль, что пуританская нетерпимость тех дней заставила меня разорвать на мелкие клочки книгу Маринетти. Подарок был сделан с добрыми намерениями. Изысканное посвящение, мадригал высочайшей учтивости, адресованный мне, — на форзаце. Роман предварял манифест Маринетти и его последователей, предававший все и вся анафеме. «Проклятию подвергались лунный свет и каналы Венеции, а также соловьи; с особой страстью проклинались шедевры прошлых поколений и женщина, на которую щедро изливались непристойные эпитеты, столь же щедро осыпал он изысканными комплиментами даму, получившую в подарок этот том. Первая глава называлась «Le Viol des Negresses». («Изнасилование негрityнок») В общем жаль, что я не сохранила книгу. Нижинский не обладал даром точной и ясной мысли, в еще меньшей мере умел он найти адекватные слова для выражения своих идей. Если бы его попросили издать манифест своей новой веры, даже под угрозой смерти он не смог бы дать более ясное объяснение, чем то, которое дал, пытаясь объяснить свою удивительную способность парить в воздухе. Так и во время репетиций «Игр» он затруднялся растолковать, чего именно от меня хочет. Очень нелегко разучивать партию механически, слепо имитируя показанные им позы. Поскольку мне приходилось поворачивать голову в одну сторону, а руки выворачивать в другую, словно калеке от рождения, мне бы очень помогло, если бы я знала, ради чего это делается. Пребывая в полном неведении относительно конечной цели, я время от времени принимала нормальную позу, Нижинский начинал питать подозрения, будто я умышленно не желаю ему подчиниться. Лучшие друзья как по сцене, так и в

жизни, мы часто спорили, репетируя свои роли, но во время постановки этого балета наши столкновения стали чаще обычного и происходили порой по самым нелепым поводам. Не понимая общей идеи, я должна была заучивать последовательность движений наизусть и однажды спросила:

— Что идет дальше?..

— Вам уже следовало бы знать, я не скажу.

— Тогда я отказываюсь от роли.

После двухдневной забастовки я нашла у своих дверей огромный букет цветов, а вечером, благодаря вмешательству Дягилева, произошло полное примирение.

На премьере «Игр» публика тоже разделилась на два враждебных лагеря, но такого скандала, как на «Послеполуденном отдыхе фавна», не произошло. Что думал Дебюсси по поводу интерпретации его музыки, не знаю. Говорят, он сказал лишь: «Pourquoi?» («Зачем?») Но может, это всего лишь выдумка злых языков. Мне он ничего не сказал по поводу этого спектакля, хотя часто приглашал меня в свою ложу. Его обычно сопровождали мадам Дебюсси и их маленькая дочь. Он был так вежлив и обходителен, настолько лишен всяческой позы и сознания своего величия, настолько - искренне восхищался бесхитростной прелестью романтических балетов, за участие в которых так хвалил меня, что, несмотря на его суровый вид и невероятную знаменитость, я получала огромное наслаждение от наших коротких бесед. Правда, разговаривая с олимпийцем, я осмеливалась только бормотать: «*Oui Mattre, vous avez raison, Mattre...* ». («Да, мэтр, вы правы, мэтр...»)

Я так никогда и не смогла избавиться от легкого смущения при знакомстве с какой-нибудь знаменитостью, несмотря на обширную в этой области практику, поскольку в Париже, который Дягилев по праву считал кульминационным пунктом нашего сезона, Русский балет ежедневно общался с великими людьми. К тому же мы часто сотрудничали с творческими личностями Парижа для создания совместных постановок. Во время первого периода истории Русского балета только Париж играл активное участие в нашей творческой работе. За исключением Дебюсси, всегда державшегося несколько отчужденно, другие музыканты и авторы, вступавшие с нами в контакт, с удовольствием участвовали во всех стадиях создания спектакля. В Равеле, например, не было ничего от олимпийца; и он любезно помогал мне разобраться в сложных ритмических пассажах партитуры.

В музыке «Дафниса и Хлои» было много подводных камней. Звучная, возвышенная и прозрачная, словно кристально чистый родник, она таила опасные ловушки для исполнителя. Так, например, в одном из моих танцев ритм постоянно менялся. Фокин был слишком раздражен, чрезмерно много работая, чтобы успеть закончить постановку к сроку, и не мог уделять мне достаточно внимания; утром в день премьеры последний акт еще не был завершен. Мы с Равелем в глубине сцены старательно повторяли: «раз-два-три... раз-два-три-четыре-пять... раз-два», и так до тех пор, пока я не смогла отбросить математику и следовать рисунку музыкальной фразы.

В театре постоянно присутствовал Жан Кокто, *enfant terrible* (Ужасный ребенок) наших репетиций. Словно проказливый фокстерьер, он скакал по сцене, пока его не прогоняли. «Уходите, Кокто, не смешите их». Но ничто не могло сдержать поток его остроумного красноречия; забавные замечания так и слетали с его хорошо подвешенного языка — «римские свечи», вращающиеся «огненные колеса» юмора. В то лето я позировала Жаку Бланшу. Невозможно было отыскать более тихого убежища от лихорадочной парижской жизни, чем большое ателье художника в Пасси. Такое же спокойствие исходило и от самого художника. Передо мной был еще один аспект французского ума. В его устах личные замечания художника, обращенные к своей модели, имели привкус бесстрастных наблюдений. Его чувство «живописного», как он выразился, было возбуждено при виде странного контраста между утонченными чертами моего лица и сильно развитой шеей. Художник долго изучал меня, прежде чем решить, как лучше передать эту особенность



моей внешности, и в конце концов остановился на таком повороте головы, который придавал повелительное выражение позе Жар-птицы, чей образ он выбрал. Внезапное появление в ателье Кокто вносило в творческую атмосферу шум и неразбериху. Он словно дал клятву никогда не оставаться на одном месте, его голос то доносился до нас из-за холстов, то — из сада, то долетал с галереи. Взобравшись туда, он раздражался потоком импровизированной речи, изображая из себя проповедника, и лишь тогда ненадолго останавливался. Всего лишь однажды я видела его неподвижным. «Расскажите мне сюжет «Жар-птицы», — попросил он. И пока я рассказывала сказку, сидел и слушал внимательно, как ребенок. Он как раз приступил к работе над либретто к балету «Синий бог», музыку для которого написал Рейнальдо А.Н., человек столь же живого и яркого ума, столь же блестящий, но немного лукавый, любивший добродушно подшутить. Он внимательно следил за постановкой своего балета. Когда напряженная атмосфера репетиции раздражалась бурей, он благоразумно удалялся в маленькое кафе, внизу театра «Шатле». Присоединившись к нему и увидев в его неподражаемом исполнении инцидент, казавшийся нам таким серьезным, мы понимали, насколько абсурдным в действительности он был.

Первым автором, сделавшим свое подношение Русскому балету, стал Жан Луи Водуайе, написавший на основе стихотворения Теофиля Готье либретто балета «Призрак розы». Прошло уже почти двадцать лет с тех пор, как мы впервые станцевали его в «Шатле». Сейчас он практически сдан в чулан, где хранятся сувениры. «Ах, «Призрак розы»!» — до сих пор вздыхают те, кто видел его; и такой огромной была его власть над сердцами, таким неуловимым, но всепроникающим был его аромат, что вздыхают и те, кто пропустил «Призрак розы». Для них это легенда. Благословение самой Терпсихоры лежит на этом балете; он был избавлен от детских болезней, без которых не обошлись другие балеты. Фокин сделал его на едином дыхании, в порыве вдохновения, не находя ни единой погрешности у исполнителей. Рождению спектакля не предшествовали ссоры, скандалы; спокойно прошла премьера. На сцене не было никакой суеты, Дягилев пребывал в благодушном настроении, суетился только Бакст — беспомощный, взволнованный, он переходил по сцене с места на место, держа клетку с канарейкой в руках. С его точки зрения клетка была частью декорации, все же остальные смотрели на нее как на ненужную, помеху. Сначала он повесил клетку над окном, откуда ее убрали — через это окно появлялся Нижинский, а другое окно следовало оставить свободным для знаменитого прыжка Нижинского.

— Левушка, ради бога, брось ты свою канарейку, публика теряет терпение. Не будь идиотом, никто не ставит клетки с канарейками на комод.

— Ты не понимаешь, Сережа, мы должны создать атмосферу.

Бакст задержал антракт, но все же «создал атмосферу», подвесив в конце концов свою канарейку под карнизом. Впоследствии во время гастролей клетка с чучелом птицы была «злонамеренно» утеряна.

Однажды в Опере по настойчивой просьбе зрителей весь балет пришлось исполнить еще раз. Дягилев велел мне выйти за занавес, и я произнесла свою первую речь. Я сказала, что мы охотно доставим публике удовольствие и повторим спектакль, и при этом питаем надежду, что зрители в свою очередь проявят щедрость во время сбора средств — представление давалось в пользу жертв землетрясения.

Мое знакомство с Жаном Луи Водуайе состоялось во время постановки «Призрака розы». Подводя итог нашей длительной дружбе, я вынуждена признать, что допустила в отношении его ряд промахов, но они принадлежат к той поре, когда я только делала первые шаги в парижском обществе. Как-то раз после утренней репетиции ко мне подошли два молодых человека, чтобы поздравить с успехом, оба высокие, оба в клетчатых брюках. Один из них был автором либретто, но я тогда не знала, кто именно, и обратилась с прочувствованными словами благодарности за предоставленную мне возможность исполнить подобную роль не к тому, к кому следовало. К истинному же

автору либретто я долго относилась неодобрительно из-за его *sourire moqueur*, (Насмешливая улыбка) что при ближайшем рассмотрении оказалось проявлением легкой иронии у этого искреннего и утонченного человека. Полное отсутствие позы, редкое явление в эпоху, когда стремление к оригинальности нередко принимало какие-то истерические формы, было характерно для литературного кружка, к которому принадлежал Водуайе. Другой его привлекательной чертой была возвышенная дружба, крепко связывавшая членов «Серапионова братства». В силу того что я воплотила в жизнь образ, созданный Водуайе, его друзья предоставили мне почетное место в своем обществе. Я наслаждалась своей ролью заезжей музы, но еще больше наслаждалась их обществом. В один из моих редких послевоенных визитов в Париж, по-видимому, это было в 1929 году, Жан Луи напомнил мне, что прошло двадцать лет со времени нашего первого сезона в «Шатле». Его напоминание опечалило меня, но он продолжил: «Не правда ли, это чудесно, что сегодняшней день видит нас все такими же мужественными, мы по-прежнему в поиске». На нем опять были клетчатые брюки, как в первый день нашего знакомства. Ни время, ни расстояние не разрушили нашей дружбы. Как в прежние времена, он бросил клич, и горстка «серапионовых братьев» собралась в той же квартире в Пале-Рояль; но, увы... «иных уж нет, иные странствуют далече», как писал Саади. Нет уже с нами Детома. Не знаю, что случилось с его домом на авеню де Терм, настолько заросшим зеленью, что, находясь там, казалось, будто опустился на дно глубокого зеленого пруда. Огромное количество персидских миниатюр на стенах никогда не освещал ни один прямой луч солнца, темный балдахин над ложем, украшенный драконами, чудовищами и монограммами Небесной империи, не были экспонатами какой-то зловещей коллекции. Окружение Детома, казалось, держало его в плену утонченно болезненного, прихотливого бреда. Внешне ничем не примечательный, словно какой-нибудь мурлыкающий кот, принадлежащий экономке, он странным образом производил впечатление какого-то трагического одиночества; при всей своей внешней заурядности он был чужд обыденной прозаической жизни.

Кто-то странствует по отдаленным землям, кто-то только на время приезжает в Париж. Сам город стал слишком «непарижским» для чистокровных парижан. Обеды у графа Жильбера де Вуазена, где регулярно встречались все друзья этого кружка, теперь прекратились. Однажды мне не удалось пройти там тест на сообразительность, чем все они умели блеснуть. Мне предложили книгу, в которой каждому полагалось выразить недовольство хозяином. Не имея причин для недовольства, я написала, что в доме, где реликвии, напоминающие о Тальони (Жильбер де Вуазен был ее внуком), свято хранятся в стеклянном кабинете, следовало иметь хотя бы одного спаниеля короля Карла. Вскоре после этого я послала ему гравюру, где была изображена Тальони со спаниелем короля Карла на коленях. Это был жалкий ответ на щедрый дар — Жильбер де Вуазен подарил мне веер Тальони, который был у нее во время пребывания в России, она выступала с ним на сцене.

Во время этого короткого пребывания в Париже в рождественские дни 1928 года Дягилев предложил навестить Нижинского, но, поразмыслив, решил, что будет лучше привезти его в театр на «Петрушку». Я не видела Нижинского с тех пор, как в 1913 году он покинул нашу труппу и уехал танцевать в Америку. Новость о его болезни дошла до меня, когда я была в России. Говорили, что сначала он стал нервным и подозрительным. Ему казалось, будто со всех сторон его окружают коварные враги. Он не выходил на сцену до тех пор, пока специально нанятый им служащий не осмотрит, закрыты ли все люки и не посыпан ли пол битым стеклом. Вскоре страхи исчезли, но совершенно пропала память, он забыл, кто он. Для него трагедия закончилась, но невозможно описать трагедию тех людей, кто был рядом с ним и пытался вернуть хоть искру понимания в его затуманенный мозг. Они постоянно твердили ему, кто он, повторяли снова и снова его имя, но печальное заклинание не имело никакой власти над его духом. После периода галлюцинаций, когда

на него было больно смотреть, но он не приносил вреда окружающим, Нижинский впал в покорную апатию и почти перестал разговаривать.

— Сегодня он в хорошем настроении, — сказал Дягилев. — Похоже, ему нравится смотреть балет. Подождите его на сцене.

Был антракт перед «Петрушкой» — декорации установлены, труппа готова. На мгновение у меня вспыхнула надежда, что знакомая обстановка и я в костюме, в котором так часто танцевала рядом с ним, могут восстановить утраченную нить воспоминаний в сознании Нижинского. По-видимому, та же самая надежда подсказала Дягилеву мысль устроить нашу встречу на сцене.

Дягилев вел Нижинского под руку и говорил с ним с деланой веселостью. Толпа артистов расступилась. Я увидела пустые глаза, неуверенную походку и пошла навстречу, чтобы поцеловать Нижинского. Застенчивая улыбка осветила его лицо, и он посмотрел мне прямо в глаза. Мне показалось, будто он узнал меня, и я боялась вымолвить хоть слово, чтобы не спугнуть с трудом рождающуюся мысль. Но он молчал. Тогда я окликнула его, как звали друзья:

— Ваца!

Нижинский опустил голову и медленно отвернулся. Он позволил подвести себя к кулисе, где фотографы установили аппараты. Я взяла его под руку и, так как меня попросили смотреть прямо в объектив, не могла видеть движения Нижинского. Вдруг среди фотографов произошло какое-то замешательство. Повернувшись, я увидела, что Нижинский наклонился и испытующе всматривается мне в лицо, однако, встретившись со мной взглядом, поспешно отвернулся, словно ребенок, старающийся скрыть слезы. И это движение, такое трогательное, застенчивое и беспомощное, пронзило болью мое сердце. Нижинского отвели обратно в его ложу, потом Дягилев пришел и рассказал о нем подробнее. В тот вечер Нижинский заговорил.

— Кто это? — спросил он, когда на сцене появился Лифарь. Когда ему ответили, что это первый танцовщик, Нижинский после короткой паузы спросил: — А он умеет прыгать? Тем, кто следил за историей Русского балета от возникновения до наших дней, казалось, что летом накануне войны он достиг апогея. И словно для того, чтобы сделать это лето 1914 года еще более памятным, наряду с большим общим успехом, пришел и личный успех. Галерка, моя верная почитательница, прислала трогательный подарок — золотую балетную тувельку с надписью «Розе России». Восхищение ощущалось даже среди мелких служащих «Друри-Лейн». Был там один мальчишка, вызывающий актеров на сцену, он буквально ходил за мной по пятам. Его восхищение часто спонтанно выплескивалось; когда однажды я попросила Тедди принести мне минеральной воды, он вскрикнул от радости, встал на минуту на голову, быстро отправился на руках к двери и, совершив двойное сальто, скрылся, чтобы выполнить поручение. Тедди был одной из звезд пантомимы «Друри-Лейн» и маленьким постреленком у меня на посылках. Однажды утром я пришла, чтобы взять что-то из своей артистической уборной, но не смогла найти ключ. Прошедшим вечером комнатой пользовался Шаляпин, а его слуга-китаец иногда уносил ключ в кармане. Как всегда, я позвала на помощь Тедди и, как всегда, он не подвел меня. Он вскарабкался по трубе, проходившей по наружной стене, протиснулся в узкое окошечко задней комнаты и открыл дверь изнутри.

В труппе ощущалась печальная пустота — среди нас не было Нижинского. Но был Больм, и находился в превосходной форме, и Фокин поставил еще один свой шедевр — «Золотого петушка». В этом балете я исполнила, пожалуй, самую замечательную свою роль. Все это рождало ощущение, будто я нахожусь на гребне волны, испытывая при этом невиданную доселе полноту чувств. Стимулирующая сила успеха придала мне беспрецедентную смелость. Я смело, без колебаний расширяла диапазон своих артистических средств — от романтических до трагических и даже зловещих. Мне доставляло огромное удовольствие быть в один и тот же вечер и Хлоей, и Саломеей. Когда Дягилеву не удалось найти исполнительницу исключительной красоты на роль

жены Потифара, я взялась за эту роль без своих обычных сомнений, отвечают ли ей мои данные или нет. Сам Штраус приехал, чтобы присутствовать на спектаклях. Он очень внимательно наблюдал за моей работой в «Друри-Лейн», где я впервые исполняла эту роль. После каждой репетиции я спрашивала мэтра, доволен ли он. В целом он был доволен, но то-то и то-то следовало исправить. Он приходил в мою уборную, похожую на огромный сарай, и демонстрировал, что от меня хочет:

— Пробегите так. Смотрите...

Напевая музыкальную фразу, Штраус отходил в дальний угол комнаты и, тяжело топая, бежал к дивану, изображавшему ложе прекрасного Иосифа. Думаю, я пробежала и исполнила все остальное так, что Штраус остался доволен. С тех пор каждый раз, когда «Легенду об Иосифе» исполняли в Вене, он посылал мне телеграммы с требованием приехать и исполнить эту роль. Или же телеграммы рассылались во все концы света: «Найдите Карсавину. Привезите ее сюда». Но я оказалась вне пределов досягаемости, в России, переживающей ужасные дни.

После пятилетнего отсутствия я снова присоединилась к труппе Дягилева в 1919 году в Лондоне. На меня огромное впечатление произвели перемены, происшедшие с Мясиным. Впервые я увидела его в 1913 году. Я сочла партию Иосифа, единственную, которую он тогда исполнял, выдающейся. Даже само отсутствие виртуозности у него в те дни придавало определенный пафос создаваемому им образу, воплощению юности и невинности. Теперь он уже не был прежним застенчивым юношей. Наша первая совместная работа над «Треуголкой» показала, что он стал настоящим взыскательным хореографом, к тому же обладал совершенным мастерством как танцовщик, а его не по годам развитая зрелость и незаурядное владение сценой делало его в моих глазах исключительным балетмейстером. Больше всего меня поразило его великолепное знание испанских танцев. На русской сцене мы привыкли в лучшем случае к слащавой хореографической стилизации испанского танца; но Мясин умел передать самую суть испанского народного танца. Во время сезона Русского балета в Испании Мясин брал уроки у Феликса, большого знатока и опытного исполнителя народных танцев. Чтобы продолжить эти занятия, Феликса взяли с собой в Лондон, и Дягилев, желая вдохновить меня на создание новой роли, пригласил меня прийти в «Савой» и посмотреть, как танцует Феликс. Было уже довольно поздно, когда после ужина мы спустились в танцевальный зал, и Феликс начал. Я смотрела на него раскрыв рот от восхищения, изумляясь его внешней сдержанности, за которой ощущался бурный темперамент полудикаря. Не заставляя себя просить, он танцевал один танец за другим, а в перерывах пел гортанные испанские песни, аккомпанируя себе на гитаре. Я была настолько увлечена, что совершенно забыла, что нахожусь в роскошном зале отеля, как вдруг заметила группу перешептывающихся официантов. Оказывается, было уже поздно, очень поздно — пора заканчивать представление, иначе они будут вынуждены потушить свет. Они подошли и к Феликсу, но он не обратил на них ни малейшего внимания — в мыслях своих он был далеко. Это выступление произвело на меня такое же впечатление, как песни цыган на родине: дикость и щемящая тоска. Но у нас на родине ни одному гостиничному служащему не пришло бы в голову так бесцеремонно вернуть нас на землю. Для русского такой комендантский час совершенно немыслим. Лампы предостерегающе мигнули и погасли, но Феликс продолжал танцевать как одержимый. Его каблуки то выбивали стакато, то замирали томно, то превращались почти в шепот, то, казалось, заполняли зал раскатами грома — и это наполняло невидимое представление огромным драматизмом. Мы, совершенно зачарованные, слушали, как он танцует.

Похоже, вкладывать всю душу в свое дело — национальная черта испанцев. Так же, как Феликс танцевал, забыв обо всем на свете, два величайших представителя современного искусства самозабвенно погрузились в совместную работу над «Треуголкой».

Величайший музыкант, де Фалья, мягкий и скромный, напоминающий портреты Эль Греко, не считал для себя унизительным аккомпанировать нам во время репетиций.

Великолепный пианист, он привел в восторг директора Парижской оперы Руше своим исполнением партитуры «Треуголки». В другой раз он исполнил только для меня одной партитуру своего балета «Любовь-волшебница».

Хотя оценивать творчество композитора, находящегося в полном расцвете, может показаться несколько самонадеянно с моей стороны, но я все же скажу, что мне де Фалья всегда казался гением, возвращенным на живительной почве своей родины; и, хотя его искусство интернационально по своему значению, он навсегда останется великолепным примером глубоко национального художника.

Пабло Пикассо в своем дерзком поиске новой выразительности никогда не забывал о линии, в совершенстве владея ее искусством. И хотя многие смеялись над его смелыми экспериментами и говорили, будто и они тоже могут делать такие «лоскутные» картины, тем не менее только он обладал такой точной, сильной и изящной линией, которая, казалось, была утрачена после Энгра. К тому же он обладал абсолютным чувством сцены и знанием ее требований и умел создавать лаконичные выразительные композиции в неоромантическом стиле, далеком от сентиментальности. К началу репетиций он закончил все костюмы, кроме моего, время от времени он приходил посмотреть, как я танцую. Костюм из розового шелка и черного кружева простейшего фасона, который он, наконец, создал, представлял собой настоящий шедевр — скорее символ, чем этнографическое воспроизведение национального костюма.

В день премьеры «Треуголки» Дягилев ознаменовал мое возвращение, преподнеся венок с надписью: *«В честь того дня, когда Вы вернулись в объятия своего отца»* о тяжелых временах, когда он пытался продолжать вести дела своей антрепризы. Я сообщила ему новости о друзьях, оставшихся в России, и поведала о том, как его пустячная просьба заставила меня в течение многих месяцев скитаться по чужбине, тогда как я жаждала очутиться на родине. И вот как было дело.

К концу сезона 1914 года я стала испытывать смутное беспокойство. Я не слишком хорошо разбиралась в политических событиях, но все вокруг были настроены достаточно оптимистично. Все верили в успех посредничества. Каких-то определенных мрачных предчувствий у меня не было — просто возникло внезапное острое желание оказаться дома, такое чувство обычно возникает перед приближением грозы. Если бы не это, я с удовольствием осталась бы еще на несколько дней в Лондоне. Часто выступая здесь, я его полюбила. Теперь я питаю симпатию даже к его зимним туманам. Пламя костров в эти туманные дни рождало во мне чувство блаженного покоя. Но на этот раз я решила уехать на следующий день после закрытия сезона. Вещи были уложены, и уже проходила небольшая шуточная церемония, повторявшаяся каждое утро. С тех пор как я как-то сказала Селине, своей французской горничной, что получаю огромное наслаждение от сливок, которые подают по утрам к кофе, она никогда не упускала случая шутливо заметить, заказывая завтрак: *«Surtout, garcon, n'oubliez pas les delices» de Madam*. («Главное, не забудьте наслаждение для мадам») В то утро на подносе рядом с моим «наслаждением» лежала записка от Дягилева, просившего меня отложить отъезд на один день, так как ему необходимо переговорить со мной. Эта отсрочка на один день дорого мне обошлась.

#### *Часть четвертая*

### ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ

#### Глава 25

Дорога домой. — Театр во время войны. — «Бродячая собака». — Дягилев в дни войны. — Распутин. — Палеолог. — Хью Yolpol. — Изучение английского

Приехав в Берлин, я стала свидетельницей панического бегства русских на родину. Объявление войны застало нас в нескольких часах езды от русской границы. Нам позволили выйти у границы, но тотчас же приказали снова сесть в вагоны и отправили обратно в Берлин. Всего несколько сот ярдов отделяло немецкую территорию от русской — узенькая речушка и пешеходный мостик, проходивший рядом с железнодорожной веткой. В мирное время я обычно предавалась размышлениям о забавных контрастах между нашим безалаберным сельским хозяйством с тощими курами и самостоятельно разгуливающими свиньями и добротными кирпичными домами, стадами важных гусей с немецкой стороны. В мирное время любой носильщик в Вирийбалове поздравил бы каждого русского путешественника с «благополучным возвращением домой», бросая многозначительные взгляды в ожидании чаевых; начальник таможни, балетоман, открывал мне отдельную комнату и отдавал распоряжение перенести мой багаж прямо в поезд. Теперь казалось жестокой насмешкой добраться до родины, видеть ее и быть отправленной назад, но с немецким офицером не поспоришь. На противоположном берегу было тихо и темно, но кто-то шепотом сообщил, что днем была перестрелка.

От станции я шла по Унтер-ден-Линден, мостовые которой были покрыты грудями скомканных прокламаций. Витрины пестрели картами будущей Германии. Обезумевшая толпа, кипевшая ненавистью, мешала уличному движению.

Я отправилась в русское посольство, и это посещение произвело на меня тягостное впечатление — с опущенными ставнями оно выглядело словно дом мертвеца. Я живо припомнила его праздничный вид в тот день, когда я была там в последний раз. Всего лишь несколько месяцев назад здесь был устроен бал и спектакль в честь немецкого кайзера. В посольстве ничем не могли мне помочь: ни одного имени невозможно было добавить к списку уезжающих той ночью посольским поездом. Посол дал мне записку к своему испанскому коллеге, и тот снабдил меня пропуском в Голландию. Там три недели я терзалась, переходя от надежды к отчаянию до тех пор, пока не села на пароход, который отвез меня назад в Англию. Наконец, я вырвалась из замкнутого круга; а еще через неделю, используя различные транспортные средства, добралась до Петербурга. Так дорого обошелся мне день отсрочки, на который я согласилась ради Дягилева.

На вокзале меня встретила близкая подруга. По дороге домой она говорила вполголоса и, даже войдя в дом, продолжала все тем же приглушенным голосом рассказывать обо всем, что произошло в столице за последний месяц. Обычно люди говорят таким образом, когда в доме покойник. Она рассказала мне, каким зловещим было лето, душным и безветренным; с каждым днем сужалось окружавшее город кольцо пожаров; медленно горели торфяные болота; солнце пылало, словно гнев Божий. Начались забастовки, мрачные и сдержанные. Страну словно охватило оцепенение, когда несчастье, значение которого пока еще невозможно было оценить, потушило призывы к мятежу. Разразилась война, и поднялась волна забытого патриотизма. В России с ее ужасно медленными средствами связи мобилизация тем не менее закончилась раньше назначенного срока. На площади у Мариинского театра проводили учение рекруты — бежали в атаку, кололи штыками набитые соломой чучела. В сумерках они возвращались в казармы. Я слышала, как они маршировали под окнами, распевая патриотические песни. Это происходило ровно в шесть часов, хоть часы проверяй. Жизнь в городе текла своим чередом. Как и прежде, мы проверяли часы по полуденному пушечному выстрелу с крепости. Далекий символ общины — когда-то сигнал рабочим для перерыва на обед. Полуденный выстрел... Звук пушки, такой спокойный и привычный, казался теперь *memento mori*. (Помни о смерти)

Театры всю войну оставались открытыми, они не только служили некоторому отвлечению встревоженных умов, но и решали свои собственные художественные задачи. Не изменился план ставить определенное количество новых спектаклей в сезон, хотя, конечно, в целях экономии приходилось идти на определенные ухищрения — для

возобновленных спектаклей декорации и костюмы извлекались из благополучного прошлого. В эти скорбные годы сцена оставалась на удивление спокойной. Фокин тогда работал исключительно для Мариинского театра. Одна из его последних постановок «Арагонская хота» так и искрилась весельем. В драме не нашли отражения ни ужасы войны, ни уныние, вызванное действительностью. Более того, драма инстинктивно отвернулась от настоящего — произошло великое возрождение классики. Причиной кажущегося равнодушия театров был отнюдь не эгоизм, сцена выполняла свою миссию в годы войны, защищая вечные ценности, давая приют высокому культу красоты во всем мире. И конечно же сама мысль о чьем-либо равнодушии в то время показалась бы абсурдной — война подчинила себе все.

У театральных касс по-прежнему стояли очереди, и пустые места не бесчестили облика Мариинского, хотя лицо зрительного зала сильно изменилось — не стало ни ярких форменных мундиров, ни нарядных туалетов. Каждый вечер публика требовала исполнения государственных гимнов. По мере того как новые союзники присоединялись к альянсу, перерывы становились все длиннее. Требовалась уже добрая четверть часа для того, чтобы исполнить все гимны. Исступленный восторг, с которым их встречали сначала, постепенно уменьшался по мере того, как нарастала усталость от войны. Немецкое происхождение британского гимна вызывало раздражение, и театры после консультации с британским посольством стали исполнять вместо «Боже, храни короля» патриотическую песню «Правь, Британия». Во всех ресторанах оркестры играли «Трипперери». Нещадно искореняя все, в чем ощущался немецкий привкус, Петербург переименовали в Петроград.

Некоторых артистов, хотя и немногих, отправили на фронт. Мы продолжали собираться в «Бродячей собаке», артистическом клубе, явно богемного характера, о чем говорит само его название. Артисты, имевшие постоянную работу и устоявшиеся привычки, «филистеры» нашей касты, посещали, но не слишком часто «Бродячую собаку». Актеры же, перебивавшиеся случайными заработками, музыканты, которых в будущем ждала слава, поэты и их музы, а также некоторые эстеты собирались там каждый вечер. Когда я говорю «музы», то не хочу быть превратно понятой и как-то обидеть этих прелестных особ, быть может, необычно одетых, но, судя по всему, обладающих яркой индивидуальностью. (Говоря о «музах», Карсавина, по-видимому, имеет в виду Палладу Богданову-Бельскую и Ольгу Глебову-Судейкину.) В отношениях членов клуба не было места притворству или скучным штампам, не имело значения и социальное положение. Впервые меня привел туда один из моих друзей, художник. Оказанный мне по этому случаю прием отличался определенной торжественностью — меня подняли вместе с креслом и, к моему смущению, приветствовали аплодисментами. Этот ритуал давал мне право свободного входа в погребок, и, хотя я не была представительницей богемы, это место мне нравилось. Первоначально это был подвал большого дома, предназначавшийся для хранения дров. Судейкин расписал его: Тарталья и Панталоне, Смеральдина и Бригелла и сам Карло Гоцци строили нам гримасы со стен. Устраиваемые здесь представления носили в основном импровизационный характер. Актер, которого встречали аплодисментами, выходил вперед и демонстрировал, что душа пожелает, если вообще был в настроении что-либо показать. Поэты, всегда сговорчивые, декламировали свои новые стихи. Иногда сцена пустовала, тогда хозяин брал в руки гитару и начинал петь, и, как только заводил любимую песню, все присутствующие подхватывали припев: «О Мария, о Мария, как прекрасен этот мир».

Однажды я танцевала для них под музыку Куперена «Кукушки и Домино» (Точное название этого произведения «французские безумства, или Маски Домино») и «Перезвон колокольчиков Киферы», и не на сцене, а прямо среди публики, на маленьком пространстве, окруженном гирляндами живых цветов. Я сама выбрала программу; в те дни я обожала милую бесполезность кринолинов и мушек, любила звук клавесинов, напоминавший жужжание пчел. Друзья в ответ преподнесли мне «Букет», только что

вышедший из печати. В этом альманахе поэты собрали созданные ими в мою честь мадригалы, а за ужином продолжали придумывать и читать новые. «Quelle floraison vous faites eclore, Madame» «Как вокруг вас все расцветает, мадам» — такой итог подвел один светский человек; в своем рвении собрать в тот вечер избранное общество я пригласила известных гостей, и среди них был мой большой Друг, чье британское отвращение ко всему показному заставляло его смотреть на часы в то время, как мои поэты из кожи вон лезли, декламируя стихи, порой он задавал вопрос, долго ли я намерена оставаться среди этих микробов. «Бродячая собака» кое-как протянула всю войну и влачила жалкое существование до второго года революции.

Дягилев несколько раз приглашал меня присоединиться к нему. Большую часть времени он проводил в Испании. Приглашение из Америки пришло как раз вовремя, чтобы помочь ему выбраться из затруднительного положения. Дягилев очень хотел, чтобы я поехала с ними в Америку, но я не могла, да и не хотела покинуть родину. Если бы мне предложили снова пережить великую печаль тех дней, то я без колебаний согласилась бы. Да и кто из нас отказался бы? Есть горе, возвышенное величие которого не променяешь на личный покой.

Началось наше отступление из Галиции. «Наши войска отступили в полном порядке, оказывая успешное сопротивление авангарду противника», — читали мы в официальных сообщениях, а между строк видели, как наши безоружные солдаты встретили грудью огонь австрийцев. На южном фронте не хватало боеприпасов, можно было сделать всего лишь несколько жалких выстрелов в день. Только стойкость солдат обеспечила организованное отступление. За границей так никогда и не оценили героизма русской армии, проявленного в этом неравном противостоянии, хотя он значительно превышал мужество, продемонстрированное нашими войсками во время блестящего наступления на юге. Европа аплодировала только победам. Но может, история еще восстановит справедливость и покажет всю несостоятельность того презрения, которому подверглась Россия в дни галицийского поражения.

В Петербурге ощущалось предчувствие неизбежной трагедии. Распространялись какие-то невероятные слухи, повторялись зловещие пророчества Распутина. Однажды я встретила его на улице у того места, которое подобно грандиозной декорации стояло на маленьком островке меж двух сонных каналов. Я часто приходила туда полюбоваться на неуместное величие военных складов с их аркой, достойной Пиранезе. Мое внимание привлекла не одежда идущего навстречу человека — во время войны мы все привыкли к виду тулупов, — а прямые черные волосы и близко посаженные глаза со странным блеском, не соответствующие крестьянскому лицу, глаза маньяка. Я уже прежде слышала о магнетической силе его глаз и ни секунды не сомневалась, что человек, прошедший мимо меня под руку с дамой, и есть Распутин. Ужасную историю убийства Распутина рассказывали слишком часто, она, искаженная, разошлась по бесчисленному количеству бульварных романов со всей присущей им отвратительной вульгарностью, а недавно нашла свое отражение в воспоминаниях участников событий. Утром 16 декабря весь город узнал о том, что произошло накануне ночью. Трудно сказать, каким образом распространилась эта новость, так как газеты упомянули о ней лишь несколько дней спустя, да и то весьма лаконично. Ко мне в комнату вошла Дуняша и, приложив массу усилий, чтобы успокоить рычащего Лулу, который всегда возмущался, когда его отгоняли от моей кровати, сообщила мне, что ночью убили Распутина. Она узнала новость от молочника, а тот узнал об этом от швейцара из дворца Юсуповых, расположенного неподалеку от нашего дома. Невероятная новость подтвердилась. В последующие дни Петербург кипел, все приходили Друг к другу с визитами и делились слухами. От разных людей я слышала множество версий события, наиболее точную сообщил мне французский посол Палеолог.

История, рассказанная им за чашкой чая, сильно походила на главу из ловко скроенного романа, низменного и драматичного. Особое очарование придавало повествованию место



и время действия — дворец ночью. Описание отличалось удивительной выразительностью, это нечеловеческое сопротивление — корчащееся тело, с которым не могли совладать ни яд, ни пуля; оно, спотыкаясь, поднималось на ноги, словно было бессмертным. Мы не можем судить тех, кто ради блага своей страны нарушил законы, божественные и человеческие. Предстать лицом к лицу с таким ужасом, не значит ли это искупить вину? Не наше право решать. Палеолог не передал мне слов, приписываемых Распутину, слов, которые всем, и суеверным, и скептикам, показались дурным знаком: «Мой конец будет концом династии». И пожалуй, самой невероятной и жуткой из всех историй, окружавших жизнь и смерть Распутина, была одна, о которой рассказывали шепотом. Тело, брошенное в реку с крепко связанными руками, было найдено спустя несколько дней, причем правая рука лежала на левом плече, словно мертвец осеял себя крестом.

Последующие сообщения подтверждают, насколько верной была информация Палеолога. А мое ощущение, что все описанное было «как в книге», происходило от его исключительного дара рассказчика и редко встречающегося воображения автора. Эти качества я особенно в нем ценила. Палеолог был большим поклонником театра; он утверждал, будто его встречи со мной и беседы о театре *позволяют* ему отвлечься от политики и получить заслуженный отдых. Далекие от светской болтовни и пересудов, эти беседы выходили за пределы технических дискуссий балетоманов. Он пытался найти определение той степени виртуозности, когда тело словно освобождается от всех уз и начинает жить по собственным законам. Он придумал и предложил мне следующую фразу: «*Se faire un corps glorieux*». («Сделать тело победителем») Палеолог дружил с Александром Бенуа и любил бывать у него по воскресеньям, когда художник собирал у себя друзей пообщаться и порисовать с натуры.

В те безрадостные дни Палеолог вносил в нашу жизнь луч солнечного света. На своих вечерах он не только великолепно угощал, не только тщательно продумывал состав гостей, но, насколько позволяли условия посольства, пытался изыскать возможности и каждый раз по-новому оформить прием. Однажды мы ужинали в бальном зале, созерцая прекрасные шпалеры; в другой раз ужин был назначен на более ранний час, стол передвинули к огромному окну, чтобы полюбоваться закатом солнца над Невой. Это был очаровательный вечер, хотя солнце и подвело. Шаляпин, выступавший накануне в концерте, отказался петь, но, несмотря на это, внимание всех присутствующих, как всегда, было приковано к нему. В роли души общества ему не было равных. Палеолог рассказал мне, какое глубокое впечатление произвело накануне вечером исполнение Шаляпиным «Марсельезы» — «*La patrie, la patrie chérie*» («Родина», любимая родина) ... Всех душили слезы.

Для русских было тогда очень важно ощущать неизменно оптимистическое настроение союзников. В этом отношении мне повезло больше, чем большинству моих соотечественников. Я не только ощущала подобные настроения в своем собственном доме, но также поддерживала постоянные дружеские отношения с неизменно жизнерадостным и хорошо осведомленным человеком, Хью Уолполом. Мое недавнее состоявшееся с ним знакомство быстро переросло в дружбу. Он осуществлял в России пропаганду британских интересов. Сначала мы почти не могли разговаривать: он очень плохо говорил по-русски и по-французски, я же не знала ни слова по-английски, но сразу же почувствовала к нему симпатию. Он интересовался жизнью русских людей и их национальным характером, но не потому, что хотел изучить нечто экзотическое, причудливое, а из искренней любви к нашей стране и желания понять ее. Он жил в одной квартире с Константином Сомовым, и в то время, когда жизнь была такой тревожной и человек легко впадал в меланхолию от постоянно поступающих плохих новостей и признаков неминуемой катастрофы, спокойная атмосфера, царившая в их кружке, где по-прежнему господствовало искусство, была поистине умиротворяющей. Хью был чрезвычайно привлекательной, симпатичной личностью, он постоянно пытался

включиться в беседу, несмотря на плохое знание языка. С присущей русским любовью к Диккенсу мы прозвали его Пиквиком, и эта параллель показалась мне особенно близкой благодаря одному эпизоду, который врезался в память. Мы шли к Бенуа, и Хью все время оскальзывался на тонком льду, он упал не менее четырнадцати раз, но каждый раз, поднявшись, как ни в чем не бывало продолжал разговор с того места, на котором прервался до падения. Впоследствии он первым стал всерьез обучать меня моему новому языку. Он ввел меня в мир английской литературы, и самым тем фактом, что смогла написать эту книгу, я обязана ему. Он дал мне список книг и, как когда-то я училась русскому, читая Пушкина, теперь начала изучать английский с эссе Лэма, с Пеписа и «Смерти короля Артура». В результате моя речь представляла невообразимую смесь архаизмов и грубых ошибок, что ужасно забавляло мою новую семью. Муж (Второй муж Т.П. Карсавиной Г. Брюс, начальник канцелярии английского посольства в Петрограде.) часто цитировал мое описание битвы при Гастингсе:

«Гарольду выстрелили в глаз, и он упал со своего штандарта». И еще один незабываемый пример: в восторге от новой сумочки из свиной кожи я воскликнула: «Посмотрите на мою сумку, это же настоящая свинина!»

В начале февраля я поехала на гастроли в Киев. Теперь уже меня не сопровождала свита балетоманов, как бывало прежде. Их ряды поредели, традиции угасали; уже не было места для смелых эскапад. Вслед за мной в Киев поехал только мой верный рыцарь и мое доверенное лицо, Виноградов. Простой, малограмотный человек, он был фанатично предан балету, а то, что он был свидетелем славы Вирджинии Цукки, сделало его общепризнанным вождем галерки. Он был искренне ко мне привязан. Побагровевший, склонный к апоплексии, он бегал взад-вперед по галерке, выкрикивая, как боевой клич, мое имя. Он продолжил свою неутомимую деятельность и в Киеве — стоял в очередях в театральные кассы, чтобы выяснить, как ко мне относится будущая публика, и ежедневно приносил ободряющие отчеты о продаже билетов. Именно от него до меня впервые дошли слухи о революции в Петербурге. В течение трех дней не было ни поездов, ни телеграмм. Когда связь была восстановлена, мы узнали об отречении императора.

## Глава 26

Эпизоды войны и революции. — Дворец Кшесинской. — Председатель в тарлатановых юбках. — Трагическая гибель Дуняши. — Служащий канцелярии. — Я в роли подозреваемой. — Лев и комиссар

Я вернулась из Киева среди ночи — вокруг ни единого экипажа, ни одной живой души. Город охраняла новая милиция. По дороге домой меня несколько раз останавливали — вежливо просили предъявить документы. Это были в основном студенты, странное сочетание гражданской одежды и винтовки на плече.

Утром из окна открылся новый вид. Напротив стояло здание тюрьмы. Я всегда восхищалась красотой его пропорций и двумя фигурами коленапреклоненных ангелов над воротами, теперь оно было искореженное огнем, практически остался только остов.

Дуняша рассказала мне, что наши оконные стекла даже раскалились от огня.

Поджигали тюрьмы, арсеналы, суды. Разрушили и несколько частных домов; разграбили дома министра двора и Кшесинской. Я встретила Кшесинскую в 1922 году в Монте-Карло. Она была тогда княгиней Красинской, женой великого князя Андрея Владимировича. Хотя она потеряла почти все состояние, но оставалась такой же жизнерадостной, как всегда, — ни единой морщинки, никакого следа беспокойства. К счастью для нее, когда разразилась революция, ее не было в Петербурге, она отдыхала в Крыму, вполне возможно, это спасло ее от гибели. Она рассказывала мне, с каким смешанным чувством страха и надежды приехала в Кап-д'Ай, не уверенная, существует ли еще вилла. Ее радость, когда она нашла дом в целости и сохранности, не знала границ.

Она рассказала мне о своих скитаниях, при этом шутила, говоря о лишениях, и к своему теперешнему положению относилась с мужеством и философским спокойствием. Она продолжала танцевать даже без балетных туфель и была счастлива, как дитя, когда я подарила ей свои.

После первых дней эксцессов, канонад и пожаров в Петербурге установилось спокойствие. Прокламации нового правительства призывали население оказать ему доверие. Милиция, ходившая с обысками по домам, старалась успокоить горожан.

Революция переживала краткий период оптимизма.

В театре артисты, отойдя от прежних традиций, ввели в обиход обращение «товарищ». Был назначен новый директор, ученый, знаменитый профессор. Артисты организовали свои комитеты, я была выбрана председателем одного из них. Быть председателем и выступать в качестве примы-балерины оказалось выше моих сил. Я изо всех сил старалась, чтобы моя артистическая деятельность не пострадала: делала экзерсис рано утром, после собраний комитета спешила на репетиции, после репетиций — к столу, заваленному бумагами. Посыпались жалобы: молодые танцовщики требовали повышения им жалованья и продвижения под предлогом равноправия и справедливости. Комитет заседал с утра до позднего вечера. Наш чрезвычайно мягкий директор вопреки этикету приходил ко мне, председательствующей в тарлатановых юбках. В ведении комитета находилось и балетное училище, и в роли просительницы пришла ко мне Варвара Ивановна. Такая перемена ролей казалась мне отвратительной; я попросила пожилую женщину, чтобы она посылала за мной, когда у нее возникнет какая-либо необходимость... В следующий раз я пришла к ней. Впервые увидела я ее комнаты. Так вот из каких приятных и уютных комнат появлялась пугающая фигура, облаченная в черный шелк. Мне было искренне жаль, что грозная «бука» моей юности лишилась своего былого престижа. Кроткая, слегка ссутулившаяся пожилая дама просила меня уберечь училище от предполагаемых реформ.

Мариинский лишился орлов и императорских гербов; засаленные куртки сменили красновато-коричневую форму бывших служителей.

Я помню вечер благотворительного спектакля — небольшая группа седовласых изнуренных людей сидела в царской ложе. Это были старые политзаключенные, пару месяцев назад возвратившиеся из Сибири. Теперь отдавали дань их мученичеству. Но наступила вторая фаза революции, и они оказались смыты новой волной и превратились в посмешище. Эта фаза покончила с оптимизмом. Фронт был прорван, дезертиры хлынули домой; дезорганизованные солдаты заполнили поезда — они ехали на крышах вагонов, цеплялись за буферы. Из голодных городов ежедневно толпы устремлялись в поисках пропитания. Правительство предпринимало отчаянные попытки продолжать войну. На каждом углу устраивались импровизированные митинги. Приехал Ленин; он произнес речь с балкона особняка Кшесинской, где устроил свой штаб.

С каждым днем слухи все множились, словно микробы на теле больного, рожденные за ночь газеты распространяли информацию, полную паники, и фабриковали клевету. Ума не приложу, как огромные плакаты, развешанные на главной улице, не привлекли моего внимания. Я шла домой пешком, но не заметила своего имени на них. Вечером зазвонил телефон, и один из старых друзей взволнованно спросил: «С тобой все в порядке?» Я не могла поверить собственным ушам, когда он сказал, что на плакатах в тот день стояло полностью мое имя и под ним подпись: «немецкая шпионка». В тот вечер я собиралась идти продавать программы благотворительного бала в Мариинском театре; он умолял меня не идти и даже считал, что мне небезопасно оставаться ночевать в своей квартире. Но я решила пойти, понадеявшись на то, что здравый смысл восторжествует. В тот вечер все было как обычно — ни тени подозрительности или недоброжелательности по отношению ко мне. А через несколько дней было опубликовано извинение.

У Дуняши быстро ухудшалось зрение. Она сходила к «особенному» врачу, который посоветовал ей подождать, пока катаракта созреет. Я и не замечала прежде, какой слабой

и беспомощной она стала. Дуняша приходила в комнату и порой забывала зачем, стояла неподвижно, перебирая в воздухе пальцами. Мы вынашивали план поехать на лето в Лог, там было бы легче доставать продукты, и я жаждала снова посетить это место. Она тоже с нетерпением ожидала поездки.

Однажды днем она пришла ко мне с маленьким узелком под мышкой и попросила позволения сходить в русскую баню. Прошло несколько минут, и раздался стук в дверь — пришел слуга из соседней квартиры.

— Вашу старушку сбила машина, — сообщил он. — Задавила насмерть; ее унесли в военно-морские бараки.

Бараки госпиталя находились напротив нашего дома. Матрос, дежуривший в морге, был груб, но все же позволил мне зайти. Я увидела ее тело и разрыдалась. Матрос смягчился и спросил:

— Это ваша мать?

Я ответила, что она была моей кормилицей. Он протянул мне деревянную табакерку, найденную в ее кармане. Наверное, Дуняша считала это грехом, никто не знал, что она нюхала табак. Я похоронила ее в финской деревне, которую она считала своим домом. Утром 8 ноября я увидела кадет, марширующих по Миллионной в направлении Зимнего дворца; старшему из них на вид было лет восемнадцать. Днем стали раздаваться единичные выстрелы. Верные правительству войска забаррикадировали Дворцовую площадь и перекрыли боковые улицы. Основная борьба развернулась вокруг телефонной станции. Несколько часов я просидела, прижимая к уху телефонную трубку; время от времени в ответ звучал то мужской, то женский голос: «Какой номер?» Я могла проследить, как телефонная станция множество раз переходила из рук в руки. Говорили, будто другой берег реки отрезан, все мосты подняты; стоящий на Неве крейсер нацелен на Зимний дворец; крепость — в руках большевиков; батальон кадет и женский батальон защищали дворец изнутри, и несколько отрядов, верных правительству, обороняли позиции снаружи. Винные погреба по всему городу разграбили. Вечером в театре должен был состояться балет. Я вышла из дому в начале шестого. Примерно через час окольными путями добралась до театра. К восьми часам в театре собралась примерно пятая часть труппы; после непродолжительных колебаний мы решили поднять занавес.

Немногочисленные исполнители, разбросанные маленькими группами по просторной полупустой сцене, напоминали рассыпанные фрагменты головоломки, по которым надо было вообразить рисунок в целом. Зрителей в зале было еще меньше, чем артистов. На сцене канонада была едва слышна, но до артистических уборных она доносилась вполне отчетливо. По окончании спектакля у театра меня ждали друзья; мы собирались поужинать у Эдварда Канарда, квартира которого находилась неподалеку от Зимнего дворца, напротив моей. Площадь перед Мариинским была пуста; мы заколебались, какой дорогой идти: по площади разносилось столь гулкое эхо от стрельбы, что мы не могли определить, откуда же она раздается. Нашу улицу перегородили пикеты. Мы встретили Хавери, канцелярского служащего британского посольства, сквозь шум и грохот спорящего с солдатами.

— Ничем не могу помочь в вашем затруднительном положении; я должен отправить письма.

Когда-нибудь следует написать воспоминания об этом бесстрашном лондонском «продукте». Если ему нужно было отослать письма либо телеграммы или проводить посланца от короля, уличные бои не пугали его. Он каким-то образом добирался в нужное место, однажды даже на бронемашине. Только коренной лондонец мог найти подходящую бронемашину и ухитриться на ней проехать.

Квартира Канарда находилась дальше по Миллионной, чем моя, всего лишь в сотне ярдов от Дворцовой площади. Пулеметы загрохотали с новой силой; у меня возникло неприятное чувство, будто мне вот-вот перебьют берцовую кость. За ужином мы почти не слышали друг друга — так оглушительно звучали выстрелы пушек, пулеметов, винтовок.

Канард принес колоду карт, и мы стали играть, чтобы скоротать время. Свечи догорели и оплыли. Серый зимний свет проникал сквозь щели в занавесках. Звуки сражения стихли — только единичные пушечные выстрелы. Мы стали расходиться, мужчины провожали всех дам по очереди.

Из моего окна были видны казармы. Одинокaя фигура в солдатской форме крадучись появилась из тени ворот и бросилась по направлению к Марсову полю; выстрел — и человек упал в снег. Я задернула занавеску. Утром у нас уже было другое правительство — премьер-министром стал Ленин.

Свечи стали дефицитом. В три часа уже темнело, и было особенно трудно продержаться до шести, когда давали электричество. Неестественная тишина города, зловещее молчание пустынных улиц еще больше увеличивали опасения, делая напряжение почти невыносимым. Слух обострился до такой степени, что различал издали чуть слышный звук шагов по плотному снегу. Винтовочный выстрел, пулеметная очередь — и снова тишина.

По вечерам в темном дворе часто колыхались отблески света — это приходили с обыском солдаты. Я была избавлена от подобных визитов. Обыски производились главным образом по инициативе домового комитета. Хотя моя новая прислуга и входила в него, но по отношению ко мне вела себя порядочно.

В первую годовщину революции в городе устраивались манифестации. Безопаснее было оставаться дома. Накануне я вступила в спор с комиссаром, защищая интересы труппы.

Муж сказал:

— Тебе следовало бы соблюдать осторожность. Только он произнес фразу, как мы услышали шум на лестнице — топот множества ног, бегущих вверх; дверь загремела под тяжелыми ударами. На лестничной площадке стояла группа солдат; похоже, опасения мужа подтвердились. Мой страх внезапно сменился раздражением, и солдаты на удивление тихо и даже немного сконфуженно объяснили, что ищут привратника, который, возможно, скрывается в моей квартире. Он явно обидел их своими ироническими высказываниями. Получив мои заверения, что я не прячу его, солдаты ушли.

К Рождеству я заболела и попросила об отставке с должности председателя. В течение двух месяцев я с трудом передвигалась от кровати до дивана. Временами тьма в квартире становилась столь невыносимой, что я выходила на улицу, где хотя бы горели газовые фонари. Лихорадка то приходила, то отступала. Смешанная с постоянным чувством голода, она вызвала у меня странную навязчивую идею — снова отыскать Лоцманский остров. Отец однажды возил меня туда, но воспоминание об этом было настолько далеким, что временами я сомневалась, существовал ли он когда-нибудь в действительности. Во время одного из этих своих походов я почувствовала, что больше не могу идти, и наняла экипаж, они еще были, но их оставалось уже мало. Недалеко от моего дома лошадь пала, вокруг собралась небольшая толпа, выражающая сочувствие. Кто-то сурово заявил, что не стоит оплакивать лошадь, когда каждый день от голода падают люди.

К весне я смогла возобновить работу и время от времени стала выезжать на гастроли в провинцию. Такие поездки можно было назвать экспедициями за продовольствием, так как продукты было легче достать подальше от Петербурга. Как-то в Москве в мою артистическую уборную пришел командующий войсками округа. Высокое звание совершенно не подходило молодому человеку, почти мальчику. Покраснев от смущения, он спросил, можно ли преподнести мне вместо букета мешок муки.

При новом правительстве к артистам относились с повышенным вниманием, возможно, из политических соображений — *Panem et circenses*. (Хлеба и зрелищ) Если хлеба было мало, то зрелища щедро предоставлялись народу в большом количестве; нам постоянно давали распоряжения выступать в театрах на окраинах для солдат и рабочих. Но мне кажется, имела место и другая причина хорошего отношения к артистам — искренняя любовь к

театру. Когда после долгих лет разлуки я снова встретила брата, высланного из России, он рассказал мне об инциденте, произошедшем с ним во время заключения. Однажды ночью его разбудили и доставили в Чека. Такие ночные допросы казались особенно зловещими, и мой брат подвергся подобному испытанию. Комиссар был суров; он предъявил брату одно из обвинений:

— Вы ведете переписку с заграницей? Кто ваши корреспонденты?

— Моя сестра.

— Ее фамилия?

— Такая же, как и у меня: Карсавина.

— Так вы брат Карсавиной?! — Комиссар развернулся на вращающемся стуле. — Жизель ее лучшая партия, не правда ли?

— Не могу с вами согласиться, — сказал брат. — Я считаю Жар-птицу одним из ее наивысших достижений.

— Правда?

Разговор зашел о целях и принципах искусства; обвинение было забыто.

— Вы еще будете писать своей сестре? — спросил комиссар прощаясь. — Непременно напишите ей, чтобы она возвращалась. Скажите, что ей окажут все подобающие почести. Моего брата приговорили к высылке из страны вместе с семьей за счет государства. 15 мая состоялся последний спектакль сезона. Давали «Баядерку», балет, который очень любила публика. Овации были необычайно бурными даже для выдавшего вида Мариинского театра. Я пользовалась тогда огромной любовью публики, и ведущий критик того времени написал, что мое искусство «достигло невиданного мастерства». Этому спектаклю суждено было стать моим последним выступлением в Мариинском театре. Тогда «я не знала этого, но чувствовала себя необычайно подавленной, поэтому я приняла предложение какой-то незнакомой девушки выйти через служебный выход и укрыться в ее квартире, напротив театра. Она сказала, что люди ждут меня, чтобы нести на руках, но я ощущала слишком большую печаль для подобного триумфа. Из ее окна я видела, как площадь постепенно пустела. Ночь была светлой, словно вечер без солнца, — белая ночь. Когда я вышла, никого уже не было — только большая крыса кралась вдоль стены театра.

Население Петербурга заметно уменьшилось. Он обрел новую трагическую красоту запустения. Между плитами тротуара выросла трава, его длинные улицы казались безжизненными, а арки напоминали мавзолеи. Трогательное величие оскверненного великолепия.

Английское посольство покинуло город в феврале. Мне пришлось остаться. В июне муж вернулся за мной. У нас возникли непредвиденные трудности с паспортами — в это время англичане высадились на севере. Когда мы почти отчаялись выехать из России, мужу позвонили по телефону — женский голос сообщил, что разрешение на выезд будет прислано прямо ему. Женщина быстро повесила трубку, и он так никогда и не узнал, кем была эта добрая фея.

## Глава 27

### Опасное путешествие

Я позвала подругу, Катюшу, чтобы она помогла мне упаковать вещи. Когда я переехала в эту квартиру, взяла с собой только самые любимые вещи, но теперь и их оказалось слишком много. Что упаковать, а что оставить? Я пыталась поместить в чемодан два старинных портрета. Портрет дамы в жестком зеленом шелковом платье, с цветами из стразов в высокой прическе, с розой в руке, и портрет ребенка с комнатной собачкой достались мне от бабушки и были единственной связью со старым домом за Нарвскими воротами. Теперь на его месте стоит новое здание. Я была там давно, совсем маленьким

ребенком, но в памяти до сих пор сохранились резные эмблемы — колчаны и рога изобилия на фризе и заросший сад. Портреты никак не помещались в мои чемоданы, так же как и ковер с мамелюком в центре. Катюша посоветовала мне не перегружать багаж бесполезными вещами, но я цеплялась за все, что могло напоминать мне о грустных радостях и благословенных печалях последних лет. Мы несколько раз переключивали вещи в чемоданах, пока обе не выбились из сил. Она уснула, свернувшись на тахте, вскоре и я отказалась от бесплодной задачи выбора. Я отправилась спать с беспокойной совестью: ключи от овального столика, где хранились письма, потерялись, и мне приходилось оставить свою корреспонденцию на волю чьих-то нескромных глаз. Кто-то рядом со мной заплакал: я открыла глаза и увидела девочку, стоявшую на коленях у моей постели, она надела мне на шею маленький крестик на розовой ленточке. Обычно я была не слишком добра по отношению к Маре; ее бесконечные ожидания у служебного входа в театр, чтобы ходить за мной по пятам и всячески проявлять свое обожание, я всегда принимала за экзальтацию истеричного ребенка. Как же рано она должна была встать, чтобы прийти ко мне с другого конца города еще до семи утра. Я забыла спросить, как она узнала, что я уезжаю сегодня утром, меня охватила такая жалость к бедной девочке, в чьей привязанности больше не сомневалась.

Мы с Катюшей задержали свою прощальную трапезу, утренний кофе. Муж начинал беспокоиться. Из квартиры, находившейся ниже этажом, поднялся князь Аргутинский. Мне было гораздо спокойнее жить в одном доме с Владимиром Николаевичем. Много долгих вечеров мы провели вместе, сидя при свете единственной свечи и напряженно вслушиваясь в окружающую тишину, часто обогреваясь огнем одного камина, а вокруг простиралась тьма, куда не достигали мерцающие отблески. Он всегда с сочувствием меня выслушивал, и ни с кем на свете нельзя было так хорошо помолчать, как с ним. Начавшаяся под знаком добрых предзнаменований наша дружба стала еще теснее, пройдя суровые испытания последних тяжелых лет. Мы не говорили о том, как нам горько простаться, и не загадывали, удастся ли когда-нибудь встретиться. Он принес мне икону, чтобы она хранила меня во время поездки. Я поручила его заботам портреты, осознавая всю тщетность своей просьбы. В комнату зашла кухарка Лиза. Повинуясь традиции, все сели и несколько мгновений хранили молчание, затем перекрестились и попрощались. Лиза поцеловала мне руку, хотя теперь она была членом домового комитета и по своему социальному положению была выше меня. Аргутинский и Катюша отправились провожать нас на корабль. Они стояли на пристани и махали нам платками до тех пор, пока не скрылись из вида.

Наш путь проходил по великому водному пути — по Неве, Ладожскому и Онежскому озерам. Мы планировали добраться таким образом до Петрозаводска, а оттуда поездом до Мурманска. Три дня на маленьком перегруженном пароходике — и мы прибыли в Петрозаводск. Муж сошел на берег, чтобы узнать, что делать дальше, а я с маленьким сынишкой Никитой и багажом наготове стояла и ждала на палубе, когда увидела, что муж возвращается. По его удрученному виду я поняла, что новости плохие. И действительно, ситуация казалась безнадежной. Французский офицер связи, единственный иностранный представитель, остававшийся в Петрозаводске, посоветовал моему мужу как можно скорее возвращаться на борт судна. Британские войска наступали; несколько большевистских комиссаров погибло в сражении; на север отправлялись только воинские эшелоны, и там не могло быть места для англичан. Нам следовало вернуться в Петербург. Но и там ситуация для англичан складывалась наихудшим образом: граф Мирбах и немецкий посол были убиты, и преступление приписывалось англичанам. У нас не было иного выбора — только последовать совету француза.

На пароходе находился молодой граф М., он тоже направлялся в сторону расположения английских войск. Его миссия была чрезвычайно опасной. Легкомысленный юноша на каждой остановке мчался в деревню и возвращался оттуда запыхавшимся, с молоком и свежими яйцами. Я как сейчас вижу его бегущим семимильными шагами, размахивая

своей добычей, демонстрируя ее нам, находившимся на палубе. Узнав о нашем затруднительном положении, М. поговорил с находившимися на пароходе крестьянами и узнал о существовании почтового тракта, ведущего через Олонецкий лес к заливу Белого моря, откуда небольшое суденышко могло перевезти нас на другой берег, где, согласно его информации, мы найдем англичан.

На пятый день мы сошли с парохода в маленькой деревеньке Повенец. Никаких признаков Красной армии. Крестьяне охотно соглашались предоставить нам телеги для следующего участка пути. Мы попрощались с М. Наш багаж оказался слишком громоздким для подобного путешествия, мне снова пришлось переупаковать чемоданы, оставив только самое необходимое. Остальное я вверила корабельному эконому, поручив переправить в посольство по возвращении в Петербург. Толпа любопытных крестьянок собралась вокруг меня на пристани, пока я занималась своими чемоданами; я раздала им кое-какие вещи Никиты, без которых можно было обойтись.

Крестьяне собрались проводить нас и пожелали доброго пути, в этой деревне люди были дружелюбными. Наш обоз состоял не менее чем из пяти телег. Целую неделю мы пробирались через густые леса, мимо бесчисленного количества озер с глубокими темными водами. Никаких городов, деревни далеко — местность мрачная, зловещая. На закате густые рои комаров наполняли воздух: в некоторых местах их темные дрожащие облака нависали над деревьями или поднимались над землей в форме пирамиды. Крестьяне, работавшие на полях, покрывали голову муслиновыми накидками.

Несколько дней мы не встречали никаких препятствий на пути, но нас все время преследовало чувство притаившейся опасности. Мой маленький мальчик, привыкший в Петербурге при звуке выстрелов на улице говорить «паф», словно тоже предчувствуя что-то ужасное, цеплялся за мое платье и днем и ночью кричал и плакал. Время от времени он засыпал, временами у меня немели колени под тяжестью его веса, но от моего малейшего движения он снова начинал кричать и отчаянно цепляться за меня. Ночами мы останавливались в деревнях; крестьяне охотно давали нам приют, предоставляя в наше распоряжение самовар и пол, чтобы спать. Проявляя интерес к цели нашего путешествия, крестьяне этих глухих земель, казалось, очень мало интересовались или даже совершенно не интересовались политикой. О передвижениях англичан они почти ничего не знали и комментировали их довольно спокойно:

— Говорят, англичанин хороший парень. Пусть приходит.

В каждой деревне, где мы останавливались на ночевку, муж пытался получить от крестьян как можно больше информации о следующем пункте нашего назначения. В некоторых деревнях были комиссары. «Отрядов красноармейцев поблизости не видать». Мы слишком много поставили на карту, но играли вслепую.

Мы преодолели примерно две трети пути, когда несколько позже обычного подъехали к деревне, которая выглядела довольно процветающей. Утром мы узнали от хозяйки, что накануне в деревню привезли партию водки. Женщины предчувствовали беду. Хуже всего, что в этой деревне был совет. Пока во дворе велась подготовка к нашему отъезду, несколько крестьян вошли в комнату. Я увидела, что они пьяны и настроены агрессивно. Вопреки глубоко укоренившемуся обычаю русских крестьян, их главарь, войдя в комнату, не снял шапки. Плохой знак, подумала я. Он начал с обычных вопросов относительно того, куда мы направляемся. Я назвала место нашей следующей стоянки. «Не пожелает ли ваша милость воспользоваться хорошей лодкой; эти парни, — он показал на безмолвно стоявших рядом пошатывающихся приятелей, — хотят переправить вас через озеро». День был ветреным, вода — беспокойной, и я отказалась, не желая рисковать ребенком. Маска вежливости упала с лица мужика и сменилась злобным взглядом, а его дерзкие слова: «Ну так что, если маленькое отродье утонет?» — привели меня в ярость. Какие слова бросила я ему в ответ, не помню, но, как ни странно, он попятился к двери, бормоча слова извинения.



Однако эта же компания вернулась назад, еще более пьяная, в сопровождении большой толпы мужиков. Теперь они заполнили двор, где стояли готовые к дороге лошади. Перебранка продолжалась; я видела, что муж отчаянно возражает, внешне сохраняя самообладание. С моей точки зрения это была неверная политика. «Фальшивые паспорта! Запереть их всех в амбаре». Если уж в голову мужику закралось подозрение, его следует опасаться. Схватив Никиту, я выскочила во двор. Только наступление могло спасти ситуацию. Муж потом говорил, что я была похожа на тигрицу. Наши паспорта, безусловно, были сомнительными бумажками, но, к счастью, я вспомнила, что у мужа в кармане лежит еще один документ, хотя и неуместный сейчас — пропуск в Москву, выданный несколько месяцев назад и подписанный самим Чичериным. Размахивая им, я принялась блефовать, угрожая пожаловаться на них за то, что они пренебрегают распоряжениями правительства, и назвала им два-три имени. Подпись Чичерина произвела должное впечатление. Они заколебались. До этого времени робко выражавшая свое сочувствие толпа женщин подняла голоса: «Какой позор, отпустите молодую барыню с таким малюткой...» Возможно, их вмешательство помогло, мужики согласились отпустить нас. Тот, что предлагал нам лодку, явно был их вожаком — ему принадлежало последнее слово: «Отправьте их на ту сторону к комиссару».

Волнения того дня даже сейчас страшно вспоминать. Было душно, и небо казалось свинцовым; к сумеркам мы добрались до озера. Деревня, куда нас собирались отправить, находилась на противоположном берегу. Наш багаж был распакован и переложен на паром. Недоброжелательный конвой сопровождал нас. Он отвел моего мужа к комиссару. Вскоре Б. вернулся и сказал, что комиссар скоро придет, чтобы увидеть меня. Ожидание казалось бесконечно долгим, хотя время измерялось мною только все нарастающим беспокойством и сгущающейся тьмой на улице. Вокруг маленькой керосиновой лампы на стене растекалось озерцо слабого света, остальная часть комнаты пребывала в полумраке. Если кто-нибудь двигался, по потолку метались огромные тени.

Вошел человек в хаки, я двинулась ему навстречу. Как следует рассмотреть его лицо я не могла, но голос выдавал в нем образованного человека.

— Я выпишу вам пропуск на двенадцать часов начиная с полуночи, — сказал он.

— Но нам еще шестьдесят верст до Белого моря, — пыталась возражать я.

Он промолчал. Теперь я уже более отчетливо видела его выпуклые серые глаза и ощутила странную напряженность его взгляда.

— На двенадцать часов, — повторил он, отдельно произнося слова, поклонился и вышел. Я не сомневалась, что за его словами кроется какое-то значение. Так оно и было.

Мы встали и вышли во двор еще до восхода солнца. Наступили часы томительного ожидания; крестьяне, как всегда, после работы вывели лошадей пасть в лес. Наконец, лошадей поймали, запрягли, и мы выехали. По дороге мы встретили несколько разведывательных партий, они останавливали нас и спрашивали, не встречали ли мы по дороге каких-либо отрядов. На перекрестке дорог стояла небольшая деревенька; мы подумали, не остановиться ли здесь, чтобы достать немного молока, но Б. сказал, что мы должны поспешить. Мы направлялись в Сумской Посад, маленький городок, откуда паломники отправлялись в Соловецкий монастырь.

Вокруг города были возведены баррикады, вооруженные горожане охраняли ворота. Кто они? Красные? Б. показал свой самый красный документ, пропуск Чичерина. Часовые смотрели на него с подозрением. Тогда Б. предъявил паспорт министерства иностранных дел. Часовой просиял — значит, городок в руках белых.

— Англичане — въезжайте скорее.

В кольце баррикад весь город пребывал в напряженном ожидании. Город древних церковей стоял на склоне холма; взволнованная толпа хлынула на мост, люди бежали, размахивая руками, — все это напоминало хорошо поставленную сцену в театре. Охваченные паникой жители покидали город — в устье реки была видна целая флотилия. Небольшое буксирное судно готово было отойти. Мы закричали и попросили взять нас с собой.

— Англичане? — отозвались с судна. — Быстрей кидайте сюда свой багаж.

Это было последнее судно в Сумском.

С другой стороны подковы, которую формирует залив Белого моря, у Сороки стоял британский крейсер. Красные, выбитые из Сороки, наземным путем отступали по направлению к Сумскому Посаду, и это вызвало массовое бегство населения. В любой момент красные могут оказаться здесь, и горе тогда любому англичанину, который окажется в их руках. Город посылал крейсеру отчаянные мольбы о помощи. Теперь понятно, почему нам оказали такой радушный прием. С буксирного судна всех пассажиров перевели на борт угольщика. На следующее утро мы высадились на другом берегу — кругом стояли английские матросы, беззаботные, словно в Портсмуте в мирное время. Теперь карты запутанной игры раскрылись, и я поняла значение загадочных слов комиссара. Мы снова и снова благословляли судьбу за то, что не задержались у перекрестка. Страшно подумать, что бы произошло, опоздай мы на пять минут. Дальнейшее путешествие может показаться совершенно лишенным событий. Поезд отвез нас в Мурманск. Никогда не видела более пустынного края, чем Крайний Север России. Бесконечные болота и камни, редкие искривленные карликовые деревья, нигде ни травинки — Богом забытая земля. В каком-то месте нам пришлось сойти и идти пешком вдоль разбитой колеи до следующего сформированного состава. Часть пути мы проделали вместе с солдатами. Томми сразу же стали угощать Никиту шоколадом. Ребенок был очень голоден. За последнюю неделю я ни разу не видела себя в зеркале и не задумывалась о своей внешности до тех пор, пока один офицер в поезде не предложил мне горшок с холодными сливками. В Мурманске мы встретили друзей: Эдварда Канарда, Торнхилла и других. Нам предоставили жилье в железнодорожном вагоне, где мы провели несколько дней. В тот день, когда мы уезжали из Мурманска, Торнхилл отправился в какую-то смелую и тайную экспедицию, мы проводили его. «Торнхилл надел вуаль», — пошутил Б. при виде свисавшей с его шляпы сетки для защиты от комаров. Нам предоставили возможность проезда на угольщике, но никакой лайнер не показался бы мне столь роскошным, как наше размещение на «Вивисбруке». Капитан предоставил в мое распоряжение свои апартаменты: салон, отдельную каюту и ванную, хотя в судовых документах мой муж значился всего лишь экономом, а я горничной. «Вивисбрук» передвигался среди фьордов со скоростью восемь узлов, и мы, словно яхтсмены, могли наслаждаться красивым пейзажем. Мы радовались возможности как следует питаться и впервые с начала нашей поездки испытывали чувство относительной безопасности. Только однажды нам довелось испытать неприятное потрясение. Мы продвигались неподалеку от шотландского побережья в сопровождении конвоя. Я сочла это весьма волнующим зрелищем — наблюдать, как маленькая флотилия движется строем и ни один корабль из него не выпадает. С нами на борту находился мистер Дженкинсон, секретарь адмирала Кемпа; большую часть времени он проводил на капитанском мостике и видел, что произошло. Я сидела в салоне и раскладывала пасьянс, когда раздался громкий взрыв. Корабль содрогнулся. Стюард, добрейшая душа, вбежал в салон, схватил Никиту и с криком «Торпеда!» бросился на палубу. Я с внезапно отяжелевшими и онемевшими ногами вскарабкалась вслед за ними; еще один взрыв, и я закрыла глаза. Когда я снова открыла их, все было как прежде — «Вивисбрук» остался цел и невредим.

— Глубинные бомбы, — сказал стюард.

Я не знала значения этих слов, но поняла, что мы не утонем, увидела, что совершенно не испугавшийся Никита дергает стюарда за волосы. По подсчету мистера Дженкинсона, торпеда прошла всего в нескольких ярдах от носа нашего корабля.

Этой ночью мы прибыли в Мидлсбро. Свет доменных печей озарил небо — Мариинский театр и Театральная улица навсегда остались позади, это были огни рамп нового мира.

Часть пятая  
*ДЯГИЛЕВ*

Влияние Дягилева на умы его соратников. — Организованная им выставка исторического портрета в Таврическом дворце. — Дягилев, увиденный глазами общего друга. — Его мягкость во время моей первой «сцены». — Рябь на поверхности нашей дружбы. — Равнодушие к кассовому успеху. — Его взгляды и происхождение

Для рождественского сезона 1900 года репетировали «Щелкунчика». За границей, где ставится только его последний акт, не имеют ни малейшего представления о пронизывающем его неуловимом очаровании. Дух Рождества, суэта подготовки к нему, облагороженная мистическим чувством приближающегося праздника, детские ожидания всего щедрого в мире, что внезапно становится блаженным и таинственным. Этот дух, увиденный сквозь призму странного и нежного романтизма Гофмана, находит свое совершенное воплощение в «Щелкунчике».

Это произошло во время перерыва в репетициях «Щелкунчика», когда я, все еще захваченная представлением, впервые увидела Дягилева. Он вошел в почти пустой зал и вскоре ушел. Случайное действие, внешне ничем не связанное с происходящим, но для меня каким-то странным образом уместное, словно еще одно волшебство Дроссельмейстера.

Появление Дягилева произвело на меня неизгладимое впечатление, и я здесь возвращаюсь к уже рассказанному случаю только потому, что он прекрасно иллюстрирует весьма важное качество Дягилева: тот личный магнетизм, который сыграл столь важную роль во всех его великих деяниях, особенно в Русском балете.

Этот первый мимолетный взгляд на него дал мне только предварительное впечатление о тех чарах, которыми он обладал. Их власть в полной мере мне еще предстояло испытать. Точный критерий того влияния, которое Дягилев оказывал на умы и волю всех тех, кто оказывался втянутым в сферу его деятельности, проявляется в его доминирующем положении среди его блистательных единомышленников. Даже Бенуа, человек, обладающий уникальной эрудицией, изумительным мастерством, умением трезво и глубоко оценивать, и тем не менее он часто уступал то учтивым, то настойчивым доводам Дягилева. И это несмотря на то, что сам он обладал более высокой культурой и более основательным художественным образованием.

Достоевский определил одну специфическую черту русского ума как способность усваивать целое из неясных, часто рассеянных черт. Русский до мозга костей, несмотря на то что рядился в тогу космополитизма, Дягилев в высшей мере обладал этим качеством. Возможно, даже его художественное образование, скорее избирательное, чем систематическое, не влекло его беспорядочно по воле своенравной фантазии, но направлялось его гением по тропам интуиции. Может, он инстинктивно опасался, что тяжелый вес точного знания сможет подавить его тонкое чувство интуиции. Его неотразимое обаяние не поддается анализу, но именно оно позволило ему занять доминирующее положение в кругу своих единомышленников и завоевывать всех с первого же взгляда на него. Именно в этом замечательном свойстве его личности и кроется один из источников его успеха.

К тому времени, когда я вступила в прямой контакт с Дягилевым, я уже знала, хотя и смутно, о его приоритетах. Поэтому совершенно с неподготовленным сознанием увидела я чудесную выставку исторического русского портрета, организованную Дягилевым. Он использовал Таврический дворец так, как им никогда не пользовались прежде. Он все организовал таким образом, что вопреки русским традициям выставка оставалась открытой по вечерам. Просторные залы Таврического дворца, эти спокойные и великолепные мавзолеи сказочного прошлого, сверхъестественным образом ожили в свете хрустальных люстр. Смотревшие со стен портреты, словно призраки, населили комнаты,

превращая зрителей в маленьких и незначительных, словно жили они, а мы явились им как призраки из будущего. Возможно, какие-то обряды привели к подобному магическому результату, но факт состоит в том, что публика, которая обычно болтает на выставках, на этот раз хранила молчание, как зачарованная.

Эта выставка, первая и последняя выставка подобного рода, стала поворотным пунктом в исторической оценке портретной живописи в России. Благодаря ей стала возможна достоверная атрибуция некоторых неподписанных произведений прошедших двух веков. Только много позже узнала я о сверхчеловеческих усилиях, потраченных Дягилевым на собирание портретов для этой выставки. Наибольшее впечатление на меня произвело то, что Дягилев не только объехал всю страну, чтобы найти экспонаты, но некоторые шедевры он, если так можно выразиться, просто откопал. Часто ему приходилось пробираться на чердаки, в чуланы, в помещения для прислуги, ключом ему служили его неотразимое обаяние и железная хватка. Наверное, он знал о том, как небрежно в то время относились к произведениям искусства в России. Так, например, три портрета, представлявшие большой интерес для истории русского театра, использовались в старом доме моего отца вместо крышек от ведер с водой. Впоследствии я спасла их от этой бесславной участи и поместила в личный музей.

И хотя мой неискушенный разум не мог полностью осознать все значение этой выставки, тем не менее она оказала на меня двойное значение: она укрепила мою веру в Дягилева и предоставила мне критерий подлинного, навсегда излечив от простодушного увлечения подделками.

Нельзя сказать, что у меня в то время не было возможности узнать Дягилева лучше. Честно говоря, я просто боялась узнать слишком много. Общественное мнение объявляло его «скверным, безумным и опасным». Мне хотелось утаить свой робкий восторг. Но в то же время чувство более глубокое, чем простое любопытство, побуждало меня стремиться узнать, что стояло за его поразительной работой. Таким образом, задолго до того, как установились наши основанные на взаимной симпатии отношения с Дягилевым, единственным источником получения о нем информации были для меня наши общие друзья.

Одним из таких людей был Боткин. Я нечасто встречала в людях подобную терпимость и умение постоянно пребывать в хорошем настроении, как у этого пожилого человека. Врач по профессии и еще в большей мере по призванию, Боткин был одновременно выдающимся коллекционером и другом группы «Мир искусства». Добродушная шутка Боткина «Сережа пользуется моим домом как перевалочной базой» показывает степень близости между ними. Если Дягилев оказывался поблизости от их дома, он заходил и, поцеловав руку госпоже Боткиной, спрашивал ее:

— Можно пойти побренчать на пианино? Он часто часами оставался в библиотеке, подбирая партитуру.

Позже этот пример помог мне понять, что внешне ленивый Дягилев обладал невероятной способностью к труду. Мне кажется, его мозг никогда не пребывал в праздности, даже когда он, как общительный хозяин, вел застольную беседу, не связанную с искусством. Параллельно с легкой непринужденной болтовней происходила глубинная работа мысли. Его необычайная непунктуальность была намеренной. В этом он сам признался, когда пришел на день позже на назначенную со мной встречу. «Мое расписание определяется срочностью только что возникших безотлагательных проблем; часто я считаю более полезным довести до конца дело, которым уже занимаюсь, чем выпустить его из рук ради назначенной в другом месте встречи». Я сочла такое объяснение вполне убедительным, прямота, с которой он об этом говорил, меня обезоружила.

Мне удалось проникнуть в истинную суть Дягилева благодаря Боткину. Именно он заложил легкий след сомнений в мою, возможно, слишком самодовольную правильность, так как в те годы я отличалась некоторой педантичностью. Говоря о том аспекте жизни Дягилева, который обычно подвергался осуждению, Боткин заметил: «Жестоко и

несправедливо давать безобразные имена тому, что, в конце концов, является всего лишь капризом природы». Мой друг подтверждал свое мнение, исходя из обширного опыта наблюдения над человечеством. Его интересы не ограничивались клиническими аспектами подобного явления; его сочувственный интерес распространялся на все отклонения и темные подавленные стремления человеческой души. Однажды он так сказал в ответ на мой вопрос: «Как вы говорите, присутствовать у смертного ложа — это трагическая сторона моей профессии, но есть в этом и утешающая сторона — мысль о том, что моя рука, возможно, окажет поддержку при проходе через темный коридор». Я не могу отделить эту беседу от окружающей обстановки, в которой она происходила. Это было в Версале. Мы вошли в Bosquet d'Apollon. (Роща Аполлона) Солнце, нещадно палившее во время прогулок по подстриженным аллеям, здесь только покрыло пятнышками сквозь густую листву мрамор фонтанов. Дрожание света и тени на лице Аполлона, тихий плеск воды, мудрые, просветляющие слова. Этот день, выхваченный из бурной череды репетиций, был словно прохладный компресс на разгоряченном лбу. Он успокоил мои сомнения и прояснил видение. Боткин помог мне понять, что любовь может быть прекрасной независимо от того, кто является объектом этого чувства. Привязанности Дягилева были глубокими, искренними и преданными, он старался прятать их за маской пресыщения.

В ту ночь, когда мадам Морис Эфрюсси устроила у себя праздник, так приятно закончивший наш первый парижский сезон, я тщетно искала среди гостей Дягилева. Только когда заиграли вступление к «Сильфидам» и мы, исполнители, под покровом крытой аллеи из вьющихся растений направились к сцене, я увидела его. Маленький барочный фонтан стоял в центре на фоне зеркал. Неотрепетированный эффект, производимый одетыми в белое фигурами, удлинненными, затуманенными зеленоватым стеклом, был фантастически прекрасен. Но он не видел ничего этого. Он стоял в одиночестве в конце шпалеры, служившей кулисами нашего театра на открытом воздухе. Он стоял там с невидящими глазами, не принадлежа, как казалось, ни времени, ни месту, не воспринимая то, что мог бы рассматривать как свой триумф. Он выглядел встревоженным и усталым. Перед своим выходом я увидела, что он уходит. Нижинский в тот вечер не танцевал — он внезапно заболел.

Несколько дней, прошедших после завершения сезона, труппа не видела Дягилева. Артисты, по-видимому, обижались на его отстранение, так как все без исключения, от звезд до низших служителей, с нетерпением ждали его одобрения или критики. Мы ощущали свою значимость, когда он время от времени вступал с нами в беседы по поводу каких-то аспектов постановки, над которой велась работа, или в моменты кризиса. Он делал это нечасто, но, когда делал, это было превосходно поставлено и произносилось со знанием дела. Метафорически говоря, он обладал своего рода ореолом. Его присутствие воодушевляло и артистов, и служащих.

Я знала от Боткина, что Дягилев тогда очень беспокоился из-за серьезной болезни Нижинского. Однако, когда перед отъездом из Парижа в Лондон я пришла к нему в «Отель де ла Олланд», он принял меня рассеянно доброжелательно и охотно позволил воспользоваться нужными мне для работы в «Колизее» оркестровыми партиями из его библиотеки. Он никак не прокомментировал мой независимый от него ангажемент, но я получила от него сполна, когда мой второй ангажемент в «Колизее» пришел в столкновение с его планами. Я простила его горячность, когда он назвал мое выступление в мюзик-холле «проституцией искусства». Я простила даже с еще большей готовностью явные признаки собственнической ревности, когда продолжилось наше сотрудничество. Дягилев начинал рвать и метать, когда я время от времени хотела ускользнуть в личную жизнь. Он говорил наполовину в шутку, наполовину всерьез:

— Ненавижу вашу семью. Она отнимает вас у меня. Почему только вы не вышли замуж за Фокина? Тогда вы оба принадлежали бы мне.

Его возмущало, что я держалась за Мариинский театр.

— Не могу понять, что так привлекает вас в Санкт-Петербурге. Нафабранные усы Теляковского или истерические овации зеленых юнцов с галерки? А может, вам просто нравится красоваться в своем новом экипаже, запряженном парой лошадей?

Но если Дягилев умел отдавать, то он умел и брать. Случаи, когда мы менялись ролями и я была Дягилева его же оружием, были нетипичны для наших взаимоотношений. Обычно я проявляла покорность. Но его добродушие компенсировало его высокомерные манеры. Это произошло летом 1910 года, когда всецело по вине Дягилева я оказалась занятой в двух ангажементах одновременно и вынуждена была искать способы освободиться от обязательств перед «Колизеем». Однако Дягилев принял позу обиженного и преданного человека — ни тени сочувствия моему затруднительному положению. Теперь по прошествии лет я могу только восхищаться его неукротимой волей, но тогда я ощущала себя жертвой. Его эмиссары изводили меня. Телеграммы подавали мне каждый раз, как только я садилась за стол, они настигали меня в театре. Их пугающие желтые конверты внезапно появлялись и смотрели на меня из уголков моего зеркала. Они постоянно отравляли мне настроение, когда я гримировалась. Но когда мне, наконец, удалось добиться у Столла отпуска и присоединиться к Дягилеву в Брюсселе, он проявил трогательную радость. Он обнял меня, словно любящий отец, а устроенный им банкет был достоин ознаменовать возвращение блудного сына.

Стыдно сказать, но свою первую сцену я устроила по поводу «упитанного тельца». Дягилев извиняющимся тоном спросил, не буду ли я возражать, если только один раз, в этот вечер, одну из моих партий исполнит мадам Гельцер.

— Она выручила меня в ваше отсутствие, и я просто не могу отнять у нее роль, — рассудительно объяснил он.

Но я пришла в ярость и разбушевалась, главным образом для проформы, намереваясь в конце концов уступить его просьбе. В тот день мы больше не спорили, но он часто приходил на репетицию, просто смотрел на меня и улыбался. Вечером, когда я гримировалась, то увидела в зеркале его отражение. Наверное, он уже какое-то время стоял там — он никогда не стучал. Я уже больше не сердилась, но полагала, что, сохраняя свое достоинство, должна еще бросать на него гневные взгляды. Он сказал: «Вот и снова я. Вы вытерли мною пол. Вы надавали мне пощечин. Я пришел, чтобы получить еще». Вечером за ужином мы оба смеялись над инцидентом, я даже громче, чем он.

Как я уже говорила, меня никогда не возмущали собственные инстинкты Дягилева. С самого начала я добровольно отдала ему свою преданность. Более того, уже тогда я смутно ощущала, что время от времени срывавшиеся у него язвительные замечания не следовало приписывать всего лишь его эгоизму. Теперь же я в полной мере осознаю, что его резкость, его игнорирование других, та безжалостность, с которой он отметал когда-то нежно любимых соратников, которые перестали соответствовать его замыслам, — все это было обратной стороной его достоинств. А его абсолютно чистым достоинством была преданность искусству, горевшая священным огнем. Он приносил людей в жертву, если того требовало искусство. Но он приносил в жертву и свои выгоды. Если бы он хотел добиться коммерческого успеха, то мог бы поставить свое предприятие на прочную, даже прибыльную основу. Он же предпочел непрочное существование, дабы иметь возможность экспериментировать и развивать искусство.

Полностью разобраться в постоянных и временных ценностях в деятельности Дягилева невозможно в процессе его работы. Я не пытаюсь сделать этого и сейчас. Просто рассказываю о поворотных пунктах его карьеры, какими видела их я.

С чувством замешательства и даже тревоги слушала я, как Дягилев после окончания нашего второго парижского сезона делился своими дальнейшими планами. Он считал, что хореография Фокина принадлежит прошлому. Будущее балета следует верить чуткому к современным влияниям хореографу. Основная масса нашего текущего репертуара была, по его мнению, всего лишь балластом, от которого следовало избавиться.

— Что же вы собираетесь сделать с балетами Фокина, Сергей Павлович?

Он нетерпеливо махнул рукой:

— О, не знаю, могу продать их все, вместе взятые. Открывая мне свои планы, Дягилев намеревался разузнать, последую ли я за ним в его новых ориентациях. Не помню, упомянул ли он тогда Нижинского как будущего хореографа. Я заверила его в своей преданности, но не могла скрыть огорчения. Этот разговор расстроил меня. Я не могла с легкостью отречься от своего энтузиазма и от прежней веры. Слова Дягилева казались отступничеством. Я тогда еще не была знакома со сменой его воплощений. Я не знала, насколько быстро будущее могло нахлынуть на него, превращая настоящее в избитое и старомодное. Мне неизвестно, какие влияния заставили Дягилева впоследствии изменить свою политику. Но не сомневаюсь, что, сохранив сотрудничество с Фокиным до 1914 года, он избежал раскола труппы.

Я сомневалась, стоило ли писать о тех чертах Дягилева, которые не соответствовали его высочайшему умственному уровню, но в конце концов сочла, что могу это сделать, не нарушая своей абсолютной искренней преданности его памяти. Каждой теневой стороне его характера противостоял яркий свет предельного чувства правоты. Более того, время от времени в применявшихся им ухищрениях было нечто трогательное. Они абсолютно не подходили ему, как взятая напрокат одежда. А если его ловили на этой хитрости, он мог так мило сказать «*mea culpa*». («Моя вина») Эти уловки иногда рябили поверхность нашей дружбы. Наши отношения состояли не только из добрых слов. Бывали у нас и размолвки, и стычки, неизменно заканчивавшиеся типично русскими примирениями: слезы и рыдания, объятия, празднования.

Только после постановки «Жар-птицы» я постепенно начала понимать хитрости Дягилева. В этом пользовавшемся беспрецедентным успехом балете оказалась и посланная мне небесами роль. В следующем сезоне моя партия в новом спектакле «Синий бог» сводилась до второстепенной роли. Ведущее место принадлежало Нижинскому. Это само по себе не встревожило меня. Но когда репертуар в целом таким образом изменился, что из него исключили многие балеты с моими лучшими ролями, я встревожилась и почувствовала себя униженной. В конце концов ситуация стала просто невыносимой и достигла критической стадии. Однажды днем во время нашего зимнего сезона в Мюнхене Дягилев ворвался в мою комнату с письмом в руке. Он швырнул письмо на стол, повелительно бросив:

— Прочтите! — и принялся ходить взад и вперед по комнате.

Время от времени он бросал в мой адрес резкие обвинения. Я была «притаившейся змеей», «неблагодарным ребенком», я пыталась «поссорить его с друзьями». Письмо было от леди Рипон. Я едва смогла прочесть его из-за застилавших глаза слез, но суть его сводилась к следующему: она пыталась оказать мне поддержку и просила Дягилева изменить свою линию поведения, предоставив мне должное место в своих постановках. «*N'exasperez pas Karsavina*», («Не обижайте Карсавину») — писала она. Я спокойно призналась, что сообщила о своих проблемах леди Рипон, но сделала это только после того, как обратилась с просьбой к нему самому, но он был слишком рассержен, чтобы слушать мои объяснения, и разгневанный ушел. К счастью, в тот вечер не было спектакля; взгляд в зеркало показал мне, что я не могу показаться на публике. Я заказала ужин в комнату. Вскоре после того, как его принесли, снова появился Дягилев, на этот раз спокойный. Немного смущенно он предложил мне присоединиться к его компании за ужином. Я стала возражать, но, увидев его глаза, красные и припухшие, с удовлетворением поняла, что он тоже всплакнул, и приняла предложение как его публичное извинение. И мы примирились за ужином.

Более того, Дягилев загладил вину — он заказал новый балет «Саломею» специально для меня. После этого у меня не было поводов для жалоб — изумительные роли просто посыпались на меня.

Даже когда мои отношения с Дягилевым были наиболее натянутыми, между мной и Нижинским никогда не возникало соперничества. Но если тогда я не могла найти

оправданий для Дягилева, то теперь могу. Имея танцовщика такой значимости, как Нижинский, Дягилев, вполне естественно, хотел расширить репертуар танцовщика, до этого игравшего подчиненную роль по отношению к балерине, подобное стремление не нуждалось в оправдании. Его желание понизить главенствующую роль танцовщицы, повидимому, определялось его видением будущего балета, содержание которого, по его мнению, могло обрести большую выразительность посредством более сильного мужского элемента, чем через женскую грацию.

Если во время возникавших между нами натянутых отношений Дягилев казался мне несправедливым, утешение, хотя и незначительное, возникало при мысли, что он оставлял только для себя исключительное право иногда плохо обращаться со мной и сурово наказывал любую попытку покуситься на привилегии своей ведущей танцовщицы. Один незначительный случай представил его в роли моего защитника. Как бы мелочно это ни казалось, мы, актеры, придаем большое значение правильному расположению в афише наших имен. Такова театральная традиция. Это словно микроб в нашей крови. Так что, когда однажды (и это действительно был единственный случай) мое имя появилось под именем менее значительной исполнительницы нашей труппы, я привлекла к тому внимание Дягилева. Он сидел в тот момент в кресле в моей артистической уборной. Не сказав мне ни слова, он позвал мою костюмершу и послал ее за человеком, ответственным за составление афиш, по стечению обстоятельств оказавшимся мужем той танцовщицы. Когда появился злосчастный виновный, Дягилев поднялся; показав тому афишу, он сказал, задышавшись:

— Если подобное когда-нибудь повторится... — схватил человека за воротник, грубо встряхнул и изо всех сил швырнул беднягу к стене.

Тот, пошатываясь, вышел. Я сидела словно в оцепенении. Дягилев со словами: «Извините, Тата...» — покинул комнату.

Это был единственный случай, когда я видела его охваченным необузданным гневом. Я часто являлась свидетельницей его раздражения, но никогда, за исключением этого случая, не видела его потерявшим самоконтроль. И его постоянным присутствием духа можно было только восхищаться. Его голос, возвысившийся над гулом враждебных выкриков во время парижской премьеры «Послеполуденного отдыха фавна»: «Дайте продолжить спектакль», — заставил притихнуть публику. Любой другой при подобных обстоятельствах велел бы опустить занавес. Однажды в Париже, когда вспыхнувшая среди музыкантов ссора грозила сорвать репетицию, Дягилев вышел из последних рядов зрительного зала, при этом выглядел он более беззаботно, чем всегда; его походка, как никогда, напоминала играющего тюленя. Он чрезвычайно спокойно произнес:

— Господа, это не слишком подходящий момент. Вы можете решить свои разногласия после репетиции.

Дисциплина была восстановлена.

К тем пятнам на солнце, на которые я только что указала, могу добавить еще одну маленькую слабость, по-своему очень милую. Она создавала, по моему мнению, мост, который связывал очищенные слои его интеллекта с умеренными зонами, куда мог последовать любой. Эта слабость, если ее можно назвать таковой, состояла в том, что его очень беспокоило общественное мнение, каким бы недостойным внимания оно ни было. Но это относилось только к нему самому. Однажды в одной из наименее уважаемых петербургских газет появилась непристойная заметка о нем. Я сразу же написала письмо редактору, оно было не слишком связным, но выражало мое негодование. Письмо напечатали. Благодарность Дягилева была намного больше, чем того заслуживал инцидент. К тому же он очень забавно выражал свою благодарность. Не распространяясь по поводу достоинств моей логики, он сказал:

— Я просто обожаю вашу позицию. Она равнозначна следующему: «Я люблю Дягилева, а все вы грязные собаки».

В то же время он был абсолютно равнодушен к кассовому успеху. Однажды он сказал:



— Успех постановки непредсказуем. Для меня имеют значение только ее достоинства. Я, без сомнения, была не единственной, кто «любил» Дягилева. Среди штата сотрудников царила настоящая преданность и почтительное отношение ко всем его пожеланиям. Он заставлял их очень много работать, ставил перед ними такие задачи, о каких мы читали только в сказках, но он умел и согреть их сердца, знал, когда нужно похвалить, а когда дать волю гневу. Одно из своих фантастических приказаний он отдал, когда Шаляпину не понравился его костюм Олоферна, тогда Дягилев велел костюмерше за несколько часов изготовить другой. Как эта крошечная женщина приступила к выполнению поставленной перед ней задачи, наглядно описал Дягилев: «С полным ртом булавок и съехавшим набор пучком волос она носилась вокруг Шаляпина, словно комар вокруг колосса, — то вставала на колени, чтобы подшить подол, то вставала на стул, чтобы дотянуться до его плеч, в результате ей удалось одеть его, несмотря на то что он жестикулировал перед зеркалом». Он репетировал роль, но время от времени речитативом давал ей знать, если в него впивалась булавка.

— Подумать только, целый отрез тяжелой материи держался всего лишь на булавках, но не думаю, что ее целомудрие было бы сильно оскорблено, если бы он свалился. В тот же вечер Шаляпин получил новый костюм. Дягилев очень высоко ценил нашу костюмершу. Назвать ее «умелой» — слишком мало сказать. У нее был талант к своей работе. Способность окружать себя умелыми людьми была отличительной чертой Дягилева. Не могу припомнить ни одного случая неправильного распределения ролей. И среди обслуживающего персонала работали настоящие художники. Наш главный машинист Вальц трансформировал старую сцену Парижской оперы и оборудовал ее таким образом, что она стала пригодна для любых *cours de theatre*. (Неожиданные развязки) Скромный заикающийся гример создавал изумительный грим для Шаляпина. Вездесущий курьер Михаил был великолепным психологом. Ему часто удавалось предотвращать недовольство среди рабочих сцены Парижской оперы. Он не беспокоил Дягилева, брался за дело сам и прекрасно разрешал многие проблемы. Я знаю об этом от самого Михаила. Он был моим большим другом и часто оказывал мне услуги.

— Там принесли кипу альбомов, Тамара Платоновна. Я подписал их все. Вам не стоит беспокоиться.

Изобретательность Дягилева в правильном использовании моральных качеств, которые он порой ставил выше технических способностей, можно наилучшим образом проиллюстрировать на примере его кузена Павла Георгиевича Коробута-Кубитовича. Думаю, в природе больше не существовало столь мягкого, спокойного, доброжелательного человека, пользующегося всеобщей любовью, как Павка, как ласково называли его друзья. Он мог бы послужить образцом для эссе о джентльменах кардинала Ньюмана. Его опрятный, цветущий внешний вид и немного гортанный, чуть воркующий голос открывали ему навстречу все сердца. Дягилев не мог позволить, чтобы вся эта мягкость и очарование пропадали впустую. Он предназначил Павке роль «утешителя матушек». Одно время существовала необходимость, чтобы кто-то успокаивал материнскую зависть и прекращал возникающие между ними перебранки. Впоследствии матушки постепенно исчезли из поезда Русского балета, но одно время они угрожали стать серьезным неудобством. Возможно, тень мадам Кардинал, обитающая в коридорах, послала их на тропу войны. Говорят, в Парижской опере живут один-два призрака. И довольно часто случалось, что Павка не мог принять участие в вечеринке, устраиваемой Дягилевым, потому что должен был сопровождать двух матушек в Булонский лес. Или же Дягилев небрежно бросал: «Павка не сможет к нам присоединиться. Он собирается пригласить на чай мадам X, которая поссорилась с мадам Y, позже он попытается их помирить».

Без сомнения, не только его способность использовать человеческий материал заставляла Дягилева поддерживать постоянные близкие отношения со своим кузеном. Такие расходящиеся черты составляли склад ума Дягилева. Он аккуратно раскладывал их по

определенным ящичкам, доставая их по требованию сердца или рассудка, никогда или очень редко позволяя им вступать в конфликт. Он обладал настоящей нежностью, глубиной чувств, а также пронизательностью и неукротимой волей. Он ценил сердечную доброту и простоту. Он искренне любил тех, кто окружал его. Из случайно брошенных им замечаний у меня создалось впечатление, будто своим добровольным изгнанием из отечества Павка давал ему возможность соприкоснуться с атмосферой дома, служил связующим звеном с его истоками.

Когда дело касалось его самого, Дягилев был чрезвычайно сдержанным и, боясь показаться сентиментальным, не давал воли воспоминаниям, но у меня было достаточно возможностей, и мое нежное к нему отношение помогло мне разглядеть, что под маской отчужденности он бережно хранил воспоминания прошлого. Однажды, провозжая меня домой после вечеринки в Риме, он сказал, как будто обращаясь к себе:

— Какой прекрасный вечер! Он напомнил мне о вечерах, проведенных дома... посещения моих кузенов... музыка весь вечер... мы пели дуэты... поездки на лошадях... лунный свет. Он говорил так тихо — похоже, забыл о моем существовании.

Несколько слов о ничем не прикрашенной простоте, но вызывающие в памяти окружающую в прошлом обстановку, имевшую большое значение для цельности его натуры. В моем воображении предстала следующая картина: просторный, возможно, беспорядочно выстроенный дом, где настоящее, сплетенное с прошлым, носило характер реальности. Органические традиционные черты русского загородного дома группируются в моем представлении вокруг молодого человека, со свежими румяными щеками и странным образом потупленными глазами, в безукоризненно чистой косоворотке. Я абсолютно уверена в существовании косоворотки. Она была такой же неотъемлемой частью русской жизни, как твид для Англии... В конце петляющей тропинки в глубине не слишком ухоженного сада, скорее всего, стоял павильон, некогда temple d'amitie (Храм дружбы) или беседка Купидона. Но его аллегорическое значение забыто, теперь это всего лишь прохладное уединенное место, где можно летом найти убежище, резная сельская скамья, достаточно просторная, чтобы на ней можно было удобно расположиться с книгой. Я несколько не сомневаюсь в существовании просторной веранды. Туда подавали еду и обедали подолгу, ведя беседы о книгах, искусстве и политике. Жизнь там, должно быть, протекала гладко на колесах, смазанных старательными руками слуг. Подобное обрамление неспешного существования не устанавливало никаких пределов для развития страсти Дягилева к музыке. Занимался ли он систематически и усердно или же только время от времени, не имею понятия, но абсолютно уверена в том, что музыка пропитала все его существо. Невозможно себе представить более благоприятной атмосферы, способной поддержать его рано возникшую любовь к музыке. Влияние его тети Карцевой-Панаевой, одной из величайших концертирующих певиц своего времени, наверное, сыграло свою роль в его музыкальном образовании. Его горячий энтузиазм, его неуывающая и неослабевающая страсть к искусству впервые пробудилась под влиянием музыки. Впоследствии она находила выход через разнообразные каналы. Если его быстро менявшиеся ориентации порой казались полным разрывом с прошлым, в действительности этого не было. В его революции вкуса существовала определенная последовательность. Он поклонялся в разных святилищах, но всегда одному и тому же божеству. Его всегда вел его собственный инстинкт. Временами на него оказывала влияние мода, но только поверхностно. Я полагаю, что сдержанное отношение французских музыкальных кругов к Чайковскому отчасти объяснялось тем, что Дягилев долго не включал произведений этого композитора в свои парижские сезоны. Но я помню и высоко ценю его слова, произнесенные им незадолго до смерти: «Чайковский гений, еще полностью непонятый в Европе».

Не думаю, что мое необузданное воображение сбило меня с пути, когда без колебаний помещаю иконную в заднюю часть дома Дягилева. Так называется в загородных домах маленькая комнатка, находящаяся в стороне от проходных. Там, за застекленными

дверями угловых буфетов красного дерева, размещались фамильные иконы, почитаемые иконы, которыми благословлялись новобрачные, за ними лежали венчальные свечи со своими белыми розетками. Только руки доверенных старых слуг могли прикасаться к масляным лампам цветного стекла.

Возможность добавить иконную к обстановке, окружающей Дягилева, представилась мне во время нашего двухдневного совместного путешествия. У меня в купе находилась чрезвычайно соблазнительная приманка — декоративное ведерко с икрой, принесенное мне вместе с шоколадом, цветами и маленькой иконкой в качестве прощального подарка. Пока экспресс без чрезмерной поспешности продвигался из Петербурга в Монте-Карло, мы ели икру и разговаривали.

— Вы молитесь по утрам, Сергей Павлович? — робко спросила я.

— Да... молюсь, — немного поколебавшись, ответил он. — Я встаю на колени и думаю обо всех, кого люблю, и обо всех, кто любит меня.

Молчание, еще немного икры и еще более смелый вопрос с моей стороны:

— А вы когда-нибудь испытываете угрызения совести, Сергей Павлович, за обиды, которые могли причинить другим?

— Да, — подчеркнуто и сердечно сказал он. — Как часто упрекал я себя за недостаток внимания. Я думаю о том, как часто уходил, не пожелав спокойной ночи няне, забыв поцеловать ей руку.

Прошу вас, читатели, не забывать, что во время этого разговора я едва вышла из подросткового возраста; и, поскольку мы оба были русскими, подобная тема для разговора возникла у нас столь же естественно, как разговор о погоде у вас.

Словно евангелист, я добавляю то тут, то там черты благочестия и преданности в свой список добродетелей Дягилева. Позже в те же скрижали я вписала слово «смирение». Это произошло в тот момент, когда он рассказал мне о том, как ненадежно было его положение во время войны, когда несчастья и разрушения смотрели ему в лицо. Он смиренно принял поражение в неравной борьбе. Ожидая смертельного удара, он ежедневно прощался с окружающим, без горечи, но с нежностью к жизни, такой, какой она была по отношению к нему.

— Каждое утро я сам застилал свою постель... Он рассказывал, что с любовью похлопывал ее, думая, что ночью она уже, возможно, не будет ему принадлежать.

Вызывает удивление, как рядом со здравым смыслом и высоким интеллектуальным уровнем Дягилева уживались его предрассудки. Помимо того, что он подразделял дни на хорошие и плохие, Дягилев ужасно боялся дурных примет. Во время одного из его все более редких посещений Петербурга — возможно, это произошло в 1912 году — я пришла к нему в гостиницу «Астория». Из его слов я поняла, что он обдумывает возможность, хотя еще не очень определенно, организовать сезон в России. Я, возможно, довольно бестактно, смеясь, указала на гравюру, висевшую в его комнате, — Наполеон при Ватерлоо. Он явно пришел в волнение:

— Как только я не заметил этого раньше?

В ходе нашего разговора он еще раз вернулся к теме гравюры и спросил меня, не считаю ли я это дурным предзнаменованием.

Не стану высказывать предположений, будто он отказался от своего замысла из-за этого происшествия. По-видимому, существовали более веские причины. Неустрашимый, когда ему приходилось сталкиваться с реальными препятствиями, готовый проявить силу своей воли так, чтобы изменить обстоятельства в соответствии с собственным вкусом, но его воля и благоразумие могли дрогнуть под влиянием суеверий. Он был слишком русским, чтобы не испытывать страха перед какими-то не поддающимися определению силами, задумавшими противостоять обоснованным шансам на успех. В конце концов, известно, что Пушкин, самый разумный из людей, поворачивал свою лошадь и возвращался домой, если ему перебежал дорогу заяц.

Последнее воспоминание, которое сохранилось в моем сердце о Дягилеве, — это воспоминание о друге, хранящем верность, несмотря на то что наши пути разошлись. Я должна была выступить в «Ковент-Гарден» в нескольких спектаклях его сезона. Дягилев тогда был уже смертельно болен. Я бросилась к нему навстречу, когда он зашел за театральным задником. Шел он медленно, опираясь на трость, которую раньше любил так жизнерадостно вертеть в руках. Под руку отправились мы в мою гримуборную. Он беспорядочной массой тяжело откинулся в кресле. Куда-то ушли вся жизнерадостность, вся его особая ленивая грация. «Я оставил свою постель и пришел, чтобы повидать вас. Оцените мою любовь». Но в его лице не было следов тревоги: он говорил о Венеции и о каких-то молодых композиторах, в чье будущее верил.

Хочу закончить мой собранный по крупицам портрет Дягилева на этом эпизоде. Его безжалостность принадлежала искусству; его верное сердце было его собственным.

---